

Валерий Бочков

Латгальский крест

Роман

Латгалия сверху похожа на лоскутный ковер. Такой ее видят ласточки и стрижи в звонкие летние дни: в клеверные луга и поля люцерны вшиты строгие квадраты хуторских наделов, в зелени сосновых лесов сияют цыганской парчой заплатки озер, ясной лентой петляет с востока на запад Даугава.

Если мне когда-нибудь удастся стать старым, то я вернусь сюда. Вернусь без карты, без компаса — буду спать на берегу озера или ручья, а утром, взобравшись на ближайший холм и оглядев округу, буду решать, какая из далей манит меня сегодня.

От солнца моя кожа станет медной, а волосы выгорят в белое. Небо будет синим, луга бескрайними, леса дремучими. В полях, где сейчас спеет рожь, я буду собирать ржавые гильзы и белые кости. Свои находки буду бережно складывать в старое солдатское одеяло, серое, из грубой шерсти. То самое, с трафаретной надписью «Из санчасти не выносить».

I

Я запросто мог появиться на свет в военном городке под Херсоном — там заканчивал летнее училище мой отец, там он познакомился с мамой. Или в приличном городке Ютербог, куда отец был направлен служить после училища. Кстати, именно там, на прусском востоке Германии, родился мой брат.

Спустя триста девяносто девять дней родился я. Во многом благодаря беспечности родителей и стечению обстоятельств. Неблагоприятных обстоятельств — так, по крайней мере, считает он, мой брат. Сам я об этом стараюсь не думать, но определенная логика в его точке зрения есть безусловно.

Могу вообразить, с какой неохотой родители оставляли этот Ютербог: на фотографиях цветущие вишни, из белой пены выглядывают черепичные крыши, дальше — горбатый мост из дикого камня (кавалькада рыцарей с пышными плюмажами на стальных шлемах вот-вот должна появиться), внизу — пряткая речка, за мостом, на взгорье двуглавый готический собор втыкает шпили в безмятежное небо. Строгий прусский минимализм — почти Кранах. Фото черно-белое, но даже без цвета видно,

Валерий Бочков — прозаик, художник. Родился в Латвии. Вырос в Москве. Окончил художественно-графический факультет МГПИ. С 2000 года живет и работает в Вашингтоне. Член американского ПЕН-Клуба. Лауреат «Русской Премии» 2014 года в категории «Крупная проза» (роман «К югу от Вирджинии»). Постоянный автор «ДН».

как они были счастливы тогда: мать — тихая улыбка одними глазами, бледное узкое лицо, воздушное платье, имитирующее клок облака, — она запросто могла сойти за ангела, если бы не кулек в руках. В кульке — брат. Его не видно, но всем известно, что он там. Рядом отец — гордый и чуть растерянный, как и полагается молодому папаше. Четкий профиль, подбородок, тугой зачес назад, сигарета — все в соответствии с эпохой. Сколько ему тут? — думаю, и двадцати пяти нет. На отце форма с новенькими погонами, ему только что присвоили старшего лейтенанта. До моего рождения остается триста двадцать семь дней. Подсчитать несложно — на обороте фото есть дата. Написана она курсивом, с нажимом, фиолетовыми чернилами. Отец был изрядный каллиграф (природный дар, неутомимой практикой доведенный до идеала), папаша не смог удержаться и ниже дописал: «Семейство Краевских в полном составе». И в этой фразе есть свой скрытый смысл.

Отец хотел быть актером, а стал военным летчиком. В пятнадцать лет он убежал из дома с какой-то вполне зрелой артисткой из Московского театра оперетты. Его поймали в Харькове — труппа с триумфом гастролировала по Украине, москвичи показывали украинцам «Летучую мышь» — и вернули в столицу. Домой, в семью. Отец отца, соответственно, мой дед, суровый старик с деревянной ногой, — протез поскрипывал при ходьбе, тонко, будто весело посвистывал, — не выносил неповиновения и считал дисциплину главным достижением человеческой цивилизации. Нogu деду оторвало в Померании, всего за четыре месяца до конца войны, когда в составе Первого Белорусского фронта он вел на штурм города Линде свою стрелковую дивизию. Его наградили звездой Героя и отправили в отставку в чине генерал-лейтенанта. Я ни разу не слышал его смеха. Раз в год, в мае, дед надевал парадный мундир со стоячим воротником, ватными плечами и широкой грудью, увешанной орденами в четыре ряда. Золотая звезда висела особняком — высоко, почти у ключицы. Погоны с двумя выпуклыми звездами были шиты золотой ниткой, сверкающей, как искры бенгальского огня. Мне страшно хотелось потрогать погоны, но я бы скорее умер, чем решился на это. Стоячий воротник с малиновым кантом тоже был вышит золотом. Мне тогда казалось, что мундир деда — одна из самых красивых вещей на свете.

Последний раз я видел парадный мундир на Новодевичьем кладбище. Был теплый октябрь, конец бабьего лета. Пахло желтыми листьями и московской пылью, теплой, с горьковатым привкусом копоти. Дедову звезду Героя несли на красной подушке, за ней следовали подушки с другими орденами, не такими важными. Кorteж замыкал гроб. Его поставили на черный подиум, накрыли крышкой и зачем-то крепко заколотили гвоздями. Звякнули ружейные затворы, солдаты дали залп, потом еще один и еще. Потянуло кислым дымом, как от новогодних хлопушек. Через три дня мы вернулись домой, в Кройцбург.

В переводе с немецкого это значит крест-город. Или город креста. В тринадцатом веке, а именно в 1237 году, его основали крестоносцы. Немцы, вот ведь педантичный народ, выбили название города и дату основания на каменной колонне, что и сейчас стоит на Рыночной площади. У нас есть замок, окруженный крепостной стеной, часовня с подземным ходом, лютеранский костел, древнее кладбище с каменными крестами — все, как полагается. Одно время в Кройцбурге располагалась резиденция рижского епископа. Город переходил из рук в руки, после крестоносцев тут хозяйничали шведы, потом поляки. В середине шестнадцатого века Кройцбург заняли войска Ивана Грозного. А через двести лет в нашем замке, завершая триумфальную Польскую кампанию, останавливался полководец Суворов.

Сейчас в замке Дом офицеров — бильярдная, буфет, кинозал и библиотека. В комнате, где спал генералиссимус Суворов, теперь сидит майор Ершов, директор клуба, громкий и широкий коротышка с бабьим румянцем во всю щеку. Его жена — Ершиха — воображает себя светской дамой, скорее всего француженкой, поскольку от

природы картавит. По праздникам она натягивает на себя змеиное платье с глубоким вырезом-декольте, из которого пытаются выскочить ее огромные сиськи. Искристая чешуя платья делает Ершиху похожей на жирную саламандру. Я их никогда не видел, саламандр, но мне почему-то кажется, что они выглядят именно так.

В бильярдной четыре стола с зеленым сукном, высокий потолок зашит мореным дубом. Древесина почти черная, дубовые доски выдерживают под водой несколько лет — морят. Слово это мне напоминает Таню Мореву, я был в нее влюблен во втором классе. Потолок кажется низким, наверное, из-за того, что темный, на самом деле бильярдный зал высотой метра четыре. Дубовые панели и на стенах. На каждой стене по картине — огромные полотна в музейных бронзовых рамах, написанные местным художником-копиистом: «Василий Тёркин. Солдаты на привале», «Подвиг Николая Гастелло», «Александр Матросов закрывает грудью амбразуру фашистского дота» и, разумеется, «Переход Суворова через Альпы».

Я люблю разглядывать картины, я и сам неплохо рисую — но не с натуры, а по воображению. Суворов на картине похож на ехидную старушонку, brave гренадеры усаты и краснощеки. А вот фашист-пулеметчик напоминает Мефистофеля, нос крючком и злые глаза, — его хищные пули веером прошивают грудь советского героя. Лицо Матросова как из камня — такого пулями не возьмешь.

Самолет Гастелло получился на пять: заклепки на фюзеляже выпуклые, железные. Будто их действительно вбили в холст для пушечного реализма. Но больше всего меня восхищает Тёркин, даже не он сам, а то, с каким мастерством художник нарисовал папиросу в руке солдата: рыжий огонек так и горит — обжечься можно.

В бильярдной стоит густой мужской дух. Военный дух. Пахнет сапожной ваксой, одеколоном и табаком. Старый паркет скрипит под офицерскими каблуками, с треском сшибаются тяжелые шары — на их желтоватых боках выгравированы цифры, шары эти выточены из настоящих слоновьих бивней. Летчики немногословны, как и положено настоящим летчикам. Тем более, военным.

«Пятый — дуэтом от борта в центр» или «Седьмой — в правый дальний» — эти слова звучат как тайные заклинания. Мой отец тоже играет: закусив сигарету, он щурится от дыма — душистые сигареты с золотым ободком присылает из Москвы моя бабка. Отец красив, он действительно мог бы стать актером. Он эффектно нависает над зеленым столом, правая рука на отлете. Его ладное тело упруго, он подобен натянутому луку: рука — тетива, кий — стрела. Луза — цель.

— Восьмерка — тришлет в левый угол, — объявляет он.

— Тришлет? — шелестит шепот, зеваки окружают стол. Они сосредоточенно курят.

Удар хлесткий и сильный, он звонок, как пистолетный выстрел. Шар, крутясь, несется к борту, от него к другому.

— Флюк! — говорит кто-то.

— Эффе...

Шар подкатывается к угловой лузе, замирает на краю, но все-таки соскальзывает вниз.

— Флюк... — повторяет тот же голос.

Отец усмехается, не отвечает. Со вкусом затягивается и выпускает дым тонкой струей вверх, в темные дубовые панели. Зрители одобрительно бубнят.

Наступает моя очередь — я подлетаю к столу, выживаю холодный увесистый шар из сетки и ставлю на полку отца. Шаров у нас уже четыре. На один больше, чем у чернобрового капитана со страшной фамилией Черепов. Отец никогда ему не проигрывал. Хотя капитан Черепов тоже играет мастерски.

2

Тем летом я едва не утонул. Такая формулировка «едва не утонул» осталась в моей памяти — на самом деле меня чуть не утопил мой брат. Ему уже исполнилось пятнадцать, я еще застрял на четырнадцати.

Был полдень, конец июня, стояла жара. День начался с утра, чистого и пронзительного, как витражное стекло. Мы, человек шесть пацанов, ныряли с понтона. Эти понтоны еще в войну использовали для наведения мостов — выстраивали цепочкой от берега до берега, сверху крепили доски, и готово — хоть танки пускай. Похожий на циклопическую консервную банку — вроде как для сардин (если б сардины вымахали с акулу), он стоял метрах в двадцати от берега, этот понтон. Поднырнув под его брюхо, в темно-янтарной толще можно было разглядеть ржавую якорную цепь, а на самом дне огромный бетонный блок с железной скобой, к которой и прикована цепь. Пару раз во время ледохода понтон отрывался, однажды его утащило до самых порогов, что за Еврейским кладбищем, но каждым летом он чудесным манером возвращался на свое место.

Искусство ныряния с понтона состоит из двух важнейших компонентов — скорость разбега и высота подскока. Разбежаться нужно по диагонали, так длинней — получается ровно восемь шагов. Восьмой шаг приходится на самый край понтона. Беги, будто за тобой гонится черт с вилами. Отталкивайся обеими ногами и изо всех сил, так, точно пытаешься допрыгнуть до солнца. Еще: крайне важно уловить ритм — понтон качается — и в момент подскока борт, с которого ты прыгаешь, должен идти вверх.

Закрутить сальто в воздухе считалось особым шиком. Мой брат не просто крутил сальто, он умудрялся войти в воду рыбкай — без брызг. Изящно, как лезвие ножа. Мои сальто напоминали кувырки, и я непременно плюхался в воду лицом. Или брюхом.

Но в тот раз мне удалось сделать настоящий кульбит. Да, я успел выпрямиться, вытянуть руки и войти в воду без всплеска. Сквозь двухметровую толщу воды до меня понеслись восторженные крики с понтона.

— Коронно!

— Зашибец!

— Высший пилотаж!

Одним мощным гребком я вырвался из глубины на поверхность. Доплыл, в два приема подтянулся и выскочил на понтон — сбоку к борту была припаяна лесенка, но это для мелюзги.

— Ну ты дал, Чиж! — Женечка Воронцов, румяный с белыми девичьими ресницами, восторженно шлепнул меня ладошкой по мокрой спине. — Сальто мортале в чистом виде!

— Пять с плюсом! — Арахис ткнул мне кулаком под ребра, повернулся к моему брату. — Сделали тебя, Валет! Как ребенка сделали.

Тот хмыкнул.

— Случайность, — брат презрительно сплюнул в воду. — Показываю, как надо!

Все расступились, освобождая место для разбега. Валет, загорелый и мосластый, как породистый жеребец, лениво дошел до края понтона, повернулся. Ухмыляясь, оглядел всех, всех по очереди. Всех, кроме меня — по моему лицу скользнул как по пустому месту. Замер, подался вперед, наклонив голову. На лбу проступила вертикальная жила, такая же как у отца. С берега долетел обрывок песни, пели что-то народное, хором, там, на берегу слушали транзистор.

Валет сорвался с места. Пятки застучали в железо, точно тревожная дробь цирковых барабанов. Пустое нутро понтона ответило гулким эхом. Подлетев к самому краю, брат оттолкнулся от бортика и взмыл вверх. На миг его мускулистое тело застыло в воздухе — бронза на синем, тут я понял, что вот сейчас Валет попытается

сделать двойное сальто, за моей спиной Арахис восторженно выругался матом — и он был прав — картина была божественной.

Первый кульбит вышел безукоризненно, брат скрутился в узел — спина колесом, подбородок в колени — комок мускулов, сгусток энергии. Раньше двойное сальто не удавалось сделать никому из наших. Не удалось и Валету. На втором кувырке он врезался в воду, врезался лицом, подняв фонтан брызг.

— Жаба! — захохотал Сероглазов, жилистый и смазливый парень; его отца-майора три месяца назад перевели к нам из Германии, мамаша разгуливала фифой по гарнизону в красной шляпе с вуалью, а сам Сероглазов шеголял перед нами непромокаемыми часами с черным циферблатом и фосфорными стрелками, которые горели ночью зеленоватым светом. Утверждал, что в этих часах можно нырять на глубину сто метров.

— Валет жабу ляпнул! — изумленно выдохнул Арахис мне в затылок. — Чемпиону кирдык...

Брат вынырнул. Подплыв, он подтянулся, пружинисто выскочил на понтон. Лоб и правая щека горели румянцем как ожог.

— Не ушибся? — Сероглазов отступил назад, ласково ухмыляясь.

Брат зло посмотрел ему в лицо, не ответил.

— Однако, жаба... — Серый скрестил руки на груди, невзначай выставив свои часы. — Чемпионский титул аннулируется.

— Я вне зачета прыгал, — брат обеими руками зачесал назад мокрые волосы, туго, как отец. — Сечешь? Жаба не считается.

— Жаба есть жаба. — Сероглазов сделал еще шаг назад. — Сам знаешь. Верно, мужики?

Все молчали. Жаба есть жаба — тут Серый был прав, но и связываться с Валетом никто не хотел. Брат хмуро оглядел нас, я видел как он сжал кулаки, как надулась жила на лбу. У меня инстинктивно перехватило горло, я-то знал, к чему шло дело.

— Жаба... — повторил Сероглазов.

Брат медленно пошел на него. Все расступились. Железо понтона раскалилось, как сковородка. На берегу, перекрикивая радио, зарыдал младенец. На ватных ногах я отошел к краю — сейчас я был в безопасности, но по привычке меня начало мутить. Сероглазов продолжал ухмыляться, он явно не подозревал, чем это может кончиться.

Не знаю, возможно, я действительно с придурью, как считает бабушка, — я подслушал их разговор на кухне с моим отцом, когда мы навещали старуху в зимние каникулы, — но меня отчего-то охватывает дикий стыд за других людей, когда те говорят глупости или делают гадости. Даже когда это вытворяют совершенно посторонние люди. Не знаю. В такие моменты, чтобы остановить позорище и отвлечь внимание, я могу громко запеть или захохотать. Или выкинуть еще какой-нибудь фортель — вот, тоже бабкино словцо.

В драке брат зверел, зверел моментально. В стене нашей комнаты есть вмятина от гантели на уровне глаз, Валет метил в висок. В семь лет мне пришивали ухо — одиннадцать швов — брат почти вчистую откусил его. Выбитый коренной зуб и шрам на затылке от кастрюли — это все, не считая бесчисленных синяков и царапин, отметины его братской любви. В драке Валет не просто дрался, он пытался тебя убить. Его побаивался даже Арахис, квадратный детина с внешностью мексиканского разбойника.

— Жаба? — тихо спросил брат, глядя исподлобья на Сероглазова.

Тот, пятясь, остановился на краю понтона. Лениво потянулся, поправил бронзовую пряжку на своих немецких плавках — яркие радужные полоски, а сбоку кармашек с бронзовой застежкой в виде акулы.

— Ага, — ответил, улыбаясь. — Жаба.

Дальнейшее произошло мгновенно и почти синхронно.

Я не выдержал и крикнул: «Кончай, Валет!» Он даже не оглянулся. В тот же самый момент коротким бычьим ударом головой боднул Сероглазова в грудь. Грудная

клетка ухнула гулко, как барабан. Серый, удивленно раскинув руки, полетел за борт. Его тело еще не коснулось воды, а брат уже подскочил ко мне. Кулака я не увидел — боль пронзила череп от подбородка до затылка. Мощный апперкот — Валет каждое утро дубасил боксерскую грушу в нашем гараже — в голове взорвалась вселенная и тут же рассыпалась белыми искрами.

Понтон и река подпрыгнули — точно я взлетел на качелях. Босые ноги мелькнули на фоне белых облаков и невинной июльской синевы. Испугаться толком я не успел, не ощутил и удара о воду, должно быть, на мгновение даже потерял сознание — классический нокаут. Верх и низ перепутались, я стал почти невесом. В голове стоял звон, как от мелких серебряных бубенцов. Почему не колокольчиков? — не знаю, не знаю — бубенцов. Тягучая янтарная толща, расчерченная острыми лучами, потащила меня куда-то вбок. Течение, с упорством пьяного, влекло меня на глубину, на середину реки.

Безмолвие и покой — не так уж оказалось все страшно. Раньше иногда я пытался представить свою смерть — от пули, кинжала, прямого удара шпаги в сердце, — невыносимая боль, парализующий ужас, накрывающая с головой тьма — воображение рисовало куда более жуткие картины, чем эта. Я тонул, а значит, умирал. И смерть эта была мирной, почти нежной.

Зеленые ростки водорослей вытянулись вдоль дна, течение играло ими, как лентами на ленивом ветру. Илистое дно казалось затянутым в коричневый бархат. Мордатый сом, заметив меня, чванливо посторонился, но не уплыл, остался наблюдать. Притаился за корягой, вот дурак — думает, его не видно.

Я запросто могу сидеть под водой почти две минуты, ладно — полторы уж точно. Дольше Арахиса и Гуся, не говоря уже про Женечку Воронцова. Даже дольше Валета, хотя брат, зная это, со мной не тягается. Он соревнуется, лишь когда уверен в победе на все сто.

Течение тянуло меня. Я стал частью реки. Плыл над самым дном, нежные водоросли касались груди и ног. Выставил вперед руки — на глубине они казались бледными, точно были выточены из слоновой кости, вроде бильiardных шаров. Потом перевернулся, надо мной сквозь янтарную толщу проглядывало небо — солнце и облака, иногда мелькала тень птицы. У нас на Даугаве много речных чаек-клуш, они мельче морских, но такие же крикливые и скандальные. Понтон остался позади, темным пятном он чернел среди желто-зеленых бликов и солнечных зайчиков.

Злорадная горечь — всхлип пополам с усмешкой, когда не знаешь, разразишься хохотом или залынешься слезами — наполнила меня: там, на понтоне, Валет наверняка уже начал нервничать. Я представил, как он придет домой. Что будет говорить отцу и матери. Как будет врать. От жалости к себе я чуть не заплакал.

Воздух кончался. За эти десять секунд воображение успело нарисовать похороны — вышло горестно и уныло до зубной боли: я добавил серый дождик, жирную глину — мерзко коричневую, липнущую пудами к ботинкам. Фальшивые венки из крашеной бумаги раскисли, ленты потекли — «любимому сыну и брату», теперь вранье едва можно было прочитать на черных тряпках. Добавил звук — не оркестр, пять доходяг с мятыми дудками и один с аккордеоном. Никаких барабанов, большой барабан действительно трагичен, только визг и стон. Мне нужен фарс.

Даугава — река серьезная, широкая и быстрая. Меня вынесло на стремнину, надо мной серебрилась звонкая рябь. Лежа на спине, я плавно пошел к поверхности. Не вынырнул — всплыл, лишь выставил лицо. Понтон остался позади, метрах в пятидесяти. Вопреки ожиданиям, никто не вematривался в воду, никто не нырнул в отчаянных попытках найти утопленника, никто не кричал и не звал на помощь. Они что-то обсуждали, стояли вокруг Валета и о чем-то говорили. Спокойно, обычно. Ни жестов горя, ни паники — ничего. Компания пацанов на реке под летним небом.

Пять раз глубоко вдохнув и выдохнув, я восстановил дыхание — так поступают охотники за жемчугом на Карибских островах, лучшие ныряльщики в мире, — нужно втягивать воздух словно ты пьешь что-то через соломинку, получается свистящий звук.

Но не свист, а такой шипящий звук, как от сильного ветра, когда он дует в замочную скважину.

Вдохнув полной грудью, я ушел под воду. Не знаю, наверное, я плакал — не знаю. Под водой не понять, слезы если и текут, то тут же растворяются. Лишь во рту горечь. Валет меня не удивил — ничего другого я и не ожидал от брата. Сероглазов тоже — пижон, одно слово. Почти немец. Но вот Арахис! Женечка Воронцов! И Гусь! Даже Гусь, с которым два года назад мы заблудились в подземелье часовни. Даже Гусь...

Я снова всплыл. Лежа на спине, глядел в синее равнодушное небо, глядел на облака, на птиц. Они пролетели крикливой стаей, промчались низко, в сторону острова. Ласточки, черные и быстрые, как торопливые каракули на белом листе бумаги. Их крики, резкие, болезненно острые, напоминали мышинный писк. Вот, значит, как это будет — никто просто не обратит внимания. Точно меня никогда и не существовало на свете. Никто не будет рвать волосы и рыдать, никто даже не взгрустнет на минуту, не подумает — вот жил такой Чиж и вдруг нет его. Будут гонять на великах и лупить в футбол, ловить раков на Лауке и воровать яблоки в Латышской слободе. Вот, значит, как.

Течение несло меня к острову. Он никак не назывался, вернее, все звали его просто — Остров. Тем более что других островов в округе не было, и если речь не шла о Святой Елене, Яве, Мальте или острове Мадагаскар, то каждому было ясно, какой остров имеется в виду. На нашем острове никто не жил, но назвать его необитаемым я бы не решился. На его дальнем конце летом устраивались танцы, концерты, иногда показывали кино — там стояла дощатая летняя эстрада в виде ракушки со сценой, перед ней были вкопаны длинные лавки для зрителей. По бокам располагались фанерные будки, где толстые теткли торговали пивом, теплым лимонадом и раскисшими эклерами.

С латышским берегом остров соединялся подвесным мостом на стальных тросах толщиной в руку. Трос пружинил, мост покачивался, как батут, шагать по такому мосту было сплошное удовольствие — я обратил внимание, что пешеходы на нем всегда шли улыбаясь. Это как с велосипедом — нельзя мчаться на велике с мрачным лицом.

Наш мост, что соединял остров с гарнизоном, был деревянным, и его каждой весной сносило ледоходом. Однако к началу лета появлялся новый — из свежих сосновых досок, ярко-желтых и пахучих. Его строили солдаты с аэродрома — быстро и бесплатно.

Остров считался нейтральной территорией. Драк не случалось: по неписаному закону конфликты решались в других местах, правило это соблюдали и латыши, и наши. Зимой дрались на льду Даугавы — посередине реки, а в теплое время за стрельбищем или на лопуховом поле за Еврейским кладбищем.

Если спросить у птиц, то они бы сказали, что с неба наш остров похож на шуку — длинный, с вытянутым острым носом. Там, на дальней косе, за высокой чашей дикого орешника, есть одно тайное место — песчаный мыс. С трех сторон он окружен зарослями камыша, непроходимыми, как амазонские джунгли. Попасть на мыс можно только вплавь, но зато какое это блаженство — прямо из холодной реки рухнуть в горячий песок, белый и мягкий, как сахарная пудра. На мелководье, в теплой, как суп, воде, дремлют шурыта. Плоские и прозрачные, будто отлитые из бутылочного стекла елочные игрушки, они покачиваются лениво в такт речной волне. Тихо шурытит высушенная солнцем камыш-трава, в орешнике свистят щетки, сверху — пустая синь. И ни души — лишь песок, река и небо.

Неспешным брассом — течение само несло меня — я обогнул камышовые заросли. Острые листья поднимались из воды стеной, на длинных стеблях покачивались пушистые метелки. Из мелкой зыби выступала песчаная отмель, похожая на одинокий бархан, словно какому-то сумасброному джинну пришла в голову блажь перенести к нам кусок Сахары. Без единого всплеска, подобно коварному аллигатору, я всплыл

в заводь. Грудь коснулась песка — мягко, я вытянулся на мелководье и блаженно застыл. Вода, прогретая солнцем, была тут градусов на пять теплей, чем на стремнине.

Но что-то тут было не так — интуиция меня редко подводит — вытянув шею я увидел колени. Они были нагло выставлены вверх, а тело скрывалось за песчаной дною. Настроение моментально сошло на нет: весь день превращался в череду неприятных сюрпризов: сначала Валет чуть не сломал мне челюсть, после я чуть не утонул, а теперь вот какой-то самозванец, задрав ноги, развалился на моем пляже. Похоже, негодяй был один.

Дал задний ход, беспумно погрузился. Вынырнул с левого фланга, в камышах. Прежде чем предпринимать что-то, мне хотелось рассмотреть захватчика — вдруг оккупантом окажется латышский битюг с пудовыми кулаками. Длинные стебли шуршали, покачиваясь на ветру. Я выпрямился.

В песчаной ложбине лежала девица. Абсолютно голая. Ей на колени опустилась зеленая стрекоза, ленивой ладошкой и не открывая глаз, девица согнала насекомое. И снова закинула руку за голову, раскрыв белую подмышку с золотистыми кудряшками. Такие же, чуть темней, с рыжеватым отливом, покрывали ее лобок. Девица сонно развела ноги, завитушки вспыхнули на солнце, точно клубок медной проволоки. Я с трудом сглотнул, во рту стало шершаво и сухо.

Голую женщину вот так вблизи я видел только один раз, в третьем классе. Сколько мне тогда было — десять лет? Валет гонялся за мной по квартире, я выскочил на лестничную клетку. Дверь к Череповым, нашим соседям, была приоткрыта — их котяра, наглый Че Гевара, сидел тут же, увлеченно валяя по кафельному полу придушенную мышь. Прощмыгнув в соседскую дверь, я прокрался в гостиную и спрятался за шторой. Похожие шторы — тяжелые, бархатные, с золотыми кистями — висели и у нас. Черепов и мой отец до Прибалтики вместе служили в Йотербурге. В наших квартирах стояли одинаковые ореховые буфеты на львиных лапах, за буфетным стеклом красовались идентичные сервизы «Мадонна», расписанные пасторальными сценами из жизни баварских пастушек в розово-голубой гамме, а с потолка обеих гостиных свисали неотличимые, как близнецы, хрустальные люстры. Из глубин квартиры донесся шум — шаги и пение, дверь распахнулась, и в гостиную вошла тетя Вера.

Кроме намотанного тюрбаном банного полотенца, на соседке не было ничего. Напевая что-то мурлыкающим сопрано, она остановилась перед зеркалом, всего в метре от меня. От ее большого, распаренного тела тянуло жаром и земляничным мылом. Протянув руку, при желании, я бы мог запросто дотронуться до ее крулой, как мраморный шар, ягодицы.

Тетя Вера разглядывала себя в зеркало с разных сторон, втягивала живот, вставала на цыпочки. Она поворачивалась спиной и оглядывалась, кому-то задорно подмигивая и посылая воздушные поцелуи. Игриво хлопала себя по заду, на нежной коже оставались розовые отпечатки ее ладошки. Потом, достав из трюмо синюю жестянку, соседка принялась мазать себя каким-то кремом, жирным и белым, как сметана.

Мне удалось разглядеть все. Я стоял совсем рядом. Меня удивило и разочаровало, что у тети Веры между ног не было ничего, кроме пучка жестких и линялых, как мочалка, волос. Нет, я конечно и до этого видел голых женщин — на картинках: и игральные карты с голыми немками, и отцовская шариковая ручка, которую он прятал в глубине письменного стола рядом с завернутым в бархатную тряпицу семизарядным «Браунингом». И большая картонная фотография, задвинутая за пианино, которую тайком мне как-то показал Арахис у себя дома: на ней раскрашенная розовым дородная нимфа нежилась на берегу черно-белого лесного пруда.

Реальность оказалась скучной. Слово то, кто ее выдумывал, был ленив или не очень умен. Неужели нельзя было придумать что-нибудь интересней пустого места с мочалкой на загривке? Ну хорошо, не совсем пустого — спустя год Шурочка Руднева с третьего этажа с завидной гордостью продемонстрировала мне всю затейливость

этого органа — дело было под Новый год, в клубной кладовке, у нас был китайский фонарик и целый кулек шоколадных конфет.

Сейчас, прячась в камышах, я стоял по грудь в воде и не знал, что делать дальше. Мне в икры щекоотно тыкались мальки, страшно хотелось пить. Солнце перекаатило через реку и уже висело на латышской стороне, прямо над шпилем костела. Девуца открыла глаза. Потянулась, развела руки и одним ловким и сильным движением встала. Отряхнула песок с ягодич, к загорелой ляжке прилипла полоска водоросли, прилипла изумрудным зигзагом, точно руническая татуировка или тайный знак. Она стояла неподвижно и смотрела на реку. Не знаю почему, но я сразу решил, что она латышка. Военный городок не так велик, и всех своих мы знали в лицо. И хотя она запросто могла приехать к кому-то из наших в гости, на каникулы, у меня была уверенность, что девчонка с того берега.

Одного со мной возраста, может, чуть старше, она напоминала циркачку — из тех, что танцуют на канате — мускулистая и грациозная, она стояла гордо, подобно птице, готовящейся взлететь. Да, именно природная грация, почти животная — так грациозен и естественен олень в лесу или ястреб в небе, к тому же ровный загар, без бледных полосок от купальника, девчонка казалась частью речного пейзажа, фрагментом из мозаики опрокинутого неба, летнего зноя и песчаной косы. Не знаю — чуть ли не наядой или сильфидой.

А может, все мои фантазии были последствием нокаута — сказать трудно. Лицо мое горело, челюсть от удара налилась болью и пульсировала, в голове стоял нудный зуд — как в трансформаторной будке. И когда латышка повернулась и посмотрела мне в глаза, я даже не удивился. Будто она с самого начала знала, что я прячусь тут, в камышах. Взгляд ее, спокойный, без тени смущения или хотя бы испуга, мне выдержать не удалось, к тому же она теперь стояла лицом ко мне, бесстыже выставив круглые розовые соски и все остальное.

Я натужно закашлялся, начал поправлять волосы, а она молча вытянула руку и поманила меня ладонью — ласковым жестом — лодочкой.

Путаясь в камышах, я неуклюже выбрался на берег. Остановился метрах в трех, не зная куда девать руки. Скрестил на груди, потом заложил за спину. Упер в бока — нет, снова убрал за спину. Очень старался не пялиться на ее соски и на все остальное.

Песок приятно жег пятки, девушка все так же молча наблюдала за мной. У нее были веснушки — на носу и щеках — летние, такие высыпают и у меня, но до зимы они не дотягивают. И выгоревшие в белое волосы, обрезанные чуть выше плеч. Глаза серо-голубые тоже казались выгоревшими, слишком светлыми на загорелом лице.

— Жара... сегодня, — выдавил я глухо, начало фразы вышло сишлым, а конец взмыл писклявым фальцетом.

Я снова закашлялся в кулак. Снова начал причесывать пятерней волосы. Стая ласточек промчалась над нашими головами, просвистела в сторону латышского берега. Там белел тонкий костел с черным крестом на шпиле, пологие отмели выползали из воды песчаными залысинами и врезались острыми языками в изумрудные холмы, из-за мохнатых яблонь выглядывали черепичные крыши с кирпичными трубами. Те самые яблоневые сады на окраине, на которые мы совершали наши августовские набегы — «крестовые походы», как называл их Арахис. Достаточно, кстати, рискованные — латышские овчарки, что сторожили сады, отличались люгостью и прытью.

Латышка никак не отреагировала на мое замечание о погоде. Ни словом, ни улыбкой — никак.

— Часа три уже, — попытался я еще раз. — Или полчетвертого. Должно быть...

Тут она кивнула. Мне удалось улыбнуться, наверное, улыбка вышла так себе, девушка не ответила, лишь сузила глаза. Я вспомнил — такие глаза стеклянного бутылочного цвета с черной дробинкой зрачка у полярных лаек. Хаски, кажется, называется эта порода.

Мы с ней были почти одного роста, я незаметно расправил плечи и выпрямился.

Латышка разглядывала мой подбородок, должно быть, там всюду зрел синяк. Потом опустила взгляд, она глядела на плавки. Смотрела без смущения, без кокетства или любопытства — просто смотрела. Я втянул живот и перестал дышать. Потом она сделала жест, простой и ясный.

— Снять? — чужим голосом спросил я.

Тут она улыбнулась и дважды — да-да — кивнула.

Небо за ней стало белым, солнце растеклось слепящим нимбом, река побелела, вспыхнула, и вода превратилась в ртуть, сияющую белую ртуть. Песок жег пятки. Меж лопаток проскользнула горячая капля пота, оставив щекотную дорожку. Горло мое издало тихий икающий звук, должно быть, там, внутри, сердце оборвалось и рухнуло вниз. Все оказалось правдой — и Мопассан, и вранье старшеклассников, и подслушанные истории взрослых. Истинной правдой. Но до конца поверить, что это происходит на самом деле, происходит со мной, я не мог. Контуры реальности потекли, как горячий воск.

Онемевшими пальцами я стянул мокрые плавки, зажал в кулак и зачем-то выжал. Голова моя плыла, куда-то плыл весь мир — река, небо, облака. Сложив руки, я прикрыл плавками низ живота. Сердце колотилось в висках, в горле, грохотало в грудной клетке — звук этот долетел наверняка до того берега. Не хватало еще в обморок шлепнуться — вот это будет номер. Я глубоко вдохнул три раза, но это тоже не помогло.

Латышка по-хозяйски выдернула из кулака мои плавки, без стеснения оглядела — сначала меня, потом плавки. Растянула их между большими пальцами, скрутила жгутом и ловко завязала в узел. Я замороженно наблюдал за ней, словно в ожидании какого-то занятого фокуса. Затянув второй узел, девица подкинула туюй комок на ладони, точно теннисный мяч. Нехорошая догадка мелькнула в голове, я даже что-то промямлил, но было поздно — латышка, пружинисто отступив назад, резко, по-мужски, размахнулась и сильным броском зашвырнула мои плавки на середину реки.

Бросок вышел отличный — метров на тридцать. Плавки шлепнулись — всплеск и все — пропали. Не оглянувшись, даже не посмотрев на меня, девица вошла в воду по пояс и нырнула. Я стоял как истукан — молча. Вынырнув, она уверенным кролем поплыла к своему берегу. Ее голова с солнечным зайчиком в мокрых волосах быстро удалялась, вот она добралась до стремнины — река там искрилась-играла бликами, течение подхватило ее и понесло. Ладонью я загородился от солнца, вода слепила, как разбитое зеркало, мне казалось, что я все еще вижу ее — крошечную точку в искрящемся мареве света. Но, должно быть, мне так только казалось.

Немного было жаль плавок. Совсем новые, японские, я в них плавал первое лето. Мне их купили перед самыми каникулами. Придется что-то врать родителям. Но не думал я, как буду дома объяснять пропажу. Не очень думал и о том, каким макаром доберусь до своей одежды на том берегу, да, видать, придется пробираться камышами вдоль берега. Ведь и дураку ясно: плыть тут против течения — дохлый номер.

3

Та голая латышка крепко застряла в моей памяти. Все лето я плавал на конец острова, иногда три-четыре раза в неделю. Выбирался на пустой берег, разглядывал песок, пытаюсь найти свежие следы ее босых ног.

А в августе, за неделю до конца каникул, разбился отец Гуся. Гуслицкий-старший летал штурманом на Як-28. Отец, с высокомерием истребителя, называл эти бомбардировщики птеродактилями. Летчики — народ суеверный, и, боясь спугнуть, они крайне осторожны в выражениях, на деле «двадцать восьмой» был самым настоящим летающим гробом.

Военный аэродром находился на западе, в семи километрах от Кройцбурга. Разумеется, и аэродром, и прилегающая местность — леса, поля и самолетное

стрельбище, считались зоной повышенной секретности, но каждому в нашем военном городке было известно, что на аэродроме базировались две эскадрильи — разведчики и истребители. И что истребители летали на двадцать первых МиГов, а разведчики на «яках». Когда «яки» прогревали движки на форсаже, рев был слышен в городе.

Из разговоров летчиков и технарей, подслушанных в буфете Дома офицеров, бильярдной и на разнообразных застольях, выходило, что конструкторы бюро Яковлева не довели машину до ума, каркас фюзеляжа был слаб и при полной заправке топливом деформировался до такой степени, что невозможно было закрыть фонарь кабины. Поэтому перед вылетом в машину сначала усаживались штурман и пилот, техники закрывали кабину и только после этого заливали керосин в баки.

Батя Гуся не успел катапультироваться — так решила комиссия. Три офицера из Даугавпилса и толстый полковник из Москвы. Сразу после взлета и выключения форсажа, возник разнотяг двигателей, стабилизатор курса не сработал и самолет, потеряв управление, упал. С момента взлета до падения прошло три минуты сорок секунд. Второй пилот, капитан Сергиенко успешно катапультировался и остался жив.

На похоронах был весь гарнизон. Я старался не думать, что лежит в заколоченном и затянутом красной тряпкой гробу. Место катастрофы реактивного самолета представляет из себя глубокую воронку и круг выжженной земли, радиусом в километр, усеянный кусками обгоревшего алюминия. От гордой крылатой машины не остается ничего, кроме мелкого металлического мусора и запаха керосиновой гари. О человеке и говорить не приходится.

Гроб стоял на сдвинутых столах, покрытых черным крепом. Большая фотография, в раме и под стеклом, украшенная траурным бантом и красными лентами, напоминала фото киноактера. Вроде тех открыток «Звезды советского экрана», что коллекционируют девчонки. От ретуши сходство почти исчезло, и отец Гуся больше походил на артиста Козакова, чем на капитана Гуслицкого. Сам Гусь, серый и прилизанный, в пиджаке с квадратными плечами, стоял тут же. Рядом была мать, с красным и мокрым лицом, ее окружала какая-то деревенская родня в тугих черных платках, похожая на стаю осенних грачей.

Из Замка, то есть, из Дома офицеров, поехали на кладбище. Я оказался в автобусе с музыкантами, пролез на заднее сиденье, ехал и разглядывал свое кривое отражение в медном раструбе геликона. Рядом уселась Шурочка Руднева, она без конца тараторила сдавленным шепотом про какого-то Костика, который что-то ей обещал, но не сделал. Или сделал, но не так как обещал. Потом про какой-то парикмахерский техникум в Резекне. От нее разлило сладкими подкисшими духами, вроде «Красной Москвы». Трубач, солдатик с интеллигентным лицом, обернулся и вежливо попросил ее заткнуться. Руднева фыркнула и уставилась в окно. Мне хотелось поблагодарить трубача, но я промолчал — чтоб не бесить Рудневу.

На кладбище я не пошел к могиле, остался у автобусов. От них пахло бензином и горячей резиной. У дальнего автобуса шоферы-солдаты сидели на корточках и курили в кулак. Я тоже присел на корточки. Теперь я не видел кладбища — люди, венки, красный гроб, взвод автоматчиков и оркестр скрылись за холмом. Ветра не было, стоял зной, лето заканчивалось. Я провел ладонью по колочей желтой траве, потом положил руку на сухую потрескавшуюся глину. Глина была теплой, как человеческое тело. Вместе с летом заканчивалось еще что-то — тогда я не знал, что мысль эта банальна, я никогда прежде не испытывал подобного чувства. Тогда впервые в жизни я осознал свою смертность, конечность этого мира. Осознание пошлости этих фраз приходит позднее — с опытом, который пресуется в цинизм, а тогда мне чудилось — нет, я был уверен, — что здесь и сейчас мне открылась главная тайна Вселенной. Впрочем, банальность истин не отменяет их истинности.

Солдаты дали залп. Это означало, что гроб опускают в яму. Потом еще один. И еще. Сухое эхо вернулось из дальней роши, и тут же оркестр выдул какой-то чудовищный до-мажор. Повисла пауза — ненадолго — и вот с раскачкой, нестройно, точно пьяный, что топает вверх по крутой лестнице в пудовых сапогах, зазвучал гимн.

Медная секция рычала, тарелки истерично звенели, геликон интеллигентного солдата гудел страшным басом. Колотушка большого барабана увесисто лупила ему в такт.

Звук — не мелодия, скорее, какофония — заполнил пространство. Знойное небо стало желто-белым, как выгоревшая бумага. Сухая трава блестела, как колючая пластмасса. Унылое поле упиралось в березовую рощу, на кромке громоздились огромные валуны, похожие на стадо отдыхающих бизонов. Эти гигантские камни остались в Латгалии с ледникового периода. Ледник полз и тащил глыбы за собой — так нам говорили в школе. Пыльная дорога взбиралась на холм, там, на самой макушке, остановился велосипедист. Черный силуэт велосипеда с дамской рамой и женщина в летнем сарафане. Она стояла спиной ко мне и смотрела вниз, на кладбище.

Гимн наконец закончился. Я испытал почти физическое облегчение. Женщина на холме легко запрыгнула в седло, чуть помедлила и быстро покатила вниз. Ловко виляя меж камней и выбоин, она пронеслась мимо наших автобусов, стоявших на обочине. Летящий сарафан, загорелые колени, выгоревшие в белое волосы. Один из шоферов свистнул вслед, остальные громко заржали. Мне стало стыдно, будто я имел к ним какое-то отношение, к этим солдатам. И еще — если бы за эти два месяца я уже не ошибся дюжину раз, то сейчас готов был бы поспорить, что узнал ее.

4

Инга. Ин-га. Инга.

У нее оказалось самое красивое имя на свете — Инга. Звон хрустального меча, извлекаемого из серебряных ножен. Аккорд высокого регистра, торжественный мимажор, летящий под свод готического костела и там подхватываемый хором ангелов. Ин-н-га-а-а... За бесконечность этого а-а-а можно было заплатить любую цену, даже жизнь отдать за этот божественный звук.

Случилось все таинственно, почти волшебным — господи, да как еще это могло произойти! Мы встретились в новогоднюю ночь — да! — в самые первые часы нового года на льду замерзшей Даугавы под бархатным фиолетовым небом, безумным от россыпи оцепеневших белых звезд.

Вам когда-нибудь доводилось вырваться из дому и пойти неведомо куда, просто шагать, вот так, напропалую, в ночь — без цели, без мыслей, без надежды? Ведь не всегда побег имеет пункт назначения. Тот самый заветный пункт «Б». Иногда суть побега в том, чтобы покинуть пункт «А». Иногда этого вполне достаточно.

Мать заснула перед телевизором под «Голубой огонек». Отец отпросился в Дом офицеров еще до ужина. Валета я не видел с утра.

Я встал, приглушил радостную трескотню в телевизоре, допил шампанское из теплого фужера. Выключил гирлянду на елке. Самые изысканные игрушки, все из Германии — усатый трубочист, Санта-Клаус, выводок румяных Гретхен в кокетливых передниках, все они висели на виду, на верхних ветках. Наши фонарики, кособокие снежинки и убогие колокольчики были спрятаны ближе к стволу, в пахучей чаще за мишурой и серпантинном.

Надел куртку, вернулся и заглянул в комнату — мать спала, удивленно приоткрыв рот. Ее правая бровь даже во сне оставалась иронично вздернутой, точно качество демонстрируемых сновидений вызывало у нее какие-то сомнения.

Беззвучными шагами вышел за порог, щелкнул замком. По лестничной площадке, перебивая кошачью вонь, плыл румяный дух печеного гуся с яблоками. Наверху хором топтали, испуганно звенела посуда. У Лихачевых всегда гуляли с размахом.

Ночь удивила неподвижностью и равнодушным величием. Полная сизая луна демонстрировала свою скучную географию. На сугробах лежали лимонные квадраты окон. Набрав полную грудь воздуха, я задрал голову и выдохнул столб пара прямо в звезды. Мне послышался тихий перезвон — должно быть, так в морозном воздухе замерзает мое дыхание.

Было тихо и безлюдно. Праздник переживал апогей застольной фазы — в полночь

веселье выпрет на улицу. С шампанским, водкой, с пальбой из табельных ракетниц, с песнями и тостами.

У дальнего подъезда, в желтом конусе фонаря курили три девчонки, чуть старше меня — в нарядных платьях, с голыми ногами в летних туфлях, одна была уже здорово пьяна. Я узнал Дронову и пошел в другую сторону.

Споро шагая по скрипучему снегу, я погружался в темень — сливался с чернотой, делался ее частью — и снова выныривал в следующей луже света, скупо разлитого уличной лампой. Так — то исчезая, то появляясь — я плыл сквозь ночь. С правой стороны призрачно белело замерзшее озеро, слева чернел парк. За стволами лип, точно разгорающийся пожар, сиял замок. В Доме офицеров гульба шла на всю катушку. Люстры сияли в высоких окнах, свет горел везде — в «Охотничьем зале», «Малиновом», в бильярдной, даже в библиотеке. Музыка громыхала, но вдруг оборвалась — тут же все заплодировали. Раздались крики «ура». Воодушевленный оркестр вжарил с новой мощью. Кто-то азартно запел в микрофон.

Я дошел до реки, оглянулся. Над парком тлело зарево, музыка теперь бубнила, как через подушку. Военный городок остался позади. Позади остались распахнутые кованые ворота с жестяными звездами и пустая караульная будка — контрольно-пропускной пункт гарнизона. КПП. Охрана появлялась там лишь при инспекционных визитах столичных генералов.

С высоты берега замерзшая река казалась идеально плоским полем, уходящим в бесконечность. Луна перекочевала к западу, она висела над ледяной равниной, как очень правдоподобный атрибут декорации. Этой ночью, однако, буталофы явно перестарались — их луна получилась лучше настоящей. Уж точно ярче и крутлей.

Снег будто светился изнутри, как холодный фосфор на циферблате Сероглазовских часов. Тени — ультрамариновые и плотные, в их четкой графике тоже угадывалась какая-то фальшь. И уж совсем театрально выглядел латышский берег — заснеженный костел, острые крыши, дымок из труб, идеально прямыми лентами уполывающий к звездам. Просто открытка — жемчужный перламутр да фиолетовый бархат — «Приезжайте к нам на Рождество в Баварию». Да, и тут художники перегнули палку — от Кройцбурга до Мюнхена было полторы тысячи километров.

Прямые, как по линейке, тропинки соединяли наш и латышский берег. Латыши в гарнизон забредали редко, следовательно, тропы были славянского происхождения. Тропинок было три. На нашей стороне, начинаясь из одной точки, они расходились лучами к противоположному берегу.

Самая протоптанная, широкая дорожка вела напрямиком к костелу. Голенастая как цапля, тощая колокольня белела на круче, втыкая стальную иглу в ночное небо. За неимением в округе православного Христа жены летчиков ставили свечки католическому спасителю — чего уж там, на безрыбье-то? — Иисус он и в Африке Иисус.

Свечки ставили перед боевыми учениями, перед испытанием новых машин и компонентов, перед ночными полетами. Приходили тайком, надвинув платки на глаза, подняв воротники до носа. Ставили свечки за своих безбожников-атеистов, красных соколов, а после на коленях в темном углу бормотали: да будет воля твоя, Господь, мой Бог, направь шаги наши и обереги от напасти, пошли благословение и милосердие ныне и присно и во веки веков — аминь!

Вторая тропа вела к ликеро-водочной лавке. Винный отдел имелся и у нас, в военторге. Но всем было известно, что сведения о приобретении алкогольных напитков крепостью выше тридцати градусов педантично фиксируются завмагом Риммой Павловной, рыжей кубышкой с конопатой грудью необъятных размеров в глубоком декольте белого халата, и передается напрямиком Женечкиному папаше, начальнику особого отдела майору Воронцову. Явно цитируя отца, Женечка весомо отпускал: «Полезной информации много не бывает».

Куда вела третья тропа, я не знал. Куда-то на латышскую сторону, на самую окраину города.

Хмель от шампанского выветрился, оставив во рту леденцовый привкус и необъяснимую грусть где-то под горлом. Удивительно, но я с точностью мог определить местонахождение этого странного чувства.

Некоторое время я стоял на взгорье, разглядывая странный радужный круг, что сиял ореолом вокруг луны. Протер кулаками глаза, пытаюсь понять — мерещится мне это сияние или я действительно стал свидетелем какого-то космического явления. Зажмурился, потом открыл глаза. Радуга не исчезла.

Спуск к реке был раскаты санями и подошвами до стального блеска. Загадав, что если мне удастся скатиться на ногах и не упасть, то все будет хорошо — что именно, уточнять не стал даже мысленно, я разбежался и, раскинув руки как крылья, понесся вниз. Спуск с горы целиком зависит от уверенности в себе. Падение — результат твоего страха. Почти всегда. Почти: лед на излете горы был протерт до песка, и я на всей скорости, влетев на плешь, чуть не грохнулся. В последний момент грациозное скольжение сменилось неуклюжим бегом. Но главное — я остался а ногах. Значит, все будет хорошо.

Третья тропа вела на самую окраину, там начинались заброшенные сады. Дальше, за Змеиным ручьем, где сгоревшая мельница, лежало клеверное поле. Поле упиралось в сосновый бор. Через поле, через бор мы летом добирались до озера Лаури — большого лесного озера с белым песком и ледяными ключами. Вода в нем прозрачна, как стекло. В конце войны туда упал сбитый мессершмит, в солнечный день силуэт самолета и сегодня можно разглядеть на дне. Мы мерили — глубина там тридцать метров. Так что без акваланга не донырнуть. На берегу озера стоит хутор, где живет старик Эдвард с двумя злющими волкодавами. У старика все лицо в шрамах — говорят, от пыток. То ли это немцы его так, то ли наши. А может, лесные братья — те вообще зверьем были, знали, что всем им крышка, вот и лютовали под конец. К слову, последнюю банду в нашей округе ликвидировали как раз в год моего рождения. Шестнадцать лет назад.

Я выбрал третью тропу. Даже не выбрал — просто пошел. Моя смешная тень бодрим карликом шагала справа. Радужный нимб вокруг луны куда-то исчез, да и сама луна стала как-то меньше, будто сдулась. На той стороне я заметил человека, фигурка двигалась навстречу по моей тропе.

Мы встретились на середине реки. Узнал ее я издали, ту рыжую лисью шапку, что видел на горе. Странно, но я даже не очень удивился. Похоже, она тоже. Прежде чем мне пришло в голову, что сказать, она подняла руку в толстой варежке. И махнула — привет. Это были белые варежки грубой деревенской вязки.

— Привет! — ответил я, отступая в снег.

Не сбавляя ходу, она прошла мимо. Мельком взглянув на меня, зашагала дальше к нашему берегу. Я догнал ее.

— Погоди, — поймал ее за рукав.

Она повернулась, оглянулась без удивления или испуга. Как тогда летом, на острове. Те же глаза — насмешливые ледышки.

— Погоди... — повторил я.

На этом мои слова кончились. Зря, эх зря я вспомнил про лето! Я стоял с раскрытым ртом, чувствуя как разгорается мое лицо — все румяные изгибы ее тела, невинный загар бесстыжих ляжек, даже тот тайный знак — изумрудный зигзаг на ноге — все отпечаталось в моей памяти с подробностями профессиональной фотографии. Даже та зеленая молния...

Она усмехнулась — она наверняка тоже вспомнила остров. Я смутился еще сильнее. Нужно немедленно что-то сказать, иначе она снова уйдет. Но что? Что?

— Как тебя зовут? — спросил я.

Она варежкой поправила шапку, разлапистая ушанка была ей явно велика. Такими торговали латыши-браконьеры, называя их на финский манер «турмалайками». Потом, нагнувшись, рукой написала на снегу четыре буквы. Четыре заглавных буквы латинского алфавита.

— Ин-га... — прочитал я.

Она кивнула.

— Ты что — немая? — смешок вырвался у меня раньше, чем жуткая догадка дошла до мозга. Господи, она ж немая!

Инга кивнула — она не смутилась, а с вызовом посмотрела мне в глаза — мол, ну и что теперь ты будешь делать?

Страна чудес, тот уютный мирок, что я навывдумывал себе с того летнего дня на острове — отчасти романтический, отчасти эротический — эклектически составленный из невнятного опыта, смелых фантазий и стыдных сновидений, из мелких букв Мопассана, схематических картинок из медицинской энциклопедии, из киношных страстей в основном франко-итальянского происхождения, где с треском рвались брюссельские кружева и сталью звенели шпоры, а усатые красавицы бросались на сомлевших женщин, не успев отстегнуть даже шпагу, — этот мир начал стремительно рассыпаться. В моих фантазиях моя латышка, может, и не имела имени, но у нее был голос. В том, моем, мире, где все было дозволено, она говорила. Может, и с акцентом, но слова! Страстный шепот в самое ухо, ласковые просьбы и непристойные требования, жаркие вскрики, зыбкие стоны... А тут, господи, — немая!

Она махнула vareжкой — ну, мол, пока — и зашагала к нашему берегу в сторону гарнизона. Я стоял ошарашенный, потом бросился за ней. Догнав, схватил за локоть.

— Можно с тобой?

Она пожала плечом. Даже не кивнула — просто безразлично пожала плечом.

Идти рядом по узкой тропе было сложно, я семенял сзади, а то, оступаясь, проваливался в глубокий снег обочины. А она не сбавляла шаг. Изредка поворачивалась. Еще реже улыбалась. Да что там — один раз усмехнулась, и все.

Я же говорил без конца. Болтал без остановки. Отчего-то казалось, что так проще — должно быть, я пытался заполнить пустоту за нас обоих. Пустоты было хоть отбавляй — бесконечная гладь ледяной реки, чернота бездонного неба, фиолетовая дыра в моей душе размером со вселенную.

Одновременно пытался вспомнить, что мне известно про немоту. Что? — да почти ничего. Бывает врожденная, бывает следствием травмы или болезни. А вдруг у нее языка нет? Отрезал какой-нибудь маньяк. Нет — это уже дичь полная. Или сама случайно откусила? Тоже бред. Я попытался припомнить, видел ли я язык во рту. При этом без передышки тараторил что-то про школу, что собираюсь после экзаменов сразу в Ригу, что буду поступать в текстильный на художественно-декоративное отделение. Наверняка провалюсь, но в армию меня не заберут по возрасту, а уж на следующий год...

Она снова обернулась и кивнула. По крайней мере, не глухая — уже плюс.

Вдруг на том берегу полыхнуло. Над черной копной парка вспыхнул фейерверк — и тут же до нас долетел грохот пушечного выстрела. Огни — красные, синие, несколько изумрудных шаров — плююся искрами, раскрылись в небе. Пламенные цветы расцвели и, достигнув апогея, зависли. Трещали они так, будто кто-то ломал сухой хворост. Снежное поле перед нами окрасилось радугой. Оно ожило: красный перетекал в синий, становясь сиреневым, к нему добавлялся малиновый, пурпурный, темно-фиолетовый.

Мы стояли, замерев, смотрели на цветное чудо. Грохнул еще залп и еще один. До меня дошло — это ж новый год пришел. Инга смотрела не отрываясь, точно пытаюсь запомнить все мелочи. По ее лицу бродили цветные тени, а там, за парком, откуда стреляли, показался дым. Он вылез мохнатой головой из-за деревьев, поднялся над замком, словно разбуженный Зевс. После расправил плечи и, загородив часть Млечного пути, торжественно двинулся на север.

Бухнул последний залп. Эхо откликнулось и гулко покатило вдале по льду реки в сторону Крустпилса. Рыжие искры погасли, не коснувшись макушек деревьев. От канонады в ушах чуть звенело. А может, это звенело в голове, не знаю, только я,

осмелев, придвинулся к Инге и, проговорив скороговоркой «С Новым годом!», быстро поцеловал ее в щеку. Поцелуй? Куда там — примерно так куры клюют зерно.

От ее взгляда мне стало нехорошо. Ледяные стекляшки с черными дробинами зрачков. Думал — сейчас влепит пощечину, именно так на подобные выходы реагировали нервные маркизы во франко-итальянском кино. Уверен — такой вариант тоже промелькнул в ее голове. Обеими руками она ухватила меня за воротник — резко, по-мужски — так обычно начинается хорошая драка, сразу за этим следует зубодробительный прямой в челюсть. Однако Инга поступила иначе. Она поцеловала меня.

Поцеловала? Все мои сведения на тему поцелуев — практические, теоретические и мечтательно-фантазийные — оказались не то что бледными или неполными, они оказались не про то... В них отсутствовала квинтэссенция поцелуя. Его главная суть. Как черно-белая фотография витражной розы в соборе не имеет цвета, как описание персика в учебнике ботаники не в силах передать аромат и сочность плода, как пересказ словами маленькой ночной серенады Моцарта глух и нем, как...

Да, и к слову — язык у Инги точно был на месте.

5

Мы начали встречаться — таким, кажется, глаголом обозначают мучительный процесс восхитительного познания друг друга. Теперь мое существо — душа, тело, внутренности, включая сердце и нервную систему, — металось между беспросветным отчаянием и сумасшедшим восторгом. Путь из рая в ад и обратно оказался короче одного взгляда. Улыбка или вскинутая бровь — в один миг мускулистые амурсы безжалостно швыряли меня в бездну, кишащую бесами. Обратный взлет из геенны к облакам был столь же стремителен. Да — поцелуй, невинный чмок в щеку, — безотказно открывал сияющие врата. За день такое путешествие совершалось не один раз.

Страшны были и пустые лиловые ночи — с какой легкостью моя фантазия могла выворачивать наизнанку целую вселенную! Ничуть не хуже прожженного иллюзиониста-гастролера, который звонким щелчком пальцев превращает белоснежный цилиндр в черный, стальной меч в змею, а колоду карт в стаю голубей. Чудесное превращалось в чудовищное в моем ночном мире элементарно и порой даже, как мне казалось, без моего участия. Я просто дрейфовал, уходя все дальше в этот странный, страшный, безумный мир.

Плюс (скорее, минус) — встречались мы тайком. Об Инге не знал никто из моих приятелей. Разумеется, ни отец, ни мать. Валет был последним человеком, которому бы я рассказал о ней. Мы встречались в странных местах — на кладбище, в костеле, на автобусной станции, на вокзале. Мы избегали людей или пытались смешаться с толпой. Брели меж заснеженных надгробий, толстых, как вдовьи перины, или мерзли на продутом насквозь перроне под надрывный вой уходящих поездов.

А то забирались вглубь мертвого парка и там целовались до одури. Наивная неумелость моя компенсировалась прытью. Я впивался в ее жаркую шею, словно пытался высосать яд из змеиного укуса. Потный лисий мех лез в рот, натертые щеки пылали, несмелая, но упрямая рука моя пробиралась под шубу, под свитер, под какие-то нежные тряпки и там, на самом подходе к пульсирующей цели, непременно натыкалась на ее руку. Холодные и цепкие пальцы ловили мое запястье. Что, если честно, даже успокаивало — не останови меня Инга, я бы просто не знал, что там делать. Над головой в голых ветвях галдели вороны, еще выше синело ледяное небо. Домой я возвращался тихий и шальной, с обкусанными в кровь губами и горящим лицом.

Немота Инги меня не тяготила. Наоборот, немота делала мою латышку особенной, а отношения наши еще таинственней и романтичней. Язык ее жестов, ее взглядов оказался вполне понятным, я же мог говорить не переставая. Еще мне льстило — в чем

не признался бы даже себе — ощущение собственного благородства, я ощущал себя почти герцогом, который планирует обвенчаться с сироткой.

Через недели три Инга знала обо мне все. В подробностях и деталях — я не скрывал ничего. Даже глупые мелочи, вроде соловьиного скрипа протеза моего давно покойного деда-генерала. Или волшебного запаха бабкиных фирменных рогаляков из песочного теста с ореховой начинкой.

Каюсь, я не очень был справедлив к брату, наша вражда в моей интерпретации приобретала мощь и размах эпической саги. Сам Валет представлял если не мрачным злодеем, то уж по крайней мере хладнокровным негодяем, лишенным целого ряда человеческих качеств. Отцу тоже досталось — его жизнелюбие, слегка мной приукрашенное, сделало его похожим на развеселого гусара, страдающего от инфантильного нарциссизма. Бильярды-карамболи, сигаретки с золотым ободком из Москвы, пьянки с дружками-пилотами, зеркальные сапоги, мотоцикл, привезенный из Германии... Каюсь, каюсь.

Единственный человек, о ком я говорил мало, была моя мать. Я действительно ощущал вину перед ней. Даже не вину — боль пополам с жалостью. Горечь, вроде неистребимого привкуса во рту. И не из-за обвинений Валета, не из-за хмурых отцовских глаз, даже не из-за ее, моей матери, тягостного немногословия, нет, та боль сидела занозой где-то глубоко, та жалость стала частью моего естества. Наверное, с этой отравой внутри я появился на свет — если такое возможно.

Лопуховое поле лежало на отшибе, между замком и бетонкой к аэродрому. Вдоль бетонки тянулись заброшенные огороды. Летом там попадалась морковь и можно было накопать картошки для костра, а зимой огороды и поле превращались в скучную снежную пустошь, в центре которой торчала заколоченная часовня.

Пацаны, игравшие неподалеку, заметили сбитый замок на дверях и забрались внутрь. Часовня считалась самой древней постройкой в Кройпбурге. Ее заложил Рижский архиепископ, над дверью можно разглядеть мраморный герб со скрещенными мечами и рогатым шлемом, как у псов-рыцарей из фильма «Александр Невский». Под гербом готическими цифрами выбит год — 1347.

По слухам — так, кажется, пишут в провинциальных путеводителях, — по слухам, часовня соединяется с замком подземным ходом. Расстояние тут приличное, к тому же пришлось бы копать под замковым прудом. Не то чтобы пруд был глубок, метра три, думаю, три с половиной. Летом мы с лодки ловили там карасей. Караси шли на хлеб, а если накопать червей, то запросто можно было взять и приличного линя.

Пару лет назад наша компания пыталась исследовать подземный ход: вооружившись фонарями, лопатами, шустрый Женечка Воронцов раздобыл даже где-то ржавую кирку, мы сорвали замок и пробрались внутрь. Больше всего нас интересовала замурованная баронесса. По преданию — выражение из того же путеводителя — лет двести тому назад тогдашний хозяин замка, барон с немецкой фамилией — то ли фон Виттеншлоссер, то ли фон Виттенглоссер, приказал замуровать в одной из келий подземелья свою неверную жену. Ее любовника барон якобы заколол прямо на обесчещенном брачном ложе, а развратнику, снабдив едой и питьем, отвел в подземелье и там приказал каменщикам замуровать дверь. Блудница, согласно легенде, оказалась на редкость живучей. Вой и плач доносился из-под земли несколько лет. Говорят, она и сейчас бродит по подземелью, иногда появляясь на поверхности в виде костлявой старухи в ночной рубашке с венком из репейника на голове. Сам я, разумеется, не очень верил в эту дичь, но Арахис клялся, что как-то ночью видел мерцающий женский силуэт, бредущий по пруду от часовни в сторону замка.

В углу часовни действительно были люк и винтовая лестница. Оттуда несло, как из погреба, — тухлятиной и сыростью. Мы спустились в подвал, из подвала строго на север уходил черный коридор. Свет фонарика освещал лишь первые метров десять подземелья, дальше ступался непроницаемый мрак. Мы замешкались. Низкий и узкий коридор, выложенный скользким булыжником, шел под уклон. Пологие ступени были грубо вырублены в сером известняке. Пока мы спорили, кто будет главным и кто за

кем должен идти, нагрянул гарнизонный патруль. Нас накрыли и доставили к командиру части полковнику Полуэктову. В штаб везли в крытом грузовике с двумя автоматчиками. Выдал нас сосед Мишка Куцый, которого мы не взяли с собой по причине малолетства.

Историю эту я рассказывал Инге, пока мы пробирались по заснеженному полю к часовне. Девственный снег был легок и сыпуч, местами доходил нам до колен. С реки дул ветер, волнами гнал поземку по снежному насту. На крыше часовни пыльным пирогом сидела белая шапка, у стен за зиму выросли сугробы метровой глубины.

— Мы забирались на крышу и прыгали в снег. В детстве, — я похлопал перчаткой по грубой каменной кладке стены. — Вот тут камни выступают, видишь? Ногу сюда — после цепляешься за решетку, подтягиваешься. Снизу кажется просто, а когда на крыше стоишь...

Действительно, прыгать было страшновато. Вроде ерунда — не выше второго этажа, но то ли белый цвет дистанцию как-то увеличивал, то ли пустота зимнего поля пугала — не знаю.

Инга взглянула вверх, подошла. Ухватилась за выступающий камень, легко подтянулась.

— Ты серьезно?

Она оглянулась и кивнула. Дотянулась до кованой решетки стрельчатого окна, бойко, по-матросски, вскарабкалась. Уцепилась за край крыши, повисла.

— Осторожней там! — я встал под ней, страхуя, подставил руки.

Инга без особого усилия подтянулась, закинула ногу. Коленкой спшибла снежную шапку с края крыши. Белая коврига сорвалась и с тихим «ох» рухнула в сугроб. Снежная пыль засыпала мне глаза. Я вытер мокрое лицо перчаткой.

Инга уже стояла на крыше, оперев кулаки в бедра, она оглядывала округу и улыбалась. Улыбка предназначалась не мне — увы-увы, но любуясь ею, я тоже невольно улыбнулся. Она сняла шапку, точно было жарко, только сейчас я обратил внимание, как отросли ее волосы с того летнего дня на острове. Господи, как это все устроено? Комок подступил к горлу — ведь я мог запросто никогда не встретить ее! Замысловатое переплетение случайностей, зло, рождающее вот такую радость: ведь не будь Валета в тот день на понтоне, я бы не уплыл на остров. Нет, я продолжал бы нырять, стараясь крутануть полное сальто.

— Прыгай! — я махнул рукой и отошел к сугробу. — Сюда!

Она прыгнула. Оттолкнувшись от края крыши и раскинув руки — в правой ушанка, точно рыжий факел. Приземлилась точно в сугроб. Я подбежал, рухнул, хохоча, рядом в снег. Обхватил ее, повалил, пытаясь найти губы. Она застонала. Я все еще смеялся по инерции. Инга согнулась, поджав ногу, она обхватила руками лодыжку.

— Что? Что? — я тормозил ее. — Что там?

Она подняла лицо, белое, с серой полоской губ.

— Нога... — отчетливо произнесла она. — Кажется... я сломала...

Я отпрянул, опалело уставился на нее.

— Ты ж немая! — чуть ли не возмущенно крикнул я.

— Нет. Я нет.

Она говорила с прибалтийским акцентом, обычным для латышей. Но что-то еще в речи Инги показалось мне странным — какая-то усердность что ли. Она выговаривала каждое слово, отчетливо произнося каждую букву. Словно только что научилась говорить.

— Может, вывих? — растерянно спросил я. — Надо сапог снять.

Барахтаясь, мы выползли из сугроба. Я попытался поднять ее, но не удержался, и мы снова рухнули в снег. Ветер крепчал, колючая крупа летела в лицо. Поземка неслась волнами, закручивалась в спирали. Словно миниатюрные смерчи торнадо, они, кривляясь, лениво гуляли по полю. Небо стало молочно-серым, белесая муть

накрыла всю округу. Башни замка и парк за ними проступали неясным силуэтом, расплывчато, точно картина сквозь папиросную бумагу. Начиналась метель.

Со второй попытки мне удалось поднять Ингу. Она больше не говорила, тихо прижавшись, обхватила меня за шею. Я выпрямился. Стараясь удержать равновесие, сделал шаг. Здорово мешал снег, он забивался в сапоги и там цинично таял. Носки промокли насквозь и стали ледяными. Я проваливался по колено, вытягивал ногу и делал шаг. И проваливался снова. Инга оказалась на редкость тяжелой девчонкой.

— Вывих... Надо сапог снять, — бормотал и тащил ее дальше. — Может, просто вывих.

До моего дома от часовни всего минут десять. Правда, летом и бегом. Или вприпрыжку — кто ж будет степенно прогуливаться через Лопуховое поле? Наша трехэтажка, дом летного состава, страшноватая, красного кирпича постройка под рыжей черепичной крышей — на вид нечто среднее между казарменным бараком и баварским коттеджем — маячила сквозь пургу на горе. Чуть дальше стоял дом-близнец, там жили технари. Командный состав обитал в финских домиках, те расположились по берегу пруда.

Я молил бога, чтобы Валета не было дома. Отец появится только к шести. А то и позже, если заедет в Дом офицеров — «погонять шары с ребятами». Дома должна быть только мать. Потому что она всегда дома.

Удивительно, но я не испытывал привычного чувства — невыносимой смеси боли и стыда. Чувства, неизменно возникавшего в присутствии моей матери и кого-нибудь из посторонних. Я неизменно краснел, как круто сваренный рак. Тут же начинал суетиться, много говорил, словно пытался отвлечь внимание на себя. Словно можно было отвлечь их внимание. В их глазах тут же появлялась жалость, потом брезгливость. Потом снова жалость. Брезгливость и жалость — вот что я видел в их глазах.

Тихо проникнуть в квартиру нам не удалось. Входная дверь грохнула, из угла с треском посыпались лыжи и палки.

— Валечка! — послышалось тут же из родительской спальни. — Это ты?

— Нет, мама! Я это.

На этой фразе мои силы иссякли. Потеряв равновесие, мы с Ингой упали. На лету я зацепился за вешалку, на нас рухнули шапки и пальто. Из коридора послышались шаркающие шаги, и на пороге прихожей возникла моя мать. Ветхий халат сиротской расцветки, страшные волосы, вскинутая бровь. Тюремные тапки. Желтоватые, парафиновые икры. Но мне было уже все равно.

— Это Инга, — устало представил я. — Она ногу сломала.

— Как?! — у матери полезла на лоб вторая бровь.

Нам удалось стянуть сапог. Инга, закусив нижнюю губу, морщилась, но не издала и писка. Сняли носок, лодыжка злоепо опухла и налилась малиновым.

— Лед, — проговорила мать, осторожными пальцами опупывая ногу. — Лед нужен. Тут больно?

— Нет, — Инга отрицательно помотала головой. — Не сильно.

— Лед принеси, Чиж! — мать потребовала, продолжая исследовать ногу. — А тут? Тут больно?

— Нет.

Я выскочил из подъезда, долбанул ногой по водосточной трубе. Оттуда с грохотом посыпался лед. Я собрал ледышки в охапку, вернулся, высыпал на пол перед матерью.

— Пакет полиэтиленовый! — приказала она.

— Где?

— На кухне!

Потом я бегал за полотенцем, за бинтами, которых не нашлось. Бинты заменили розовой марлей, которой давили клочку для морса. Мать приладила компресс, застегнула английской булавкой концы марли.

— Перелома нет, — сказала. — Потянула связки. Ничего страшного. Нужно было сразу лед, чтобы предотвратить опухоль.

— Мама медицинский кончала, — зачем-то встрял я.

— Когда это было... — взглянула на меня, потом на Ингу. — А ты вместе с моими учишься? В одном классе?

Инга снова отрицательно помотала головой.

— А-а-а, — протянула мать, точно поняв что-то.

Тут распахнулась входная дверь, и в прихожую, топя унтами и хлопая рукавицами, ввалился отец. Он был белым, точно его покрасили из распылителя с ног до головы. Целиком, включая лицо.

— Ну метет! Настоящий доннер веттер! Видимость — три нуля! — Он бодро снял мотоциклетные очки и стал похож на енота. — А что у нас тут случилось? Погром?

Мы втроем сидели на полу прихожей. Вокруг, в лужицах растаявшего льда, валялись обрывки полиэтиленовых пакетов, куски марли, ваты, лыжные палки, скомканные пальто, куртки и шапки.

— Серёжа, — мать укоризненно поджала губы. — В такую погоду? Ты же обещал...

— Маруся, — отец сбросил краги на пол, сложил ладошки молитвенно. — Клянусь! Димка хотел подбросить, а я — туда-сюда — сама понимаешь. Закрутился! А тут свистуны мряку с молоком кинули, кресты запалили — колеса в землю... Мишка Куцый блуданул, представляешь, на лампочках едва вытянул. Я пока своим ЦУ выдавал...

Он говорил своей обычной скороговоркой, посмеиваясь и шутливо шурясь.

— Ну и вот... — он запнулся, серьезным голосом добавил, — а дорога, Маруся, дорога вполне приличная, кстати. Почти не ведет. Только... только вот не видно ни хрена! Наощупь едешь!

Отец захохотал, вдруг осекся.

— А кто прелестная фройляйн? И что происходит с ее ногой? Это мой оболтус травмировал вас?

— Это Инга, папа.

— Да я вижу, что не Дуся, — он снова хохотнул довольно. — Вы с моими прохвостами учитесь?

— Серёжа!

— Прохвосты — пусть девушка знает! Лентя и обормоты! Особенно этот — художник...

— Пап...

Я почувствовал, как мое лицо начинает краснеть.

— Корнет Краевский, доложить обстановку! — гаркнул батя, он явно вошел в раж, и теперь его уже было не остановить. — Что и как? А главное — почему?

Только тут до меня дошло, что отец навеселе. Под шафэ — как он называл это состояние. Мать тоже заметила. Она устало поднялась и, шаркая тапками, направилась в спальню. Отец сник. Погас, будто выключили ток. Проводил ее взглядом, повернулся к Инге и спросил:

— Ты где живешь? На той стороне?

Она кивнула.

— На мотоцикле не боишься?

— Нет.

— Чиж, помоги барышне встать.

6

В то утро даже снег скрипел по-особенному. Инга шагала рядом, тесно прижавшись. Она все еще прихрамывала и держалась за мой локоть. Никогда не думал, что ощущение чьих-то пальцев на предплечье может привести меня в состояние такого умильного экстаза. Наверное, я даже улыбался.

Школу отменили — мороз под утро опустился ниже тридцати. Пустое небо холодно синело кобальтом. Голые липы блестели хрупкими ветками, точно деревья

были выкованы из сияющей стали. За липами пряталось низкое солнце, снайперски пуля в нас острыми лучами. Было очень тихо. Шарф Инги от ее дыхания оброс мохнатым инеем. На ресницах тоже белел иней.

— Такая кличка. Обидно... — с каждой фразой сквозь ее шарф вырывалось белое облако, похожее на папиросный дым. — Вот я перестала совсем. Не говорила. Стыдно... как это, когда стыдно?

— Стеснялась? — подсказал я.

— Стеснялась. Меня оставили на второй год.

— А из-за чего? — спросил я. — Когда это началось?

Инга пожала плечом. Лисья шапка, надвинутая до самых бровей, поседела от инея.

— Маленькая совсем была... — она замолчала, потом продолжила. — Испугалась. Испуг сильный. От такого произошло. Дедушка отвез в Даугавпилс, там больница такая. Они лечат.

— Как лечат? Чем? Уколы? Таблетки?

— Нет. Упражнения разные. Музыка громко заводят, заставляют говорить еще громче. Стихи тоже. Трудно очень.

Снег сверкал, будто был посыпан дробленным стеклом. Наши тощие длинные тени, смешно передразнивая, плелись сбоку. Они были ярко-сиреневого цвета.

— А чего ты испугалась? Ну, тогда...

Инга не ответила, ее крепкие пальцы сжали мой локоть. Мы шли молча, потом она сказала:

— Мама добрая твоя. И красивая тоже. Спасибо говори ей, ладно?

Я удивился, но кивнул.

— Ладно. А папаша как тебе?

Она кивнула. Все было очень хорошо. Мимо изредка проплывали хрупкие на вид и седые от инея автомобили. Шоферы не гнали, похоже, они сами не верили, что в такой мороз можно ездить. А может, никаких шоферов в кабинах и не было. Все окна были выбелены инеем. Урча, прополз автобус — слепой корабль-призрак, плывущий из ниоткуда в никуда. Из выхлопной трубы валил густой белый дым. Он тяжело лип к сизому асфальту, как утренний туман.

Нас обгоняли редкие прохожие. Энергично скрипя подошвами, с паровозной прытью пешеходы выпускали клубы пара, который тянулся за ними белыми шлейфами. Все было очень хорошо. Все было просто прекрасно — мы не таясь шли по главной улице Кройцбурга. Инга прижималась ко мне, она крепко держала меня за руку. Мы больше не прятались.

— А тебя почему так зовут? — спросила Инга. — Такая птица?

— Птичка, скорей. Пташка. Знаешь песенку: Чижик-пыжик, где ты был?

Я пропел до конца. Инга засмеялась:

— А почему он водку выпил? Из фонтана?

— Фонтанка! Речка такая, — я тоже засмеялся.

Поразительно, как у нас любая мелочь — глупость и ерунда даже, вроде этого стишка, — превращались таинственным, каким-то почти алхимическим манером в радость самой звонкой пробы. В счастье почти.

— А мне нравится, — Инга перестала смеяться. — Чиж...

Она словно пробовала слово на вкус. Потом, приблизив лицо к моему, тихо сказала:

— Чиж... Знаешь, Чиж, я бы никогда не поверила, что буду с русским. Вот как мы с тобой. Тем более, оттуда...

Она кивнула головой в сторону замка и военного городка. Я не совсем понял, что она хотела сказать, — русский, из военной семьи? Мне лично было совершенно наплевать на ее национальность, социальный статус, религиозную принадлежность, группу крови и прочую ахинею.

Я протиснулся к ее губам, мокрым и горячим. Колючий шарф мешал и лез в рот,

от него пахло сырой собачьей шерстью. Инга рывком сдернула шарф. Она сжала ладонками мое лицо. Приоткрыла рот, точно сильно хотела пить. Ее ушанка медленно сползла назад и упала в снег. Мимо скрипели чьи-то шаги, шуршали шины автомобилей. Кто-то, проходя мимо, игриво присвистнул — мол, во дают, да еще в такой мороз.

7

Дежурный, строгий молодой солдатик с огромными розовыми ушами, сверился с какой-то бумагой на столе и направил меня на второй этаж. Лестницу только помыли, мокрые ступеньки блестели и воняли тухлой тряпкой. Коридор заканчивался окном, там, на красной тумбе, белел бюст Ленина. Крулый череп блестел и напоминал каменный шар. Я шел мимо закрытых дверей с таинственными табличками «Заместитель по ИАС», «ТЭЧ», «Инженер по АО». Нужная дверь оказалась последней. Я взглянул в гипсовые глаза вождя и постучал.

Майор Воронцов, стройный, с нежным румянцем на щеках, напоминал переодетую женщину. Указав мне на колченогий стул в центре кабинета, сам присел на край письменного стола. Тронул пальцами тугой зачес, ловко закинул ногу на ногу. Сапоги его сияли, как лакированные. С минуту он молча разглядывал меня, то ли улыбаясь, то ли усмехаясь. За окном висели мощные сосульки. С них капало. Одна, кособокая, напоминала крыло ангела. Майор щелчком сбил что-то с коленки.

— Краевский... — выдохнул он с каким-то плотоядным удовольствием. — Поговорим?

Он подмигнул. Я чуть было не подмигнул в ответ.

— Да, — ответил простодушно.

Я действительно понятия не имел, что ему от меня нужно. Пристроил ладони на коленях, покорно, точно иннок, и стал ждать. Майор дотянулся до портсигара — серебряная штукавина с каким-то рыцарским гербом лежала поверх стопки бумаг.

— Куда после школы? Поступать куда или в армию? — он щелкнул, портсигар открылся. Внутри он был позолочен.

— В текстильный. На художественно-промышленный.

— Вот как... — майор достал папиросу, дунул — словно в свисток — и, ловко сложив мундштук гармошкой, сунул в рот. — Это где?

— В Риге.

— Вот как...

Он чиркнул спичкой, пламя поднес к папиросе. Затянулся, горелую спичку сунул в коробок. Выпустил дым. Его движения — лаконичные и изящные — напоминали пантомиму. Ладный и ловкий, казалось, вот-вот он выдаст какое-нибудь па или бойко отобьет чечетку. Я отвел глаза, боясь рассмеяться — уж очень майор походил на Женечку, верней, конечно, это Женечка походил на майора. Сходство было комичным и слегка жутким, будто мне ни с того ни с сего вдруг показали моего приятеля состарившимся на тридцать лет.

Вся стена от пола до потолка была заставлена папками. Деревянные полки кто-то явно смастерил под их размер — папки идеально входили по глубине и по высоте, оставляя сверху лишь зазор для пальца. На корешках белели приклеенные бумажные бирки.

На противоположной стене висела большая карта Кройцбурга и окрестностей. Какие-то места были помечены красным карандашом. Жирный красный крест стоял у озера Лаури, в том самом месте, где мы обычно ловили раков.

Неожиданно что-то заскрежетало, сосульки всей обоемой рухнули вниз. Майор вздрогнул, резко повернулся к окну.

— Значит, текстильный... — он брезгливым пальцем стряхнул пепел в фарфоровую пепельницу в виде сердца, которое, словно тачку, толкал пузатый купидон. — Будешь, значит, горошек рисовать на трусах. Кружавчики примастыривать. Ясно... А брат?

- Он в Оренбургское летное поступает, на военно-морской.
- Ор-Бу — отлично! Авианосцы — будущее армии! У вас же и дед генерал?
- Был.

Майор соскочил со стола, пружинисто прошелся по кабинету. Остановившись у полки, вытянул одну папку. Развязал тесемки, раскрыл. Внимательно начал перебирать листы, иногда задерживаясь и вытягивая губы уточкой, словно собираясь кого-то поцеловать. За окном в жесть подоконника стучали капли с крыши. Снег таял. Небо, цвета солдатского сукна, казалось грязным и шершавым.

— Ага... — майор нашел нужную бумагу, начал читать. — В 1927 году была создана группа «Огненный крест», переименованная в 1933 году в Объединение латышского народа «Перконкруст» («Громовой крест»). К осени 1934 года она насчитывала в своих рядах около пяти тысяч человек. «Перконкруст» представлял собой радикальную националистическую организацию, выступавшую за концентрацию всей политической власти в руках латышей...

Держа папку в руках, он вернулся к столу. Затянулся, выпустил дым и с чувством придушил окурочек в фарфоровом сердце.

— Пятого июля 1941 года руководитель «Перконкруста» Гунар Цельминыш, уже получивший к тому времени звание зондерфюрера, призвал латышей вступить в добровольную «команду безопасности», которой руководил Карл Кронвальдс, бывший капрал латвийской армии, на момент формирования отряда возглавлявший всю полицию Латгальской области.

Майор не спеша читал вслух, он снова устроился на краю стола. Я подался вперед, пытаясь разобрать надпись на папке.

— Десятого февраля 1943 года Адольф Гитлер подписал приказ о создании добровольческого латышского легиона СС как единой боевой единицы. Вступавшие в легион лица приносили присягу лично Гитлеру.

Майор поднял на меня глаза. Вынул из папки другой документ.

— В марте 1943 года на основе Второй механизированной бригады СС была создана карательная дивизия «Латгалия», подчинявшаяся непосредственно Карлу Кронвальдсу...

Он отложил бумагу, достал другой листок. Фиолетовая печать проступала на обратной стороне.

— А вот приказ о присвоении Карлу Кронвальдсу звания штурмбанфюрера СС...

— Зачем вы мне...

— Погоди-погоди, Краевский. Все поймешь...

Я уже начал понимать. Пожал плечами, повернулся к окну. Грязное небо порвалось, и в прорехе мелькнула невероятная синь. Вспыхнула и погасла. Небо стало еще серее.

— Части и подразделения Латышского легиона СС не только участвовали в боях с Красной Армией, но и использовались командованием СС для проведения массовых расстрелов, осуществления карательных операций против партизан и мирного населения на территории Латвии.

Майор сделал паузу. Я продолжал смотреть в окно. Боковым зрением заметил, как он ухмыльнулся. Мои сцепленные замком пальцы затекли, я медленно разомкнул их, лениво сунул в карманы.

— В значительной степени именно из состава дивизии «Латгалия», — читал майор дальше, — формировались ударные группы для засылки в тыл Красной Армии с целью совершения диверсий. Впоследствии многие из этих лиц превратились в так называемых «лесных братьев», на счету которых свыше трех тысяч диверсионно-террористических актов, совершенных в период с 1944 по 1956 год на территории Прибалтики, унесших более...

— Да знаю я! Знаю! — крикнул я громче, чем хотел. — Знаю...

Глупость ситуации заключалась еще и в том, что называть майора «дядя Лёша», как я обычно обращался к отцу Женечки Воронцова, тут было явно неуместно. Обращение «товарищ майор» тоже не очень подходило.

— Знаешь? — он спрыгнул с края стола и по-кошачьи прошмыгнул ко мне. — Знаешь?

От неожиданности я отпрянул.

— Ни хера ты не знаешь! — майор зло зыркнул на меня, вернулся к столу. — Вот! Читай!

Он сунул мне в руку несколько листов, сколотых большой железной скрепкой. Бумага, дешевая и серая, напоминала оберточную, из военторга. Машинописный шрифт кое-где пробивал ее насквозь. Отдельные места были подчеркнуты синим карандашом. Сверху стоял чернильный штамп «секретно». Я начал читать.

Дело № 475/4, Приложение 7.

Дивизия СС «Латгалия»,

Даугавпилс, Резекне, Крустпилс, декабрь 1944 — март 1945.

Из протокола допроса свидетелей, 11 февраля 1945 года.

В ночь на 6 августа с.г. 65 Гвардейский стрелковый полк 22 Гвардейской стрелковой дивизии в районе деревни Рулани (Латвийская ССР) производил наступательную операцию. Немцы и латыши из дивизии СС «Латгалия» обошли боевые порядки гвардейцев, напали на них с тыла и отрезали небольшую группу советских солдат и офицеров от своих подразделений. При этом во время боя из группы было ранено 43 бойца и командира, которые, ввиду создавшейся тяжелой обстановки, не могли быть эвакуированы и были захвачены противником.

Захватив пленных, фашисты устроили над ними кровавую расправу.

Рядовому Караулову Н.К., младшему сержанту Корсакову Я.П. и гвардии лейтенанту Богданову Е.Р. немцы и предатели из латышских частей СС выкололи глаза и нанесли во многих местах ножевые ранения.

Гвардии лейтенантам Кагановичу и Космину они вырезали на лбу звезды, выкрутили ноги и выбили сапогами зубы.

Санинструктору Сухановой А.А. и другим трем санитаркам вырезали груди, выкрутили ноги, руки и нанесли множество ножевых ранений.

Зверски замучены рядовые Егоров Ф.Е., Сатыбатынов, Антоненко А.Н., Плотников П. и старшина Афанасьев.

Никто из раненых, захваченных фашистами, не избег пыток и мучительных издевательств.

По имеющимся данным, зверская расправа над ранеными советскими бойцами и офицерами была произведена солдатами и офицерами одного из батальонов 43 стрелкового полка 19 Латышской дивизии СС «Латгалия». Командовал операцией штурмбанфюрер Карл Кронвальдс.

Я кончил читать, но глаз не поднимал. У меня появилась уверенность, что с абсолютной точностью смогу угадать следующую фразу майора. И он действительно произнес ее.

— Инга Кронвальдс. Тебе знакомо это имя?

8

Домой я пошел дальней дорогой — мимо замка, через парк, по берегу пруда. Снег, тяжелый и серый, был похож на дешевую соль, ту, что по семь копеек за кирпич в обертке. Сырой снег крошился, чавкал и лез в голенища. Сапоги давно промокли.

В голове крутилась последняя фраза майора — тебе, Краевский, русских девок не хватает, что ли? Самому-то не противно? Ты б еще племянницу Гимmlера закадрил!

Я не нашелся, что сказать, стоял в дверях, как дурак. Сейчас на ум приходили хлесткие ответы, я бормотал их вполголоса. Такие остроумные, такие язвительные.

А до этого майор сказал: «Из-за тебя, дурака, отца не только из авиации, из армии попрут — ты это хоть понимаешь? С волчьим билетом!»

Из грязных сугробов торчали мертвые кусты и мелкий мусор — бутылки, обертки, комки сырых газет. Лед на пруду потемнел и местами подтаял. В бездонно черных полыньях скользили унылые утки. Вода казалась тягучей и напоминала деготь.

Подходя к дому, я увидел, что дверь в гараж была распахнута настежь. По обеим сторонам высились снежные горы. Из одной торчал рыжий черенок лопаты. На выскобленной до желтых досок площадке стоял отцовский мотоцикл. Вокруг толпились алюминиевые канистры, банки и масленки, все больше выкрашенные защитной краской. На некоторых по трафарету были набиты надписи «Огнеопасно!» и «Не курить!»

Сам отец, в темно-синем комбинезоне, в таких работают авиамеханики на аэродроме, возился с передним колесом мотоцикла. Стальной обод сиял, блестели стальные спицы, отец надраивал хромированную рессорную вилку, изредка макая тряпку в банку с какой-то белой гадостью, похожей на топленый жир. Изредка он поднимал красное лицо и что-то говорил Шурочке Рудневой. Она стояла тут же. Внимательно слушала, почтительно наклонившись и засунув руки в карманы белой кроличьей шубы.

Мне почти удалось прощмыгнуть незамеченным.

— Чиж! — раздалось в спину.

Я вздохнул, развернулся и пошел к гаражу.

— Ты что ж, идешь себе, даже не поздороваешься? — Шурочка капризно сложила губы.

— Привет, — буркнул я.

— Здравствуй, — она кокетливо повела глазами. Точь-в-точь как ее дура-мамаша, Римма Павловна из военторга. Обе были рыжеватой масти, небольшого формата, про таких говорят — до старости щенки. Маленькие собачки.

— Идет, понимаешь, не замечает...

Ее белая шуба, отвратительно белая, напоминала комки ваты. Я плотоядно покосился на чумазы банки, наполненные жирным и липким, чем-то упоительно грязным, что так восхитительно могло бы выглядеть на белом. Горюче-смазочные материалы — так это называлось на армейском языке. От греха я убрал руки за спину и крепко сцепил пальцы.

— А мне дядя Сережа про мотоциклы рассказывал...

Отец поднял голову и ни с того ни с сего подмигнул мне. Должно быть, у меня появилось дурацкое выражение на лице. Я не припомню, чтобы он мне подмигивал когда-нибудь раньше.

— А что ты не спишь? — спросил я первое, что пришло на ум.

Отец вернулся только под утро, после ночных полетов летчикам полагался день отдыха.

— Какой сон? — отец тыльной стороной руки убрал волосы со лба. — Весна грядет! Пора чертяку взнуздывать!

Он погладил хромированный бензобак мотоцикла.

Отец привез мотоцикл из Германии, он уверял, что таких после войны осталось не больше дюжины. Именно на таком в тридцать седьмом году Эрнст Хенне поставил мировой рекорд скорости — двести восемьдесят километров в час. Рекорд продержался почти пятнадцать лет. Модификация эта называлась «Мефисто». По словам отца, наши механики на аэродроме довели мотоцикл до предела технических возможностей — даже инженеры из Баварии позавидовали бы. Как-то на спор батя разогнал «Мефисто» до двухсот километров. Помимо выигрыша — ящика чешского пива — отец получил крутую взбучку от полковника Лихачева — его отстранили на неделю от полетов. Гонка происходила на взлетно-посадочной полосе аэродрома.

— Чиж, достань сигарету, — отец кивнул на летнюю кожанку, что висела на двери гаража. — Руки...

Он выставил грязную пятерню.

Я достал пачку. Выбил сигарету. Отец закурил золотой ободок фильтра, ожидая огня. Я поднес спичку.

— Как нога? — негромко спросил он, выпустив струю дыма из угла рта. — В порядке?

Огонь дополз до пальцев, я вырутался и выбросил спичку. Подул на руку.

— Чиж! — отец ткнул меня кулаком в плечо. — Гляди веселей! Нас ждут великие дела!

Спорить с ним я не стал. Шурочка догнала меня у подъезда.

— Эй! погоди!

Я повернулся. Она, неуклюже расставив руки, семенила по раскатанной до зеркального лоска дорожке.

— Ну?

Тут только я заметил, что у Рудневой были подведены глаза, а веки намазаны зеленым.

— Ты что — глаза накарсила?

— Нравится? — Шурочка снова скопировала мамашину ужимку.

— Пылаю аж. От страсти.

Меня подмывало наругать ей — и про глаза с дурацкими стрелками, и лягушачий окрас век, и что в своей шубе ей только на утреннике выступать в роли сугроба. Или овцы. И что мамаша ее — набитая дура, и у дочери есть все шансы стать ее точной копией.

— Да уж знаем-знаем про ваши страсти, — медово протянула Шурочка. — Латышские...

Она сняла варежку и своей птичьей лапкой взяла мою руку.

— Ну и как, — подавшись ко мне, тихо спросила. — Как они, эти латышки?

— Не твое дело!

— Нет! Давай уж сравним, — Шурочка приоткрыла рот и медленно стала приближаться к моим губам. — Чи-жик...

Год назад мы с Рудневой целовались. Зимой, после физкультуры. Я помог ей донести лыжи, по-соседски. Поднялся, зашел. Потом мы как-то очутились на диване. Сам не знаю, как все получилось. От нее воняло потом — девчоночьим, сладковатым, как прокисшая дыня. К тому же она обрызгалась какой-то удушливой цветочной парфюмерией, явно мамашинной. Утренний лотос, говорит, аромат эканский, скажи? Не что-нибудь — египетские духи.

Даже не подозревал, что египтяне окажутся такими мастерами в ароматно-парфюмерном деле.

Шурочка совала мне в рот язык и пускала слюни. Она стонала и охала, точно у нее болел живот. Я понятия не имел, в чем заключаются мои обязанности, я тискал ее бока через толстый свитер, подглядывая из-под прикрытых век. По неопытности меня угораздило поставить ей синяк на горле — засос, которым она на следующий день хвасталась подругам на перемене, оттягивая воротник белой водолазки.

Стыд, который мне почти удалось стереть из памяти, воскрес живее прежнего. Запах и вкус, даже звук, сплелись в удушливый клубок, поднялись откуда-то из желудка и застряли у меня в гортани.

— Руднева, кончай! — я отступил назад и поскользнулся.

Взмахнув руками и пытаясь сохранить равновесие, я инстинктивно ухватился за Шурочкино плечо. Она взвизгнула, и мы со всего маху вместе грохнулись в снежную жижу.

Пожалуй, ничего особо смешного тут не было. Пожалуй, мне не нужно было так хохотать. Особенно, когда Руднева поднялась и тут же поскользнулась снова. А после, стоя на карачках, орала на меня, выкрикивая сквозь слезы и сопли ругательства. Я хохотал, сидя в грязном снегу, хохотал задыхаясь, до горловых спазм. Наверное, это была истерика, потому что через какое-то время Шурочка перестала ругаться, она

стояла на четвереньках в луже, серая вода стекала с пубы — ни дать, ни взять заблудшая овца (именно такое потешное сравнение пришло мне в голову) — она стояла и молча смотрела на меня с испугом, нет, даже с ужасом. Смотрела так, будто я сошел с ума.

9

Чердак. Я очутился там почти моментально. Или так мне, по крайней мере, показалось: вот я сижу в луже талого снега — тире тут нужно бы заменить быстрой стрелой — вот я перед дверью на чердак.

Двери повезло — она оказалась незапертой.

Три этажа, шесть лестничных пролетов. Да, именно пролетов. Едва касался ступенек — летел. Перед своей квартирой я даже не остановился — мать, беззвучный укор вскинутой брови. Вечный упрек, неотвратимый, по бессмысленности своей похожий на первородный грех. К тому же дома мог быть и брат. Одна мысль о Валете взбесила меня. При условии, что я мог взбеситься еще больше.

Я вломился на чердак. Грохнул дверью, голуби спросонья заметались между балок, поднимаю пыль и мелкий мусор. Я замер, ожидая, пока птицы утомонятся, а глаза привыкнут к темноте. Воняло мышами и плесенью. Косые лучи острыми спицами пронизывали чердак, в них плясала серебристая пыль. Простая чердачная пыль, она искрилась волшебной и таинственно. Мое сердце колотилось где-то в гортани.

Паутина прилипла к лицу, я стер липкую гадость ладонью. Вытер руку о штанину. По дощатому настилу пробрался к чердачному окну. Нашел пшпигалет, дернул за раму. Свет ослепил. В лицо пахнуло холодным ветром, мокрым снегом. Сырая жесть крыши, с хлипкой ржавой оградой, покато обрывалась в метре от меня. Дальше распаивалась даль, черно-белая и мутная, как любительская фотография.

Я ступил на крышу. Держась за верх рамы, поставил вторую ногу на скользкую жесть. Железо прогнулось, громынуло дальним раскатом грома. Я дотянулся до загородки, осторожно выпрямился.

Ограда едва доходила до колен.

Внизу подо мной лежал двор, перечеркнутый пунктиром тропинок, дальше белело пустое поле с пучками черных кустов. За полем поднималась стена, из-за нее плоско, как в бедном театре, неубедительно торчали башни замка. За замком темнел парк. Парк заслонял горизонт, голые деревья расплывались в сизом небе мокрой акварелью. Над дымчатыми макушками высоченных лип кружили чернильные кресты грачей. Я снял шапку. Похоже, зима действительно подходила к концу.

Да, но и весна еще не настала.

Я ощущал вакуум межсезонья. Пустоту, в которую я угодил прямым из кабинета майора-особиста. Зазор между. Щель между платформой и поездом. Падение из рая в ад затормозилось в каком-то предбаннике, усталый ангел, что бережно нес меня, разжал свои пальцы — бес еще не успел вонзить когти.

Я стоял на краю крыши. С таким же успехом я мог стоять на краю света — мое одиночество было абсолютным. Я потерял Ингу. С того летнего дня на острове прошло восемь месяцев — и вот я потерял ее. До встречи с ней я не подозревал о самом существовании ярких красок и волшебных звуков. Так живет крот — без малейшего понятия о блаженной гармонии радуги или беснующемся каннибализме кровавого заката. Моя душа, хромая и подслеповатая, брела по жизни, брела-ковляла без особой надежды на белоснежные крылья. В лучшем случае душа-калека могла подпрыгнуть, ей была неведома сама концепция полета.

Как-то отец взял нас с братом на аэродром. Был ноябрь, над летным полем висели тучи, похожие на тяжелый сырой дым. Казалось, во всем мире царит смертельная тоска. Свинцовый купол давил на взлетную полосу, на ангары и зачехленные защитным брезентом самолеты. Пригибал к земле дохлые осины, плющил бурый пустырь,

похожий на болото. Воздух можно было зажать в кулак и выдавить несколько мутных капель. Самолет оторвался от бетонки, круто пошел вверх. Стрелой пронзил хмарь. И уже через миг, через мгновение, вокруг были лишь синь и солнце. Безумная синь и сумасшедшее солнце. Даже тучи сверху выглядели не серой мразью, а восхитительно мохнатыми снежными горами — прекрасной белизны и невозможной мягкости.

Впрочем, Валет считает, что никакого полета не было. Что я все придумал. Иногда мне самому кажется, что так оно и есть. Но ведь от этого не становится бледнее синь и не тускнеет солнце — они ведь всегда там. Они там всегда. Даже в самый черный день они там — там, за тучами.

Сумрачные тени уже справляли панихиду. Глухие музыканты и безногие танцоры, нищие калеки на кулаках, рвань и падаль — как же им всем не терпелось спеть за упокой! Воткнуть и запалить грошовые свечки. Оплакать меня, облюновать соплями и слезами мою безнадежность. Мою безысходную покорность — овечью благодатную долю и кровавый топор мясника. Хруст сахарных костей и вопль красных кляк по белому кафелю.

Какая-то ленивая, но настойчивая сила подтолкнула меня к самому краю крыши. Без страха, почти безразлично, я заглянул вниз. Там никого не было. Должно быть, пройдет какое-то время, прежде чем меня кто-нибудь заметит. С вывернутой головой и сломанными в виде свастики конечностями. Немного бурой крови на снегу — так, для колорита.

И вот именно в этот момент, когда равнодушие почти оглушило мои мозг и душу, когда я уже почти что махнул на себя рукой, когда в формуле свободного падения тела после знака равенства встал выкрашенный серебрянкой крест на Ржаном кладбище, внезапный приступ злости (не злобы, а именно злости) отрезвил меня.

— А почему? — произнес я вслух и громко. — Какого черта?

Почему это я должен делать то, что хочется кому-то? Кому-то, а не мне? Да и что они мне сделают? Что они вообще могут мне сделать? Да, конечно, отец — им ничего не стоит угробить его карьеру. С таким грузом вины даже я, привыкший к этой ноше, далеко не уползу.

Ответ явился просто и убедительно — так встает солнце из-за кромки моря. Решение лежало на поверхности, скорее всего, именно поэтому я не видел его. Мы с Ингой должны уехать из Кройцбурга! И немедленно! Бежать-бежать-бежать — да! Бежать — и прямо сейчас!

Я оглядел унылую округу. Тяжкое небо, поле с часовней, полоска леса. Вся гамма серого — от нежного дымчато-грязного до кардинально темно-мышинного. Часы на башне вокзала показывали без пяти четыре. Шпиль с флюгером в виде всадника с копьём паропал подбрюшье туч. Господи, а ведь я мог запросто прожить всю жизнь, так и не узнав, что за хмарью есть синее небо.

10

Инга слушала не перебивая. Слушала молча. Даже когда, горячась и размахивая руками, я не мог найти верных слов. Междометия — тоже слова, тем более с парой восклицательных знаков на конце.

Мы встретились на той стороне Даугавы, на самой окраине. Город кончался тут невысокой каменной стеной. Она обрывалась, из штукатурки торчали красные кирпичи. Это напоминало рану. Дальше шли деревенские дома, окруженные аккуратными деревьями. Черные стволы кто-то старательно побелил ровно по пояс. Заборов не было. Сами дома, бедноватые, но по-немецки чинные, стояли в глубине. От улицы к ним вели мощные речным камнем тропинки. На телеграфном столбе висела железная табличка, улица по неясной причине называлась «Комсомольская».

— В Ригу? — переспросила Инга. — Почему именно в Ригу?

Из деревянной конуры с жестяной крышей вылез мохнатый пес, он проводил нас взглядом, зевнул с аппетитом и залез обратно. Снег почти сошел, лишь кое-где

прятались безнадежные островки. Действительно, почему именно в Ригу? Ведь если уж бежать, так на край света. Как минимум.

— Смотри! — Инга присела. — Крокус...

Из-под мертвой травы выглядывала ярко-желтая почка. Я тоже опустился на корточки.

— Ну давай на край света! — я взял ее ладони в свои. — Давай в Ташкент! В Саратов! В Магадан!

— В Магадан не надо, — она подняла серьезное лицо. — И почему мы должны куда-то уезжать? Почему?

Ее ладони были озябшие и хрупкие, как пара мелких птиц. Нагнувшись, я выдохнул в них, потом еще раз. Врун из меня никудышный, мне гораздо проще не сказать, чем выдумывать какую-то белиберду. Вот Валет — тот мастер, с ходу может такую историю выдать — просто Фенимор Купер.

Короче, Инга ничего не узнала ни про майора, ни про наш с ним разговор.

Мы дошли до последнего дома. Он стоял чуть особняком, будто отступив назад. Словно не желая быть частью Комсомольской улицы. И еще до того, как Инга сказала — я тут живу — я уже знал, что это ее дом. Под почерневшей черепичной крышей, двухэтажный и приземистый, он, точно присев, прятался за старыми яблонями, корявыми и рукастыми, как ведьмины клешни. Штукатурка на стенах потрескалась, а кое-где и отвалилась, обнажив каменную кладку. Из того же дикого камня была сложена ограда. На лобастых камнях пятнами рос мох. За оградой темнел амбар, тоже пятнистый и мокрый, с прогнутой, как коровья спина, крышей. Перед распахнутыми воротами стояла телега. Лошадь, мелкая и облезлая, словно побитая молью, печально смотрела под ноги, свесив седую челку.

Дверь в дом открылась, в проеме появился старик. Сутулый и худой, в долгом пальто вроде шинели, он был высок и почти доставал головой до притолоки. Черный стручок — первое, что пришло на ум. Инга сделала шаг вперед, точно пытаясь загородить меня. Но старик нас уже увидел. Он ничего не сказал, не махнул рукой, даже не кивнул. Он натянул кепку и направился к телеге. На нем были солдатские сапоги какого-то невероятного размера, похожие на свинцовые ботинки водолаза. Из голенища торчал кнут. Дед забрался на козлы, несильно хлестнул лошадь по серому крупу. Лошадь тронулась, тряся челкой, запахала к дороге.

— Ты молчи! — Инга ткнула меня локтем. — Совсем!

Я не видел ее лица, но заметил как она нервно сжимает и разжимает кулаки, точно у нее затекли пальцы. Повозка, грохоча по бульжникам, выкатила на асфальт. Старик на козлах был похож на птицу: носатый, кадыкастый, с седой головой, — он напоминал старого грифа. Зловещего стервятника, что караулит умирающего в пустыне путника. Впрочем, тут моя фантазия, скорее всего, излишне разыгралась.

— Лабден, вектес, — Инга произнесла каким-то высоким чужим голосом.

— Уз рездэшанос, — почти не взглянув, ответил старик.

Он стегнул лошадь и уставился вперед. По-латышски я не говорю, но знаю две дюжины слов.

— Дед твой? — шепотом спросил.

Она кивнула, провожая взглядом повозку.

— Суров...

Инга не ответила. Дверь снова открылась, на пороге появилась женщина. Не вышла, выглянула. Ее шея была обмотана длинным желтым шарфом, ярко-лимонным, как тот давешний бутон крокуса. Пронзительный цвет — как вскрик. Заметив нас, женщина помахала рукой и что-то крикнула по-латышски. И широко улыбнулась. Инга махнула в ответ, молча. Я сразу понял, что это мать. Дело не в похожести лица или фигуры, речь идет о каком-то более глубинном сходстве — с той же безошибочностью в Валете всегда угадывали сына своего отца. Я же в семье как подкидыш — на отца не похож вовсе, о моем сходстве с матерью говорят скорее из вежливости.

Мы подошли. Вот, значит, как ты, дорогая моя Инга, будешь выглядеть лет через

двадцать. Будто специально, чтобы окончательно убедить меня в этой догадке, мать повторила жест дочери — чуть склонив голову, заправила прядь за ухо. Инга тоже делала это мизинцем, плавное движение кисти, похожее на элемент индийского танца.

Я поздоровался, женщина тоже ответила по-латышски.

— Свейки-свейки, — на щеках матери от улыбки заиграли детские ямочки. А вот Инга никогда так простодушно и открыто не улыбалась.

Ее звали Марута. Почти так же как мою мать — совпадение это показалось мне чуть ли не знаком. Мы вошли в прихожую, темную и теплую. Боясь наследить, я стянул сапоги и задвинул их в угол. Никто не возражал, никто не предложил тапки.

После, спрятав ноги в штопанных шерстяных носках под стул, я сидел в гостиной. Марута улыбалась ямочками, Инга сидела, строго сложив ладони на коленях. На меня напал говорун: когда нервничаю, я начинаю без удержу болтать — шутить, рассказывать какие-то бесконечные истории, переходящие одна в другую без особой логической связи. Знаю, со стороны это выглядит нелепо, даже жалко — слышал и от Валета, и от отца. Но ничего с собой поделывать не могу. Не смог и сейчас.

Ее мать принесла чай и розетки с клубничным вареньем, принесла на подносе. У нас тоже был поднос, только не мельхиоровый, а жостовский, с мрачными цветами на траурном фоне. Какие-то хищные хризантемы что ли. Поднос стоял для красоты на пианино. На пианино, к слову, у нас тоже никто не играл. На верхней крышке, покрытой кружевной салфеткой, в строгом, почти армейском порядке расположились фарфоровые фигурки, привезенные из Германии, — трофейные пастушки и пастушки, окруженные улыбающимися овцами. Коллекцию дополняли веселые трубочисты в высоких цилиндрах, развратная торговка фруктами — круглая грудь была румяней яблок в фарфоровой корзинке, мальчик с терьером и маркиза, кормящая павлина. У всех наших знакомых, кто служил в Германии, были выводки таких же фарфоровых людишек.

Латышский дом удивил аскетизмом. Не бедностью, а какой-то, чуть ли не показной, простотой. У них даже не было люстры. На белом проводе болтался плафон молочного цвета, казенный, как в какой-нибудь больнице. Мебель — стол, стулья, буфет и шкаф напоминали монастырскую обстановку. Ни затейливой резьбы, никаких завитушек — простое дерево. Из таких же сосновых досок, светлых, некрашенных, был и пол. Перед входной дверью валялся деревенский половичок с простецким латышским узором. Пустые стены, без ковров и картин, казались голыми, как в тюрьме.

— Хлеб утренний, — Марута двинула ко мне плетеную корзинку с ржаным ломтями. — Там, это... как это?

Она что-то сказала Инге по-латышски.

— С тмином, — перевела та.

— Вкусно! — спешно отозвался я. — Очень вкусно!

Я не лукавил. Хлеб, еще теплый и пахучий, я намазывал маслом. Прежде чем откусить, вдыхал аромат поджаристой корки. Горькая корка хрустела, деревенское масло таяло. Их клубничное варенье можно было выставлять на ВДНХ — ягоды одна к одной, они светились изнутри, как рубиновые лампочки, — вкуснее варенья я в жизни не пробовал. Чай — впрочем, чай был обычным. Болтая, я опустил в чашку один за другим кусков пять сахара. Или шесть.

После в прихожей, в темноте, я натягивал сырые и тяжелые сапоги. Возился, придумывая, что сказать. Я должен что-то сказать, но что — правду? Мать ушла на кухню, зазвенела там тарелками, пустила воду. Инга стояла рядом, молчала.

— Нет, — сказала она вдруг.

— Что? — я выпрямился. — Что «нет»?

Прекрасно понимал о чем идет речь, просто оттягивал время.

— Что — нет? Почему? — я схватил Ингу за руки. — Почему?

— Не кричи.

— Я не кричу!

— Все. Иди.

— Да не кричу я! — заорал я. — Не кричу!! Не понимаю, как ты... Как ты? Вот так — да? Иди — да?! И все!

— Не кричи.

Она выпрямилась и стала строгой и совсем чужой. Я изо всех сил саданул сапогом в дверь. Дверь с треском распахнулась настежь. На улице уже сгущались лиловые сумерки.

— У меня никого нет! Кроме тебя...

Инга равнодушно разглядывала мое лицо.

— Никого! Кроме тебя, нет никого — ну как же ты не понимаешь этого, это так просто — никого на свете! А ты — иди! Куда иди? — к ним? К ним?!

Я в негодовании замотал головой.

— Они же не дадут, они будут препоны и рогатки! Палки в колеса! Бежать отсюда сломя голову, нестись отсюда — да-да, на край света, к черту на рога, на кулички, в Америку, на Аляску, на Северный полюс, на Землю Франца-Иосифа!

— Какого Иосифа? — она невозмутимо закрыла дверь.

— Да какая разница? Франца! Франца!! Майор этот проклятый, Женечкин папаша Воронцов, он же не даст, и мой отец, и Валет! Нам их не победить — орда, армада, македонская фаланга, их только обманом, хитростью, уловкой — как же ты... Неужто не понимаешь?! Кости, как сучья под каблуком, по костям, по костям — и дальше, дальше, не оглядываясь! По головам, по душам! Я с ними всю жизнь, знаю их, как не знать, они ведь всегда правы, а я всегда виноват — всегда! Всегда виноват!

Я запнулся и замолчал, в коридоре стояла ее мать. Инга отвернулась, она смотрела в сторону, в угол. Точно нас застучали за чем-то неприличным. Мое лицо горело, до меня дошло, что я плакал — слезы текли сами собой. Сорвав с крючка шапку, я снова пнул входную дверь.

Там уже вовсю синел вечер. Я быстро пошел, не оглядываясь, зло воткнув кулаки в карманы. Спина превратилась в огромное ухо — не уходи! подожди! — ну где же твой этот крик? Дверь громко хлопнула, я прибавил шаг, почти бегом выскочил на проклятую Комсомольскую улицу.

Все! Значит — все! Сырая латышская окраина, слепые фонари, слепые окна — проклятый Кройцбург! Проклятая Латгалия!

11

Я шел наобум — куда глаза глядят. Значит — все! На сапогах белели разводы засохшей соли — как плесень. Попадались вечерние прохожие, одна женщина опасно отшатнулась — оказывается, я продолжал вполголоса что-то бормотать. Ну и пошли вы все к черту! — крикнул я ей вдогонку.

Приморозило, на фиолетовом небе проклюнулись хилые звезды. Под фонарями мостовая блестела, как кованое железо. Я шагал по замерзшим лужам, со злорадством топал, хрустя нежным стеклянным ледком. Зажглись окна. Откуда-то потянуло подгоревшим луком. За занавесками горел оранжевый свет, где-то играло радио. Я поскользнулся и чуть не грохнулся. Удержал равновесие и пошел дальше. К черту, все к черту! Со своим луком, со своим Чайковским!

Меня вынесло к автобусной станции. Несколько человек с авоськами и сумками ждали под навесом. От лампы дневного света их лица были сизыми, как у мертвецов. Уехать к чертовой матери! Я подошел ближе, вытащил из карманов деньги, пересчитал — два рубля с копейками. На билет должно хватить.

— Куда автобус? — спросил я у тетки в очках.

— Даугавпилс. Семь сорок, — она поставила сумку, посмотрела на запястье. — Через двадцать минут.

На месте стоять я не мог. В зале ожидания, промозглом помещении с крашеными лавками, было пусто. Тут воняло селедкой, под лавками темнели лужи. Я забрел в буфет. За хлипкими столиками сидели мрачные мужики, по виду латыши. Пили пиво

из темно-янтарных бутылок. Над головами голубым туманом висел табачный дым. За пустым прилавком томилась рыжая буфетчица с капризным красным ртом. Ее волосы напоминали воронье гнездо — ну и чучело, подумал я, разглядывая полку с бутылками за ее спиной. Между глиняными сосудами «Рижского бальзама» блестели ядовито-зеленые поллитровки мятного ликера «Шартрез». Буфетчица облизнула губы, уставилась на меня подведенными синим глазами. Очень хотелось нахамить ей, но ничего в голову не приходило. Часы над дверью показывали семь двадцать три. Во взгляде буфетчицы появилась насмешка. Или мне так показалось, только просто вот так взять и уйти отсюда мне стало почему-то неловко.

— Пиво какое? — грубо спросил, подходя к прилавку.

— Ригас алус, — ответила рыжая и усмехнулась.

— А коньяк?

— Три звезды. Дагестанский. Рубль пятнадцать, — и добавила: — двести грамм.

— Ясно, что не бутылка, — я презрительно кинул мятый рубль на прилавок, выудил из кармана мелочь, бросил в блюдце.

Она молча взяла деньги. Поставила передо мной стакан. Молча налила коньяка под самый ободок. Двести грамм.

С полным до краев стаканом я устроился в углу. Сделал глоток, теплый коньяк обжег рот, потом горло. Внутри потеплело. Я отпил еще, огляделся. На уровне плеча стена была грязной и засаленной до блестящего лоска. За соседним столом говорили по-латышски. Непонятная тарабарщина изредка перебивалась русским матом. Буфетчица дотянулась до радио, щелкнула ручкой. Оттуда тоже полилась латышская речь, только без мата.

Время неожиданно замедлилось, словно воздух в буфете стал густым, как кисель. Я отпил из стакана, не вставая, снял куртку. Вернее, вылез из нее, вывернув рукава. Звякнула по полу выпавшая из кармана мелочь. Я даже не посмотрел. Злость, бурлившая внутри, сменилась обидой, тоже густой, тоже тягучей. Как мед, как яд, горько-сладкой жалостью к себе. Ну и черт с ними со всеми! Со всеми? Да-да-да, со всеми! И с Ингой?

Я сделал большой глоток. Привстав, дотянулся до латыша, ткнул в плечо. Тот обернулся.

— Закурить есть? — я поднес к губам два пальца.

Латыш лениво протянул мне пачку «Примы», дал коробок. Я выпустил дым, не затягиваясь. Буркнул наугад «лудзу» — всегда путал, что у них спасибо, что пожалуйста. Тот равнодушно кивнул, отвернулся. Сигарета была плоской, точно на ней кто-то долго сидел. От кислого дыма першило в горле.

За черным окном прокатились фары — набухли, вспыхнули, погасли. Часы показывали без двадцати восемь. Ну и черт с ними со всеми! И с Даугавпилсом! Кого я там знаю?

В стакане осталась половина. Приблизив теплое стекло к самым глазам, я начал разглядывать зал. В канифольной гуще дрейфовала плавная буфетчица, над головами посетителей курился желтый дым — все тут было не так уж плохо. Из радио вытекала ленивая музыка — пианино и контрабас, по меди тарелок барабанщик елозил железными щетками. Даже сигарета под конец стала почти вкусной. Не отнимая стакана от лба, я глубоко затянулся и кинул окурочок под стул. Сквозь янтарную линзу мир казался мягче и теплее, как бы ласковей. Все светилось изнутри: так в ночи мерцает воск толстых свечей. Исчезли убогость и грязь, в меня втекала тихая радость, почти благодать. Буфетчица плыла ко мне, сияя оранжевым нимбом, за спиной ее вспыхнуло перекрестье двух крыльев. Я, вслипнув, умилился чуду и тут же увидел — нет, не увидел, скорее, ощутил — себя, но лучше нынешнего — лучше и умней, взрослей. Точно какая-то божественная сила наделила вдруг меня чудесным даром предвидения: вот я несусь по лугу, несусь, раскинув птицей руки, вот я на вершине какого-то пика — Монблан, должно быть; вот хлестко кидаю звонкую блесну с кормы белого катера, дельфины следуют в фарватере, в небе — альбатросы; вот — пальм

лиловый силуэт, за ними — тропический закат — лимонный, персиковый, малиновый, и в обратном порядке те же цвета отражаются в зеркале океана — где это? — ах, да, — Гавайи. Вот — ее руки, она обнимает меня сзади, неслышно подкравшись босиком по песку, остывающему, но все еще теплому песку, ее голос — эх, Чиж-чирик, чижик-пыжик, что ж так быстро сдался, руки опустил, шпаги в ножны, эх, ты, птаха божья, пташка-невеличка. А я так надеялась, так верила, так мечталось мне — эх...

— Эй! — раздалось над головой.

Сияющий рай погас, надо мной возвышалась буфетчица с морковными волосами.

— Тут свинячить! — она тыкала пальцем в пол.

На полу тлел мой окурок. Я наклонился, не вставая, поднял бычок. Пепельницы на столе не было, буфетчица, криворотая и краснотубая, брезгливым взглядом прожигала меня насквозь. Не уходила, не моргала, тушь с ресниц ее осыпалась и под глазами расплзлась траурными тенями. Толстая грудь шарами выпячивала сиреневую кофту домашней вязки, сквозь шерсть проглядывала арматура тесного лифчика. В треугольном вырезе белела сметанная кожа, усыпанная веснушками. На золотой цепочке висел унылый медальон в виде сердца с крохотным рубином посередине.

Окурок жег пальцы. Неторопливо — с достоинством — взял стакан и в три глотка допил коньяк. Поставил стакан на стол. Бросил туда бычок. На дне оставалась жидкость, окурок пискнул и выпустил тонкую струйку сизого дыма.

— Лудзу, — произнес я, вежливо улыбаясь. — Или свейки?

— Уходи! — приказала она. — Вон!

По тону было ясно, что она привыкла к немедленному выполнению своих распоряжений.

— Сейчас. Сейчас уйду. Но прежде скажи мне, — не спеша произнес я, — скажи мне, ты, крашенная латышская кукла, если кто-нибудь, ну какой-нибудь человек, был готов пожертвовать всем ради тебя — всем! абсолютно всем! — я не про поэтические бредни вроде звезд и утренней зари на небе говорю, не про сладкие слюны и розовые сопли толкую, я про реальную жизнь — сволочную, сучью реальность — с майорами особого отдела по фамилии Воронцов, партбилетами и ленинскими зачетами в красных уголках, с казарменной вонью и сапогами в ваксе — вот про этот самый наш мир я веду речь, про эту подлую жизнь...

Я уже кричал. Я колотил ладонью по столу. Буфетчица заворуженно пялилась на меня, точно на ее глазах происходило какое-то ужасное превращение. Латыши тоже повернулись, их удивленные лица придали мне азарта.

— Что бы ты ответила этому человеку? Честному, глупому, влюбленному! Согласилась ли бежать на край света — да какой там край — хоть в Ригу, согласилась бы? Ну хоть в Даугавпилс паршивый? Ведь любовь — это ж любовь! Пламя! Расщепление ядерного дупла! Огонь мартеновских печей, извержение Везувия и последний день в Помпеях. Редкость по нынешним суконным временам — вот я, к примеру, всю жизнь прожил и ни ухом, ни рылом про эту самую любовь! Думал — вранье и сказки в книжках, волны да пена, чешуя позолоченная... Ну же! Ну? Ну что же ты молчишь, селедка балтийская с марокканскими волосами цвета апельсина, скажи хоть что-нибудь, ответь дураку! Не молчи, не молчи, говори!

Я оттолкнул стол, вскочил. Стакан не удержался — полетел на пол — и вдребезги. Хлипкий стул из гнутых трубок звонко поскакал по кафелю пола. Подхватив куртку, я рванул к выходу. На ходу сшиб еще пару стульев. Саданул в дверь, вылетел на улицу.

Тьма и холод. Казалось, наступила ночь. От морозного воздуха я закашлялся. Сбежал по ступеням, огляделся. Пустая стекляшка остановки светилась мертвым светом. Автобус, конечно, давно ушел. У фонаря стоял чей-то велосипед. Я вскочил в седло и погнал, неистово налегая на педали. Затормозил возле испуганного прохожего в шляпе.

— Где Комсомольская улица? — заорал. — Где?

Шляпа попятился, махнул рукой во тьму. Я помчался в указанном направлении. Мельтешили фонари, окна, фары. Машины сигналили, визжали тормоза. На повороте

выскочил на гололед, велосипед занесло, и я со всего маху грохнулся на мостовую. Неуместно весело звякнул велосипедный звонок. Локоть и колено пронзило раскаленной болью. Вдобавок я прокусил язык. Путаюсь в велосипедной раме, кое-как выбрался. Ругаясь и плюясь кровью, побежал дальше.

Последний дом на Комсомольской улице светился окнами. Пробравшись через грядки, я прильнул к стеклу. Узнал комнату, где меня угощали чаем всего несколько часов назад. Комната была пуста. Держась за стену, прокрался дальше, заглянул в следующее окно. Там, за тюлевой занавеской, в молочном мутном свете, сидела ее мать. Сидела неподвижно, сложив руки на коленях и уставившись в одну точку. Так смотрят телевизор. Она пристально смотрела в стену, в абсолютно голую стену.

Ингу я нашел на кухне. Она стояла спиной к окну, ее волосы были стянуты в пучок. Ее волосы здорово потемнели с лета — из солнечного льна превратились в сырую солому. Инга испуганно отозвалась на мой стук, не вздрогнула — шарахнулась. Подскочила к окну, закрыв свет ладонью, усталилась в темноту.

Она вышла, все еще испуганная, кутаясь в какую-то жуткую кофту волчьего цвета. Кулак с белыми костяшками стягивал на горле шерстяной узел. Никогда раньше я не видел Ингу такой потерянной. От ее взгляда — тоскливого и беспомощного, такого детского — хотелось умереть.

Мое сердце еще колотилось от бега, забыв, что я весь грязный, я обхватил ее и прижал. Она уткнулась по-собачьи в мою шею, под скулу — будто спряталась в нору. Я вдохнул глубоко-глубоко, словно собираясь погрузиться на дно. Ее волосы пахли спелыми яблоками, так пахнет антоновка в октябре. Я хотел сказать об этом, но вместо слов из горла вырвался всхлип. Далеко за рекой взвыл локомотив, протяжно, тоскливо и безнадежно, как если бы где-то на другом краю земли в запредельном океане прощался с жизнью последний левиафан. Похоронная песня кита легла в ритмический узор моего загнанного сердца — у мироздания была восхитительная возможность элегантно уйти. Эхо уносилось в бездонное поднебесье, путалось среди созвездий, терялось среди галактик.

Я сам все испортил — впрочем, как всегда: я начал говорить.

Слова несовершенны — при помощи слов, обладая известным риторическим умением, ты можешь высказать свои мысли. Передать словами чувства — дохлый номер. Тут нужна виолончель, на худой конец, скрипка. В идеале — соборный орган, но об этом можно только мечтать.

Женщины умнее нас — я не про математику или задачи по физике, я про мудрость жизни. Интуитивную мудрость. Мужчина по сути своей насильник, он создатель или разрушитель, его не устраивает природа такая, как она есть. Он с ней сражается. Женщина — нет. Она становится частью природы, встраивается в нее — она цепкий побег плюща на каменной стене, она упругая, но гибкая осока, что льнет к земле под напором ветра.

Инга остановила поток слов — сначала ладонью закрыв мой рот, после своими губами. Даже такой упрямый осел, как я, заткнется, когда его целуют.

— Мой милый Чиж, — выдохнула она тихо и грустно. — Глупый-глупый-глупый Чижик. Нам не спрятаться и не убежать. Они нас выследят, как овчарки, выследят. Клыкастые псы, кровожадные, с невероятным нюхом. Они нас под землей отыщут, на дне моря... Уходи, пожалуйста, уходи — пока не поздно. Один уходи. Пока ты не знаешь, как это бывает. Уходи!

— Уходи? — я задохнулся. — Уходи! Один?

Оттолкнув ее, я вскинул голову к черному небу и зарычал. Рык, наполовину вой, отчасти вопль бессилья — сжатые кулаки отчаянья. Агония. Раненый марал, пронзенный навьлет бык на арене. Бандерильи, копыя, хищные зубья капкана и все такое прочее. Разумеется, я был пьян.

Опьянение — состояние непривычное, вроде невесомости. Новое смутное чувство какой-то космической вседозволенности распирало меня. Неумная безадресная ярость и желание вселенской справедливости, ощущение всемогущества, ком в горле

и слезы на глазах — я был готов отдать свою жизнь за вздох, за взгляд, за улыбку. Особенно, за улыбку. В русском языке есть точное слово — кураж. Так вот — я был в кураже.

— Ну как?! Как?! Как ты можешь? — взвыл я. — Ведь любовь! Любовь — господи, боже ты мой! Это ж... это ж...

Инга смотрела на меня круглыми белыми глазами — ужас пополам с восторгом. На меня снизошло озарение, будто херувим коснулся легким перстом моего лба: истины, которые до того казались запутанными, более того, сомнительными и достойными дискуссии, воссияли вдруг яростно, властно и ясно. К тому же ночь выдалась точно на заказ — звонкая и чистая. Прозрачная до летальной хирургической стерильности: неяркая сталь, ртутное стекло, температура ниже нуля.

— Господи! — я вскинул обе руки, воткнул пальцы в бездонную звездную падь. — Ведь я раньше будто и не жил. Один такой день стоит всей жизни! Той — тусклой, затхлой, мертвой — один час! Боже! Ведь, быть может, это наш единственный шанс! Шанс быть живыми — понимаешь? — восстать из гроба! Ожить!! Это счастье, но мы не знаем об этом! Счастье, понимаешь?! Господи, боже ты мой!

Бог, впрочем, молчал. Крыши домов зыбко сияли инеем, застывшие комья грязи на земле серебрились, как драгоценные слитки. Фиолетовая вселенная безмолвствовала, звезды зябко моргали, у соседей залаяла собака. Наверное, я орал во весь голос. Но бог меня не слышал. Впрочем, мне было наплевать на бога. Я был равен богу. Я сам был богом. Да, я был в кураже! В кураже — ах какое верное слово!

— За счастье ведь все отдать — ничего не жалко, сама понимать должна! Неужели зря вся цивилизация и все поэты — Шекспиры, Петрарки и сам Данте, сам Данте — в ад за любимой полез! В горнило геенны огненной! А Пушкин? Под пулю грудь подставил из-за нее! Не может быть любовь пустышкой — подумай сама — не может! Ведь про любовь половина всего искусства — от античности до наших дней — живопись и скульптура, опера, господи, опера! «Кармен»! «Богема!» «Травиата!» Ну как же... Сверкающей искрами черных очей...

Я запел, господи, спаси мою грешную душу — я запел в полный голос. Как пел отец по утрам, бреясь в ванной. У него баритон, я, скорее, лирический тенор.

— Как на небе звезды осенних ночей! Все страстно негой в ней дивно полно... в ней все опьяняет... в ней все опьяняет и жже-е-ет...

Уверенно вышел в ля-бемоль.

— Ка-ак вино!

Итак, все было просто замечательно. К этому моменту угрозы майора уже казались нелепостью, да и сам майор Воронцов превратился из зловещего и всесильного особиста в картонный манекен карлика, раскрашенный защитной гуашью с весьма условными чертами весьма условного лица. Щелчком пальца я отправил дурака в нокаут. Кураж мой достиг апогея. Скорее всего, синхронно с реакцией мозга, сердца и прочих внутренних органов на алкоголь. Никогда в жизни я не был так пьян.

Милиция приехала неприметно. Я даже не услышал, как подкатил «воронок». Лишь по застывшему вдруг лицу Инги догадался, что за моей спиной происходит что-то захватывающее. Но обернуться не успел, пара молодцев уже заламывала мне руки и волокла к милиционерскому газику. Сзади донесся голос Инги: я не знаю этого человека. Отчетливо услышал эти слова — не знаю! И добавила — пьяница какой-то. Какой-то!

Меня затолкали в жестяное нутро, смрадное и промозглое. Хряснули дверь, клацнули запором. Шофер с места дал газ, я покатился на пол. Снова загавкала собака у соседей, где-то спросонья прокричал шальной петух.

Шофер гнал как на пожар, казалась, дорога состоит из одних крутых поворотов. Встав на карачки, я пополз; в углу наткнулся на кучу какого-то тряпья. Тряпье зарычало и ожило. Рычание перемежалось замысловатой руганью, по большей части матерной.

Нас привезли, выгрузили. Тесный двор, над входом хилый фонарь освещал узкую дверь. В полоске желтого света мелькнуло лицо попутчика — в дикой бороде,

он напоминал беглого каторжника. Нас впихнули внутрь. Внизу, за крапеным загоном, курил милицейский сержант. На столе между самодельной табличкой «Дежурный» и переполненной пепельницей чернел массивный телефон. Именно сюда, очевидно, поступил сигнал от встревоженных соседей Инги. Или от ее матери? Да-да, все верно — я не знаю этого человека!

Воняло казармой — сапожной ваксой, куревом и мужичьим потом. Мелкие деревенские окошки были забраны ржавой решеткой. По потолку расплзались толстые канализационные трубы, выкрашенные болотной краской. На стене, чуть криво, висел треугольный кумачовый вымпел с желтой бахромой. Рядом, из фальшивой бронзовой рамы, сквозь мутное стекло глядел пытливый Дзержинский. Он напоминал хвораго Сервантеса. Меня поразили часы, не сами часы — они были стандартно казенного типа, такие же, квадратные в деревянном футляре, висели и в нашей школе — поразило время. Было всего без пяти девять. С момента моего посещения буфета на автобусной станции прошло чуть больше двух часов.

Меня втокнули в тесный кабинет, похожий на кладовку. В дальнем углу упирался в потолок коричневый сейф. В другом, за конторским столом из грубой сосны, сидел младший лейтенант. Пыльный и мятый, казалось, он где-то спал в своем мундире — на чердаке или сеновале, короче, лейтенант выглядел очень неубедительно. К тому же на подоконнике рядом с засохшим ростком традесканции стояло чучело лисы. Зверь и при жизни был мелок, а сейчас выглядел совсем жалко — под стать лейтенанту. Дверь за мной захлопнули, мы остались одни. Милиционер смотрел на меня грустно и мечтательно, точно любуясь.

— Фамилия? — ласково спросил он, открывая амбарную книгу. — Имя, отчество.

— Куинджи, — ответил я. — Архип Иванович.

Мент моргнул, поднял глаза от бумаги, шариковая ручка уткнулась в лист и застыла.

— Знакомая фамилия...

— Греческая. Из греков мы. Из крымских греков-урумов.

— А-а-а... — он кивнул. — А что на конце? Ы? И?

— Ну как же? Жи-ши пиши с буквой И.

— Верно-верно. Спутал, — он поскреб пыльную скулу. — Цыц, цыган, на цыпочках — верно?

— Конечно!

— А еще: вертеть, терпеть, ненавидеть и смотреть.

— Видеть, — поправил я. — Гнать, держать, бежать, обидеть...

Лейтенант уткнулся, кропотливо выводя буквы. Его фуражка лежала на столе, рядом с мутным графином. Сквозь пегие волосы наивно розовела лысина, младенческая, такая беззащитная. Схватить графин, с размаху влить в розовую макушку, кровь и осколки — я с трудом не поддался искушению. Выхватить табельный «макаров» из ментовской кобуры, отстреливаясь, уйти в латгальскую ночь — почему нет? Гнать, держать, бежать, обидеть! Ненавидеть!! Я не знаю этого человека — пьяница какой-то! Закусив до боли губу, воткнул руки в карманы.

Лейтенант вскинул голову, словно услышал мои мысли. Я улыбнулся радушно, но фальшиво.

— Из гарнизона?

Я кивнул, продолжая скалиться.

— Батя — военный?

— Летчик.

— Да... — мент задумчиво прищурил глаз. — Яйца он тебе, паря, оторвет.

— За что? — я вполне искренне удивился. — Он-то тут причем?

— Ну как... Тебе, паря, пятнадцать суток светит за хулиганку — судимость считай.

Ему в часть телегу отправим, тебе в школу тоже. Его, батю твоего, ясно дело на партсобрании вздрючат, отстранение от полетов, то да се, — он в каком звании?

Я ответил.

— Ну вот, майора ему задержат, — он поскреб тупым концом шариковой ручки затылок. — Год рождения? Адрес?

Опьянение мое улетучилось, бесшабашный азарт сменился неясной тревогой. Тревога быстро перерастала в парализующий ужас. Даже предательство Инги отступило на второй план. Я назвал бывший адрес Гуся, нынешний его адрес на Ржаном кладбище вряд ли бы устроил милиционера. Нужно что-то было делать, что-то предпринять — срочно, срочно что-то предпринять.

— Товарищ лейтенант... — начал я без малейшего представления о конце фразы.

— Гражданин, — поправил он, впрочем, оставив без внимания лишнюю звездочку, что я льстиво преподнес ему.

— Гражданин лейтенант, а можно в туалет? — ничего умней в голову мне не пришло.

— Сейчас. Вот протокол закончим. Телефон какой?

— Не могу я...

Милиционер покачал головой, осуждающе, точно я подвел его, не оправдал ожиданий.

— Горностаев! — неожиданно зычно гаркнул он. — Горностаев!!

Дверь открылась, в нее просунулся круглолицый сержант в серой шапке с кокардой.

— Этого в галльон проводи!

Вышли в коридор. Свернули у дежурного направо. Горностаев топал сзади, беззлобно подгалкивая меня в спину.

— Стой! — приказал он. — Тут!

Он лязгнул дверным засовом, железным, ржавым, похожим на затвор трехлинейной винтовки. Распахнул дверь, снова пихнул меня в спину. Туалет — хотя нет, милицейскому нужнику скорее подошло бы слово «клозет» или «сортир», был не больше кладовки. И конечно без окон. С внутренней стороны замка не оказалось. Горностаев с той стороны прохнул затвором. И засвистел.

Вонь тут стояла нечеловеческая. От хлорки першило в горле. Я выругался, плюнул в унитаз, взлохматил волосы. Что же делать? Сливной бачок, мокрый, будто потный, висел под потолком, к рычагу была привязана грязная бечевка. Я с силой дернул. Вода с веселым рокотом ринулась в унитаз. Что же делать?

В коридоре Горностаев, надо признать, весьма музыкально высвистывал про цыганку-молдаванку, что собирала виноград. Свистел с переливами, затейливо украшая мелодию мастерскими тремоло. Я опустил на корточки, зажал лицо руками.

— Что делать?

Неожиданно меня осенило — должно быть, так на Моцарта обрушился его «Реквием», на Шекспира «Гамлет», на Леонардо... Додумать про да Винчи не успел — медлить было нельзя.

— Эй! Сержант!! — заорал я, пиная в дверь. — Тут женщина!

Свист оборвался.

— Где? — Пауза. — Что? Кто?

— Тут у вас женщина! Голая! — крикнул; и тут же фальцетом завизжал. — Караул! Убери руки!

Я затопал-защумел, изображая рукопашную схватку в тесном помещении. Горностаев торопливо загремел затвором.

— Где?! Кто?

Я выскочил в коридор, шальной и взьерошенный.

— Где?! Где она? — сержант сунулся в уборную. — Стоять! Ни с места!

Я дал ему под зад ногой, вломил от души. У нас это называлось — пендаль с разворотом. Горностаев охнул и нырнул в сортир. Я захлопнул дверь, воткнул засов. Вот так, вот так! Главное, чтоб не стал стрелять сквозь дверь. Из сортира донесся мат. Выстрелов не последовало.

Я понесся по коридору, свернул. На ходу заорал сонному дежурному:

— На помощь! Быстро! На Горностаева голая женщина напала! В гальюне!

— Голая?!

— Да! Совсем!

Дежурный выпрыгнул из-за загородки. Глаза круглые. Тщедушный, с тощей шеей, на ходу расстегивая кобуру, милиционер зайцем поскакал по коридору. Путь был свободен. Срывая входную дверь с петель, я вылетел на улицу. Зло взвывла пружина, за спиной бухнула дверь. В темном, как угольная яма, дворе чернел «воронок», рядом угадывался силуэт человека с оранжевой точкой в районе губ. Отличная мишень для умелого снайпера. Человек стоял широко расставив ноги, звонкое журчанье выдало занятие незнакомца. Не сбавляя скорости я промчался мимо.

Топот дробным эхом метался по переулку. Гнать, держать, бежать, обидеть! Упругая кровь пульсировала в висках в такт посвисту сержанта Горностаева — раскудрявый клен зеленый, лист резной — сердце туго билось в грудной клетке: да — влюбленный, эх, смущенный пред тобой. Пред тобой! Смуглянка, мать твою, молдаванка! Как она могла? Не знаю этого. Этого! Пьяница-пьяница за бутылкой тянется. Этого человека! Не знаю-не знаю-не знаю.

Вой милицейской сирены взрезал ночь. Я рванул быстрее. Свернул, залетел в первую подворотню. Метнулся меж приземистых домов. Неужели тупик? Перемахнул в два приема дощатый забор. Вой повторился, уже ближе. Громче. Понять, откуда доносится сирена, я не мог — казалось, воют чернильные тени меж домов, бездушные звезды в черном небе.

Впереди замаячило зарево — площадь, редкие машины, вкрученные в плоскую тьму лампы фонарей. Мостовая упрямо дыбилась и спотыкалась. Я снова вылетел к автобусной станции. На остановке было пусто. Вбежал внутрь станции, в зале ожидания ни души. На закрытом окошке кассы какая-то бумажка, надпись на латышском. Сирена завывла совсем рядом. Оглянулся — милицейский «газик» вылетел на площадь и затормозил у остановки. Белые и синие сполохи металась по стенам домов, по замерзшей площади, рассыпались прыткими зайчиками в битых стеклах и хрупких лужах.

Дверь в буфет была приоткрыта, там бубнило радио. Передавали какие-то латышские новости. Я заглянул — рыжая буфетчица протирала тряпкой свое стеклянное хозяйство.

— Слэ-эгс! — гавкнула, не оборачиваясь. — Закрыто!

Я неслышно проскользнул внутрь, закрыл за собой дверь. Замок предательски звякнул металлом. Буфетчица тут же обернулась. Меня она узнала сразу — я понял по лицу. Эмоции — недовольство, удивление, гнев — сменили одна другую, выразительно, как в мультфильме. В тот же момент из зала ожидания донесся топот сапог. Буфетчица повернулась к окну, «воронок», с включенными фарами и милицейской мигалкой, уткнулся в фонарь у входа.

«Шалман проверь!» — рявкнул кто-то.

Буфетчица, не сводя с меня взгляда, недобро усмехнулась и скрестила руки на груди. Вот сволочь! — я рыпнулся к другому окну, там, покуривая, бродила серая ментовская шинель.

— Тебя ловят? — спросила рыжая, масляно улыбаясь.

Вот ведь сволочь! За ней, рядом с полкой, украшенной частоколом из глиняных бутылок рижского бальзама, я увидел дверь. Черный ход! Подбежал, оттолкнул буфетчицу — та лишь фыркнула — распахнул. Там была кладовка. В темноте мерцали бутылки в ящиках, стояли какие-то коробки, из мятого цинкового ведра свешивалась тряпка. Рядом, в углу, топорщилась белобрысая швабра. Я повернулся, умоляюще взглянул на рыжую стерву. Должно быть, вид у меня был действительно жалкий, буфетчица снова фыркнула и толкнула меня в кладовку. Захлопнула дверь. Я выдохнул, руки мои тряслись, от беготни перед глазами плыли красные круги. Опустившись на корточки, я прижался ухом к створке.

— Здорово, хозяйка!

Я узнал голос Горностаева. Бухнула входная дверь. Сапоги протопали в моем направлении, остановились совсем рядом.

— Здорово, — ответила буфетчица. — Ловишь криминальников?

— Если бы! — он хохотнул. — Пацана не видала?

— Многих видала, — ирииво ответила. — Пацанов и постарше.

— Ну ты... — Горностаев заржал. — Слышь, Лайма, нацеди пятьдесят капель герою правоохранительных органов. За счет заведения.

Что-то стеклянно звякнуло, тихо забулькало. После секундной паузы Горностаев крикнул, еще через секунду запел. Не только мастер художественного свиста, у сержанта оказался вполне пристойный тенор.

— Он говорит, в Марселе та-акие кабаки, та-акие там ликеры...

Буфетчица перебила:

— А что малец тот? Убил кого?

— Да не. Сбежал, сопляк. Замели с «хулиганкой» — безобразничал на Комсомольской.

— Дрался?

— Да не! Орал. Теперь дураку года два наматывают — а ты, Жучка, не балуй.

— Два?! — беззвучно вскрикнул я и тут же поперхнулся кладовочной темнотой. Хорошо еще, что сидел на карачках, — от слов сержанта земля ушла из-под ног. Два года! За что?! Горностаев, похоже, обладал телепатическими способностями.

— Да, два года! Побег из-под стражи. Сопроотивление при...

Он загнулся, я услышал как чиркнула спичка о коробок.

— ...при задержании, — сержант трубно выдохнул дым.

Горностаев еще что-то говорил, что-то про статьи уголовного кодекса, про колонии для малолетних преступников; господи-господи! — я впился зубами в кулак — до боли, до крови (хоть и не видел крови в потемках, но ощутил соленое с железным привкусом — впрочем, то мог быть и пот — ведь у него тоже соленый привкус), и свитер промок от пота и жарко прилип к спине — господи, как же так? Я ж ничего — никого не убил-не ограбил — как же так?

Жуткие тюремные истории, толкаясь, полезли из памяти в мозг: ожили, заплясали, корча рожи, бритые эки — жилистые и злые, с ног до головы в синих крестах-церквях, топыря-коряча пальцы с выколотыми перстнями, щерясь стальными оскалами кривых ртов. Урки-уркаганы, понты пиковые, шныри да волчары тряпочные. Шлифует братва мурку — шепчет: чуйка бей по бане — в цвет, в масть — бей! А Вася Ржавый сел на буфер, были страшные толчки, оборвался под колёсья, разодрало на клочки. А мы его похоронили. А прямо тут же по частям...

Я сполз на пол. Я задыхался. Горностаев за дверью продолжал бубнить, но разобрать слова уже не удавалось — череп налился тугой пульсирующей болью, череп превратился в жаркий гудящий колокол. Литой молот раскачивался и бил, бил, бил. Бил чугуном боем. Ритмично, как адский метроном. А что ты, падла, бельмы пялишь? Аль своих не узнаешь? А ты мою сестренку Варьку мне ж напомнила до слез.

Дверь распахнулась — я шарахнулся к стене. На пороге, в ореоле пыльного света, возвышалась буфетчица.

— Вылазь, — сказала. — Уехали.

Мутило, голова раскалывалась. Бережно и плавно, как по льду, я выплыл из кладовки.

— Попить можно? — попросил. Звук, почти свист, вышел сухой, как сквозь бамбуковую луду.

Из початой бутылки «Нарзана» буфетчица налила полный стакан, протянула. Одним глотком я влил в себя теплую шипучую воду. Газ ударил в нос и гортань. Сами собой выступили слезы.

— Спасибо, — я поставил стакан на прилавок. — Простите меня. Пожалуйста...

Меня начал бить озноб — ни с того, ни с сего: минуту назад я умирал от духоты.

Руки тряслись, запахнув куртку, я сунул ладони под мышки и, нахохлившись, побрел к выходу.

— Погоди...

Я обернулся.

— А кто она? Та. Про которую ты...

— Какая разница, — устало отмахнулся. — Теперь-то...

Отстраненно, точно не со мной и тысячу лет назад, всплыли мутно: мои крики и пение, вечерние окна, улица, силуэты острых крыш с черными трубами, лай собаки.

— Инга, — произнес, словно пробуя на вкус, и повторил, — Инга.

Ее имя, будто волшебное заклинание, коим пользуются ведьмы для оживления мертвецов и прочих своих мерзостей, да, я вслух произнес имя-слово-два слога и тут же будто заглянул в бездонную черную дыру: смесь горя и безвозвратной потери, квинтэссенция никчемности жизни вдруг накатили на меня — я даже поперхнулся.

— Инга, — твердо повторил, точно вбил гвоздь.

Голова моя была пуста. Пуста какой-то абсолютной пустотой. Так бывает в утреннем кафедральном соборе — пусто, гулко и холодно, лишь эхо шагов где-то под самым сводом между балок. Я огляделся, словно видел все впервые. Лампы, потолок, стены. Столы и стулья. Пол.

— Поди сюда, — позвала буфетчица.

Я послушно подошел. Она сняла с полки бутылку водки. Мне никак не удавалось вспомнить ее имя: как же этот свистун Горностаев ее звал? Что-то латышское, что-то вроде Рута или Уна, а может, Олита. Или Марута? Нет, Марутой зовут, звали мать Инги, моей бывшей Инги.

— Слушай... — догадка змеей вползла в мозг. — Ведь это же она милицию вызвала!

— Кто?

— Господи! Какой же идиот! Какой же...

Мы сидели напротив друг друга за столом в углу. Буфетчица заперла входную дверь, выключила свет. Между нами мерцали бутылка и два стакана, граненых, но не стандартных на двести грамм, а миниатюрных, будто уменьшенных, — с таким в руке ощущаешь себя Гулливером.

Фонарь с улицы разливал сизые лужи по полу буфета, по молочному пластику столов. Помещение напоминало темный аквариум. У Арахиса был такой, ведер на сорок, а может, и на все пятьдесят — из толстого плексигласа; Арахис его не чистил, и стекло изнутри зарастало зеленоватой мутью, в которую тюкались розовыми губами ленивые вуалехвосты. Я зачем-то начал рассказывать буфетчице про аквариум. Я снова был пьян. Но теперь вместо куража, вместо беспшабашной эйфории, меня одолела смертная тоска. Словно расплата за то веселье. Словно я погружался все глубже в тягучую малахитовую муть. К вуалехвостам, гурами и прочим гуппи.

Буфетчицу звали Лайма. По-латышски это значит счастье. Чем дольше мы сидели, тем больше это имя подходило ей. Лайма. Я ей рассказал про Ингу, все рассказал. Про наш остров летний, про нашу новогоднюю ночь на замерзшей Даугаве. Про ее предательство. Рассказал и про майора Воронцова. Поначалу мне показалось неловким откровенничать перед буфетчицей, ведь я рассказывал ей обо всем — в подробностях и деталях, вы понимаете, про что я, — если уж говорить, так говорить без утайки, правильно? Как на духу, как на исповеди. Я никогда не исповедовался, но представляю себе это именно так: душу наизнанку вывернуть да еще и потрясти, чтоб до доньшка. Буфетчица слушала, иногда подливала мне водки в стакан. Я говорил, делал плоток, говорил снова — и все глубже погружался в малахитовую темень. Шорохи и шелесты долетали с улицы. Редкая машина проезжала, или запоздалый пешеход проходил под окном. Иногда ветер задувал в окно, и тогда стекло звонко и нервно дрожало.

Я поднял стакан, отпил и поставил, я даже не заметил, как она накрыла своей ладонью мою руку — точно поймала кузнечика, нежно накрыла. Нежно — вот так. Водка стала теплой и кислой на вкус — зачем я продолжал пить, я не знаю, должно

быть, мне хотелось убить себя, но на кардинальные действия у меня не осталось воли. Есть такая гравюра у немецкого художника Дюрера, называется «Меланхолия»: там мрачный ангел сидит, подперев кулаком голову, сидит скучает, а вокруг всякие инструменты валяются без дела — рубанок, циркуль, рейсфедер, баночка туши, глобус. Насчет глобуса, впрочем, не уверен. В углу картины еще один ангел, юный совсем, не старше первоклассника, он мрачного тормошит, тянет за рукав — айда, мол, в футбольную или штандар, или в вышибалу (у нас она «жопки» называется) — не знаю, во что там ангелы в Германии играют. А другому, мрачному, все равно, смотрит вдаль.

Буфетчица слушала внимательно про Дюрера, я сам уже не помнил, к чему я эту гравюру приплел. Ее ладонь лежала на моей щеке — и было не понять, то ли щека у меня горит, то ли ладонь ее ледяная; двумя пальцами — указательным и средним — она прихватила мое ухо. Прихватив, она ласково теребила его, и от этого в моей голове возникал шуршащий звук, похожий на морской прибой. Порой отсвет фар скользил по потолку, по пустым столам, по ее лицу. Желтые всполохи вспыхивали и гасли, и тогда казалось, что это мы куда-то движемся, что буфет, подобно барже, отчалил и поплыл неведомо куда. От этого пьяного света и лицо ее менялось, нет — преображалось, вот верное слово. Преображалось — да. Становилось то смиренным и трагичным, как икона, то колдовским и зловещим, вроде фресок Врубеля, написанных на стене сумасшедшего дома. Я уже толком не понимал, кто сидит напротив. В какой-то миг мне привиделась Инга, в другой — моя мать, а вот ступилась тень, и лицо ее стало серебристым, русалочьим. Скажи мне, наяда-нимфея, что творится со мной, что происходит? И как я очутился тут? Да-да, я слышу шелест прибоя, шепот гальки, но к каким туманным островам мы плывем, скажи мне?

Малахитовые тени гуляли по потолку, сползали по стенам, растекались по полу. Там — внизу, сизыми пятнами (видел все боковым зрением) раскрывались остролистые лилии, распускались орхидеи, мясистые цветы, похожие на собачьи морды. Расползались водоросли, оплетали-опутывали ножки столов и стульев желто-зеленые ленты ламинарий и сочные побеги ярких элодей, мои щиколотки, икры и бедра стягивали щупальца океанской людовигии — она-то как оказалась в нашем сухопутье? — однако стало ясно, отчего я не могу пошевелиться. Догадался я и о другом, но виду не подал — не так-то я прост, моя коварная буфетчица, моя порочная ведява, не так наивен. Блаженный лик ее исказился — она поняла о моей догадке. Как воду морщит ветреная зыбь, как низвергнутый ангел превращается в демона, как чернели и корчились святые на белых стенах горящих церквей — буфетчица-наяда-нимфея приоткрыла мокрый рот и подалась ко мне. Беззвучно упала бутылка, немые стаканы покатались по столу, лениво полетели вниз. Под водой все обретает плавность и грацию, я успел заметить серебристую рябь — она вспыхнула, пробежала по потолку и погасла.

Догадка, да! Наконец-то появился смысл, наконец все встало на свои места. Жизнь обрела логику — а может, как раз и не жизнь, а наоборот. Моя догадка, да что там — озарение — мне вдруг стало ясно (как писали в романах — кристально ясно), что произошло на самом деле: тем летним днем я утонул. Совсем утонул — насмерть. И все, что последовало за этим, оказалось не более чем сном. Фантазией, вымыслом, оптической иллюзией. Инга, остров, любовь — все, от и до. И майор-особист, и милиция, и вот этот подводный буфет с зеленоглазой хозяйкой — все! Сплошная фата-моргана. И уж если начистоту — никто из живых людей понятия не имеет о смерти, ни малейшего. Может, таков он и есть — загробный мир?

Ловкие щупальца скользнули под мой свитер, щекотно пробежали по спине — аллегро-анданте-пианиссимо. Одна, холодная, проворно протиснулась под ремень, звякнула пряжка; лица я уже не видел, лишь губы, губы темные — лиловые, мокрые. И дух морской, как от выброшенной прибоем травы, — горечь и соль, да еще приторный душок, как от мертвых лилий.

Она властно потянула меня вниз, на пол, нет — на дно, куда ж еще, на дно,

конечно. Раскинув руки крестом, голый, лежал я среди ракушек и кораллов, по углам темнели оборванные якоря и чугунные пушки с потопленных фрегатов, из расколотых амфор текли серебряные финикийские драхмы. Затонувшие вместе с галерами из ливанского кедра золотые дублоны мерцали в распахнутых пиратских сундуках. А что же утопленник может чувствовать — спросите вы — что на самом деле? Все — отвечу я. Все — и даже сверх того. Ведь он уже не живое существо, а нечто запредельное, чуть ли не посланец таинственной страны Офир, куда стремятся все мореплаватели, парусные и гребные, огибая коварные рифы Фарсиса и Геркулесовых столбов.

Ундина навалилась на меня, тяжело дыша, сильным шепотом затараторила по-латышски. Что? Что? — пробормотал я, словно ее слова сейчас могли иметь хоть какое-то значение. Она выпрямилась, быстро стянула через голову свою кофту. Запуталась в лифчике, рывком его отбросила. Бледные груди двумя шарами нависли надо мной, я беспомощно взял их в ладони. Что с ними делать, я не знал. Она выдохнула горьким жаром мне прямо в рот, подалась вперед и, застонав, осела. Я тихо пискнул и зажмурился.

Чей-то внятный голос произнес торжественно в моей голове: это на самом деле происходит с тобой! Здесь и прямо сейчас.

12

Всю следующую неделю и еще пять дней я провалился в гриппе. Он пришел из Европы, против этого гриппа старые пилюли оказались бессильны, и больные лечили горячим молоком с медом. Температура моя зашкаливала под сорок, мать говорила, что я даже бредил. Если я не бредил, то спал. Остальное время лежал пластом, пялясь в потолок. Или пил молоко с медом и потел. Пил и потел снова. Под конец болезни меня тошнило от меда, пот мой вонял воском, а в комнате разило, как на пасеке.

Впрочем, в гриппе обнаружился и позитивный нюанс: болезнь сбила фокус моей памяти, размазала и отодвинула события, которые случились со мной накануне. Тот день, тот вечер и особенно та ночь виделись мне чередой неубедительных сцен, расплывчатых и стыдных, вроде тех замызганных фотографий, что старшекласники, гогоча до румянца, показывают друг дружке в туалете на перемене.

Выздоровление после тяжелой хвори похоже на рождение. Верней, на возрождение — на воскресение. Не то чтобы птица-феникс, не столь бодро и празднично, но вроде того. Должно быть так ощущал себя Лазарь: встань и иди! — приказал ему Христос, и тот встал и пошел. Вышел обалдевший из склепа, разматывая истлевший саван и пованивая мертвечиной на всю Вифанию.

Примерно таким вот Лазарем выплыл из дома и я. Бледным, прозрачным и тихим. Вроде линияго лугового василька, что выскользнул из толстой книжки писателя Толстого про Анну Каренину — роман читался прошлым летом на веранде, у реки и на луку. Роман, безусловно, женский — про любовь, но поучителен и читателю противоположного пола — взрослым мужчинам и мальчикам-подросткам: вывод один — женщинам верить нельзя. Другой толковый писатель так прямо и написал: «О женщины! Вам имя вероломство!»

Я был пуст и легок. Почти невесом. Пуст, как школьный глобус, легок, как высушенный майский жук. Я вышел и зажмурился от света, от внезапности эдакой яркости. От солнца, от тепла и ветра. Да, там — снаружи — уже во все лопатки неслись по небу лохматые облака. Лихой апрельский ветер гнал их перпендикулярно линии горизонта. Ветер нагло задувал в штанины, пузырил рубаху. Уже всю пахло тополиной горечью почек. В нос лез приторный дух ранних одуванчиков — их сочные цветы желтели повсюду. Даже пробивались сквозь трещины в асфальте.

Птицы, похоже, обезумели. Причем все разом — карканье, щебетание, курлыкание и посвист сливались в нервную какофонию. Ласточки, стрижи и другие мелкие птицы носились над головой, едва не задевая волосы. Вороны и грачи кружили чуть выше, взволнованной стаей.

Я остановился. Застыл, ослепленный и оглушенный. За время моей болезни весна уверенно перетекла в настоящее лето. Обойдя гаражи, очутился на волейбольной площадке. После зимы в бетоне появились новые трещины, а между столбов вместо сетки была натянута веревка, с которой свисали толстые ковры траурных расцветок. Ковры пахли сырой собачьей шерстью. С площадки открывался вид на Лопуховое поле, среди яркой крапчатой зелени белела часовня. Та самая, где нашли Гуся, с крыши которой прыгала зимой Инга. Имя показалось мне странным, словно непонятное слово на чужом языке. Я произнес его вслух: *Инга*. Ни память, ни сердце не отозвались. Ничем — ни грустью, ни горечью.

Ин-га...

Я повторил: *Ин-га* — ничего, просто два слога.

Со стороны железной дороги долетел гудок, дым невидимого паровоза плыл белой ленточкой к станции, до меня шепотом донеслось его лилипутское пыхтенье. За прозрачной рошей, среди размытой акварельной зеленки первой листвы с четкостью перьевого рисунка выделялось здание вокзала. Вокзальная башня сияла свежеевыкрашенной крышей — неожиданно ярко-малиновой, раньше она была уставного защитного цвета. Башенные часы показывали без пяти два.

Часа через полтора неспешного блуждания я оказался на той стороне реки. Миновал костел, старое кладбище, парк. Корявые черные дубы едва подернулись зеленоватой дымкой. Неожиданно выбрел к автобусной станции. Заглянул в окно — буфет работал. Без мыслей, без цели открыл дверь и зашел внутрь. Посетителей не было, если не считать старика-крестьянина. Он сидел за столом, напротив на стуле стоял тугой мешок, завязанный грубой бечевкой. Казалось, что крестьянин пьет пиво с мешком. Буфетчица узнала меня, подмигнула.

— Привет... — сказал, подходя. — Привет.

Я не мог вспомнить ее имени.

— Налить? — спросила она, интимно подавшись ко мне.

Я кивнул, хотя пить желания не было. Буфетчица уверенно выставила рюмку на стойку, точно выводя пешку в ферзи, плеснула водки. Шепнула что-то. Крестьянин молча цедил пиво, глядя на мешок. Я придвинул рюмку, украдкой косясь на буфетчицу. На ум пришла история французского драгуна и вдовы с улицы Траншэ — у всего своя цена, мадам, одна рюмочка стоит два су, а две — четыре. Я выдохнул и залпом влил в себя теплую водку.

Без содрогания вообразить, что полторы недели назад у меня действительно было «что-то» с этой неряшливой пузатой теткой, я не мог. Вопреки этому еще до наступления темноты я очутился у буфетчицы дома, в ее спальне. Более того — в ее кровати, среди скомканных простыней и мятых подушек. Липкий и потный, я лежал на влажном матрасе, придавленный ее горячим и большим телом.

Спальня — без окон, она была не больше кладовки и не шире гроба. Раскинув руки, я запросто мог дотянуться до обеих стен. На прикроватной стене висел ковер с рогатыми оленями, гуляющими по солнечной поляне. Вокруг поляны рос дремучий лес, за ним на романтическом утесе белел рыцарский замок с башнями. Мои пальцы гладили гордых животных, больше всего мне хотелось умереть прямо сейчас.

— Не егози! — строго шептала буфетчица. — Как кроль прямо.

Она наваливалась. До боли стискивала бедра, останавливая мои судорожные движения. Панцирная сетка кровати мучительно стонала. Матрас, казалось, был набит колочей соломой вперемешку с речной галькой.

— Смирно лежи, — жарко выдыхала она, медленно оседая на мне. — Сама я. Сама.

С простой солдатской тумбочки пыльной лампой светил ночник, похожий на коренастый гриб-боровик под алюминиевой шляпкой. На ножке проступало полустертое клеймо — немецкий орел с венком в когтях. Свастику кто-то соскреб. Я задышался, шумно втягивая воздух сквозь зубы, неумолимо приближался к сладострастной агонии. Смесь похоти и стыда, отвращения пополам с вожделием — животным,

скотским — увы-увы, концентрация явно не дотягивала до летальной: выражение «умереть от стыда» оказалось очевидным преувеличением.

— *Делай тут!* — буфетчица прижимала мои ладони к своим скользким от пота грудям. — *Делай! Делай!*

Я делал — послушно мял ее огромные груди, бледные и мягкие, как свежие булки. Тискал и сжимал пальцами соски — она постанывала неестественно высоким, каким-то девчачьим голосом и повторяла — *делай, делай!*

Когда все закончилось, она соскочила с кровати, босая протопала в коридор. Там шумно, точно в пустое ведро, загремела вода. Я вытянул из-под себя простыню, кое-как прикрылся. Она вернулась, бодрая и живая, мокрые волосы на лобке напоминали спутанный клубок медной проволоки.

— *Что за маскерат?* — она произнесла это слово через «е» с «т» на конце и слернула с меня простыню.

Непроизвольно я прикрылся ладонью. Буфетчица засмеялась, закурила. Нашла какую-то чашку с кровавым отпечатком губной помады по краю, стряхнула пепел шелчком. Поставив чашку на тумбочку, приблизилась вплотную к кровати. Затянулась, бесстыже разглядывая меня сверху. Она возвышалась как колокольня, как крепостная башня: мощные лошадиные ляжки, белый живот, рыжий пук на лобке.

— *Не дрейфь,* — выдохнула слова с дымом. — *Трогай!*

И бедрами подалась вперед. Я послушно выставил руку, прижал ладонь к ее животу. Он был теплый и совсем мягкий, точно грелка с водой.

— *Ниже...*

Моя рука поползла, коснувшись волос, остановилась.

— *Ниже...*

Неожиданно я вспомнил ее имя — Лайма. Лайма! Двинуть вниз руку было вне моих сил, нечто похожее я испытал давным-давно на похоронах деда: сперва бабка и отец, потом мать, а после даже Валет подходили к гробу и целовали мертвеца в лоб. В сизый, как яичная скорлупа, лоб. Тогда я подумал, что если меня заставят это делать, то я, скорее всего, умру — от страха, разрыва сердца или от чего там еще умирают в таких случаях. К счастью, обо мне тогда никто не вспомнил. Кладбищенский эпизод стал сюжетом ночных кошмаров, снился он с незначительными вариациями, обычно родня тянула или толкала меня к гробу. Но даже во сне поцеловать покойного деда мне не удавалось — всякий раз в миллиметре от сизого лба я просыпался.

— *Не надо...* — пробормотал я, убирая руку. — *Потом. Не хочу сейчас.*

Я натянул на себя простыню, холодную и влажную.

— *Не хочу?* — повторила буфетчица. — *Кралю свою забыть не можешь?*

Я дернул плечом — мол, вот еще.

— *Снова к ней пойдешь,* — не спросила, сказала утвердительно Лайма. — *Снова пойдешь.*

— *Не собираюсь даже.*

— *Врешь.*

— *Пойдешь-пойдешь,* — она злорадно вдавила окурок в чашку. — *На брюхе поползешь.*

Села на край кровати. Торопливо я отодвинулся к стене, скосив глаз на мраморную ляжку. Буфетчица наклонилась, от нее воняло табачной кислотой, а к поту примешивался приторный дух, «Дзинтарс» — узнал я — такими же душилась мать. В моем горле шершаво застрял ком. Лишь бы не целовала, господи, только не целоваться.

Целовать она не стала, погладила по щеке ладонью.

— *Эх ты,* — сказала. — *Ты знаешь, кто дед твоей крали?*

— *Знаю,* — я вспомнил мрачного старика в телеге. — *Видел даже. Носатый хрыч такой.*

— *То другой — Марутин отец, Эдвардс. Хутор его на озере, на Лаури. За Висельной горой. А я про Кронвальдса.*

— Про фашиста?

— Фашиста, — передразнила она, — половина Латгалии в фашистах была. А после войны — в лесных братьях.

— Ее дед тоже?

— И дед, и... — буфетчица запнулась, прислушиваясь.

За стеной кто-то тихо заблеял, завозился. Лайма быстро поднялась, шлепая босыми пятками, вышла. Приглушенно из-за стены донесся ее голос, похожий на куриное квохтание, потом снова кто-то заблеял. Прижав ухо к ковру, я прислушался: овец она там держит, что-ли.

Буфетчица вернулась, молча легла рядом. Закурила, выдула дым в потолок, зло стряхнула пепел на пол. Затянулась, выдохнула дым. Снова затянулась. Тишина постепенно стала невыносимой.

— Лайма...

Я тронул ее руку, осторожно, мизинцем. Она мрачно пялилась вверх, сосредоточенно, будто над нами висело звездное небо с интересными созвездиями и галактиками. Мы лежали плечом к плечу, тесно прижавшись. Как пара селедок в банке. За стеной снова послышалась возня, кто-то тихо зачмокал.

— У тебя там овцы? — спросил, хмыкнув. — Да?

— Нет, — она затянулась. — Бабка моя.

Мне стало душно, я почувствовал, как лицо наливается жаром — вот ведь стыд, ведь старуха там все слышала. Как мы тут... И кровать, кровать эта проклятая, и стоны всякие — вот ведь срам, господи!

— Глухая она, — угадала мои мысли буфетчица. — Ей почти сто лет. Хочешь?

Она подставила окурок к моим губам, я вытянул шею и затянулся. Потом еще раз.

— погоди, еще дай, — глубоко вдохнул в третий раз.

Я не курил две недели, пока болел. От трех глубоких затяжек голова поплыла: каморка качнулась, темный потолок наклонился, хворый свет ночника оказался почти янтарным, почти волшебным. Стыд сменился безразличием — старуха-то, поди, совсем глухая. Да и какая разница, если разобраться, какая разница.

13

Пока я болел, Валет, боясь заразиться, ночевал на раскладушке в коридоре. С моим выздоровлением карантин закончился, брат вернулся на свое законное место, но раскладушка, обычно обитавшая на антресолях, так и осталась стоять у дверей в нашу комнату. Именно на нее я и налетел в потемках.

— Басурманы! — рявкнул из родительской спальни отец. — Ну что там еще?

— Раскладушка, — ответил я шепотом. И повторил громко: — Раскладушка!

Валет тоже не спал, читал.

— Ты в курсе, который час? — спросил он, не отрываясь от книги.

— Ты мне не сторож, — ответил я, брат шутки не понял, посмотрел на меня поверх книги.

Ремарк, «Триумфальная арка», я ее читал года два назад.

— Слышь, Чиж, — начал он, и мне сразу стало ясно, что ему от меня что-то нужно.

— Ну? — спросил.

— Инга — кто это?

Я как раз стягивал свитер через голову, так и застыл.

— Кто тебе про нее сказал?

— Да ты сам — когда болел. Инга, Инга, — кричал, не смейте...

Он вдруг осекся, после паузы растерянно произнес:

— У тебя вся спина исцарапана...

— Где? — Я сорвал свитер вместе с майкой, вывернул шею, безуспешно пытаюсь разглядеть спину через плечо.

— Это кто тебя так?

— Сильно?

— Ну!

Неожиданно выяснилось, что у нас в комнате нет зеркала.

— Это она? — спросил Валет. — Инга?

Спросил чуть ли не с почтением. Я продолжал крутиться, как пес за своим хвостом. Разглядеть раны мне так и не удалось, рукой я, правда, нащупал шершавые царапины. Они совсем не болели.

— Нет. Не Инга, — я сел на край своей кровати. — Лайма это.

Валет даже приподнялся. Не сводя с меня взгляда, закрыл и отложил книгу.

— Ну ты... — он сглотнул и вытер рукой губы. — Лайма... А это кто? Ты и с ней? Тоже?

Неожиданно в темном окне я увидел свое отражение: свет от лампы лился сбоку, желтоватый и теплый, он не оставлял полутеней, а тени, глубокие и мягкие, словно из бархата цвета горького шоколада, сливались на стекле с ночью на улице; но главное, я не узнал себя — так бывает, если посмотреть на свое отражение через второе зеркало. Полуголый, с всклокоченными волосами, в оконном отражении я напоминал больного фавна с картины Караваджо. Или то был пьяный фавн?

Словно боясь вспугнуть видение, не поворачиваясь, даже не шевелясь, я ответил брату:

— Лайма взрослая. Ей, может, лет двадцать пять. Или даже двадцать шесть.

Валет шумно вдохнул. Выдоха я не услышал. Произнесенные вслух цифры предполагаемого возраста моей буфетчицы ошарашили и меня. Выходит, что когда ей было столько, сколько сейчас мне, я еще толком не умел читать, мог написать всего несколько простых слов, да и то исключительно печатными буквами, корявыми, как следы вороньих лап на сырой глине; я еще мог запросто напрудить в постель, не умел за столом держать нож в правой, а вилку в левой руке, да и росту во мне было не больше метра, не говоря уже про размер ноги и всех остальных частей тела. Да, когда я, пухлый и розовый, как гуттаперчевый голыш, собирал в полосе прибрежья черноморские ракушки и сухие крабы клешни или спасался в московском зоосаде от гиппопотама, моя буфетчица уже красила губы, самостоятельно ходила в кино и на танцы, пробовала курить, пила вино и пьянела, училась целоваться с латышскими подростками, завивала свои морковные кудри на бигуди и выбирала правильный размер бюстгалтера в секции женского белья.

— Двадцать шесть? — донеслось из другой галактики. — Чиж, это ж... это...

— Что? — машинально спросил я.

— Это ж... — брат продолжал запинаться. — Это... Это как если б ты играл в футбол во дворе, а тебя вдруг пригласили — и не в сборную Кройцбурга или Риги, и даже не Латвии или Советского Союза, а в сборную Бразилии. Бразилии! Ты, считай, попал в команду с самим Пеле!

Его метафора показалась мне преувеличенной, но спорить я не стал. Ведь если начистоту, то я не припомню, чтобы Валет говорил со мной, как с равным, — без обидных издевок и дурацких подначиваний, без высокомерного хамства. Скажу больше, сейчас в его интонациях слышалась подобострастная вежливость, чуть ли не желание угодить: так он подлизывался к бате, выпрашивая разрешение погонять на отцовском мотоцикле. Или взять его на рыбалку.

— Лайма, — задумчиво улыбаясь, произнес брат.

К тому же история с буфетчицей и в моем сознании начала поворачиваться новым боком — весьма неожиданным. Липкий опыт первого соития — формула позора: унижение, помноженное на страх и брезгливость, разделенное на похоть. Когда в памяти всплывали те картинки, те запахи или звуки, мне хотелось кричать, как от приступа боли в пыточной камере. Но ведь Валет не имел ни малейшего представления

об этом. Он никогда не видел и объекта моего сладострастия: ни мочалки морковного цвета, ни ветхого лифчика, ни жирных красных губ. Ни розового рубца от резинки, оставленного на мертвенно-бледной коже живота.

С медлительностью истинного вдохновения на меня снизошла благая весть — я мог прямо тут и прямо сейчас создать свою Лайму! Да — в нашей спартанской спальне, украшенной физической картой полушарий и эстампом Рокуэлла Кента, с двумя солдатскими койками и парой простых сосновых столов. Как господь-творец, я обладал глиной знания, как великий Леонардо или Сандро Боттичелли, я владел красками опыта. Разумеется, палитра моя скудна, а опыт куц. Но фантазия, моя безотказная помощница, оживит недостающие оттенки, добавит убедительные нюансы.

В моей душе стая иссиня-черных серафимов расправила стальные крылья, поднесла к губам сияющие трубы.

— Лайма? — повторил я тихо и начал говорить.

Сперва не очень уверенно, косноязычно, почти наощупь, — Валет воспринял это как застенчивость и поначалу даже понукал — мол, мы братья, какие секреты промеж братьев, — но постепенно, слово за словом, фразу за фразой, я набрал высоту и лег на крыло. Я парил. Уверенность, упругую мощь полета — вот что я испытывал. Клянусь, я понял, в какие небеса возносился виртуоз Паганини или пушкинский поэт-импровизатор.

И не важно, что творение мое не отличалось логикой повествования и убедительностью композиции, нестыковки и шероховатости добавляли веры — ведь жизнь никогда не производит идеально сработанный продукт. Не правда — лишь безупречная лож всегда идеально залакирована. Швы да заклепки — свидетельство аутентичности.

Моя Галатеея рождалась спонтанно, на манер джазовой импровизации или пляски колдуна, ее образ корежили метаморфозы: начал я со смутной греческой рабыни с мальчишеской грудью, добавил озорной взгляд, сладострастные губы (да-да, пухлые и мокрые).

— А где? А как?? — перебивал меня Валет, грубый материалист, чуждый визуального наслаждения. — Где ты ее снял? Как подцепил?

Я отмахивался — да погоди ты! — мне важнее было слепить упоительный образ, чем заполнить протокол прелюбодеяний. Погоди!

Субтильной рабыне явно не хватало огня — я добавил огня: теперь она превратилась в крепенькую танцовщицу с мускулистыми ляжками — все это я видел в цирке на Цветном бульваре — канат в перекрестье прожекторов, мощные икры в сетчатом трико и чумадые пятки балетных тапок.

Одновременно я перебирал варианты — где? Буфет автобусной станции исключался. Где еще? Н улице — пресно. На танцах — банально. Где?

— В костеле. — произнес я торжественно и тихо. — На том берегу.

Выдержал паузу, конструируя реальность.

— Увидел ее на углу Дзинтари, она шла от пожарной станции, где каланча, по Петрис. После через церковный парк. Я следом. Поднялся по ступенькам в костел. Ну там орган и все такое...

— Подробней!

— Ну что — служба там. Поп на трибуне что-то бубнит — то ли по-латыни, то ли по-латышски. Народу было немного, я сразу разглядел ее.

Я продолжал врать, сочиняя на ходу детали, именно они должны были вдохнуть жизнь в мою историю: цвет ее платка (васильково-синий в желтый горох), родинка над губой (как черная дробинка), жест плавной руки — тонкие пальцы, малиновые ногти.

Валет слушал не просто внимательно, впитывал каждую фразу, точно от этого зависела его жизнь. Ключевые слова он иногда повторял вслух, иногда лишь беззвучно шевелил губами. События моей саги, компенсируя неубедительность сюжета динамикой повествования, перенеслось из костела в парк, оттуда, сквозь кладбище, вырвалось на крутой берег Даугавы. Там мы слились в страстном поцелуе, целиком срисованном из

франко-итальянских фильмов с участием Лоллобриджицы, именно в этом месте моя Лайма стала уверенно приобретать величавую статью порочной девы. Из маленькой чертовки она превращалась в inferнальную красавицу, гордую, как испанская королева, и похотливую, как Мессалина. Стремительным вихрем буйного воображения мы уже врываются в ее сумрачный будуар, написанный двумя точными мазками — янтарный полумрак и мягкий бархат. Да-да — цвета запекшейся крови.

Валета, круглого отличника в точных науках, разумеется, интересовала техническая сторона.

— А как? Как попасть? Как?.. — он пальцами иллюстрировал вопрос. — Наощупь?

— Не знаю, — чистосердечно сознался я. — Она все сама сделала.

Единственная правдивая фраза, произнесенная за вечер, сразила Валета. Он замолчал, указательным пальцем вытер пот над верхней губой.

— Она же взрослая... — зачем-то добавил я, будто оправдываясь.

Мы посидели молча, потом брат спросил:

— А не больно? Ну все это дело... — кивнул мне. — Вишь, как она тебя исполосовала.

Я пожал плечами.

Эйфория вранья постепенно проходила, стало обидно, что единственный раз расположение брата мне удалось выудить обманом. На эстампе Рокуэлла Кента по стеклянной глади океана на фоне апельсинного заката плыл эскимос в каноэ. Он был абсолютно одинок, если не считать пары айсбергов на горизонте. Я стянул штаны и залез под одеяло.

— Ладно, — сказал. — Давай спать.

Валет послушно выключил свет. Мы молча лежали в темноте, я слышал, как он сопит и ворочается. С вокзала долетало бормотание диспетчера в репродуктор, ветер относил куски фраз, и казалось, что кто-то балуется с ручкой громкости. Я тоже не мог заснуть, от моих пальцев разило буфетчицей, это был терпкий звериный дух, больше всего мне хотелось залезть под душ. Или хотя бы вымыть руки с мылом. Сам не знаю почему, я продолжал снова и снова подносить к лицу ладони и вдыхать этот пряный луковый запах. Зачем я это делаю? Зачем я придумал всю эту дурацкую историю? Зачем? Подразнить Валета, поиздеваться над ним? И чем же я в таком случае лучше (ведь я считаю себя добрее, благородней и честней) — ведь он поступал так со мной всю жизнь. Считаю его подлецом, а сам-то, сам, поступил таким же манером при первой возможности.

Крепко сжав кулаки, я вытянул руки по швам. Зажмурился.

— Чиж, — позвал Валет тревожным шепотом.

— Ну?

— Так если ты с этой... с Лаймой, — он прочистил горло, — выходит, другая-то свободна?

— Кто — другая?

— Инга. Или у тебя еще кто-то есть?

14

Когда мы с Валетом добрались до озера, отец уже готовил снасти. Его мотоцикл стоял на пригорке, бесстыже сияя баварским хромом. Наши велосипеды мы бросили рядом, в траву. Бегом спустились к берегу.

Отец вывалил на брезент плащ-палатки содержимое рюкзака — банки с крючками, поплавки, катушки лески, колокольчики для донок. В жестянках из-под леденцов лежали свинцовые грузила всех калибров — от дробинки до увесистых чушек. В коробках с прозрачными крышками хранились сверкающие блесны, похожие на затейливые дамские украшения, — эти были привезены из Германии и ценились на вес золота. В пенале блестели стальные поводки — их используют вместо лески, чтобы щука или сазан не смогли перекусить. На траве рядом лежали три удочки и один

спиннинг. В банке из-под бразильского кофе под жестяной крышкой, пробитой гвоздем, как решето, ожидали своей участи черви. Червей мы накопили накануне, за огородами.

Батя к рыбалке относился серьезно. Почти так же как к бильярду. Мы с братом знали про это и вели себя степенно.

— Два места прикормлены, тут и вон за теми камышами, — отец по-военному прямой рукой указал направление. — Где мостки. Забрасывать вдоль, поближе к осоке. Там яма, мы с Куцым промеряли с лодки, спуск — метра три с половиной. Чтoб у самого дна.

— Ясно! — Валет схватил удочку.

— Погоди! — Отец, сидя в траве, натягивал болотные сапоги. — Я привязал тройники, восьмой номер, червя насаживать бантиком, как учил.

— На леща? — спросил я.

— На леща, — отец встал, подтянул голенища. — На той неделе ребята тут дюжины полторы натаскали. Красавцы, грамм по восемьсот. Чешуя с пятак.

Он говорил вкрадчиво и негромко, словно лещи могли нас подслушать.

Отец с братом ушли. Я сел на плащ-палатку. От травы тянуло сыростью, пахло лесной земляничкой. Остатки утреннего тумана выползали из орешника на озеро, туман неспешно плыл по матовой темной глади и так же неспешно таял. Солнце не встало, оно еще пряталось за лесом. На том берегу, крутом и диком, к озеру подступал сосновый бор. Гордые мускулистые деревья с рыжими стволами топырили разлапистые ветки над самой водой. Из песчаного обрыва торчали черные корни. Наш берег, пологий, с белым полумесяцем пляжного песка, плавно уходил в синеватое стекло воды.

На плащ-палатке валялась отцовская кожанка, я пошарил по карманам, нашел сигареты и зажигалку. Пачка была почти полной, я, чуть поколебавшись, вытянул одну. Чиркнул зажигалкой и закурил.

Сунув руки в карманы штанов, я побрел вдоль берега.

Отец рыбачил неподалеку. Он стоял метрах в десяти от берега, у кромки камышей. Вода доходила почти до края голенищ его болотных сапог. Солнце поднялось, и теперь озеро казалось ярко-голубым. Иногда по воде пробегала рябь, серебристая и звонкая, похожая на рассыпанную мелочь. Отец держал удочку одной рукой, другая — картинно, как на фламандском портрете, лихо упиралась в бок. Я невольно залюбовался. Волосы, туго зачесанные назад, верблюжий свитер цвета какао, цейсовские солнечные очки с зелеными стеклами в черепаховой оправе — он запросто мог рекламировать летний отдых на озерах советской Прибалтики.

Отец, точно ощутив мой взгляд, оглянулся.

Я знал — шуметь нельзя, поэтому сделал вопросительный кивок — клюет? Отец ладонью поманил меня. Низким и ровным голосом, каким говорят в купе, когда кто-то спит на верхней полке, он сказал:

— Сумасшедший клев. Шесть голавлей, один, гад, сошел. Два леща — по килограмму. Представляешь?

Он показал на садок, привязанный к ремню. Содержимое скрывалось под водой, но я уверенно выставил вверх большой палец — класс!

— Чиж, будь другом, сгоняй на хутор за червями, — тем же низким голосом проговорил отец. — Хозяина зовут Эдвард, вежливо попроси — понял?

Я снова кивнул и уже собирался идти.

— Погоди!

Я оглянулся.

— Червей копай у хлева! У хлева — понял? Старик покажет.

— Понял-понял! — махнув рукой, я помчался к нашему бивуаку.

Там уже был Валет. Завидев меня, он гордо поднял садок, набитый крупной рыбой, — стальная чешуя, темные спины, розовые плавники.

— Батя за червями просит сгонять, — крикнул я. — На хутор.

— У меня тоже кончились. Видал? — он потряс садком, от него пахло озерной водой и водорослями. — Ты что, купался?

Я провел ладонью по влажным волосам. Сквозь ячейку садка на меня глядел чей-то круглый желтый глаз с черной дробинкой зрачка.

— Шесть лещей! — брат зашел на мелководье, опустил садок с рыбой в воду. — Охренеть, какой клев. Шесть...

Он нашел толстый сук, налегая грудью, вкрутил его в прибрежный песок, привязал веревку садка. Узлы он научился вязать мастерски, настоящие морские; он считал, что на экзамене в летно-морское училище его запросто могут попросить завязать какой-нибудь «двойной питон» или «грейпвайн».

— По коням! — гаркнул Валет, на ходу запрыгивая в седло велосипеда.

Едва приметная тропа шла вдоль берега. Гнать на велике по такой — сплошное удовольствие: тропинка виляла, взлетала на пригорки, ухала в низины. Мы с ветром промчались сквозь рощу. Пересекли пару ручьев — вода из-под колес брызнула хрустальным веером. Выскочили на проселок. Ржавый указатель «Лаури Эзерс 0,5 км» был пробит крупной охотничьей дробью. Из-за зеленого горба в кляксах красных маков показались неопрятные серые крыши хутора. Прижавшись подбородком к ледяной стали руля, я рванул вниз по грунтовке. Валет тоже жал вovsky. Он мчал стоя, выставив вверх свой тощий зад и неистово крутя педали, но я все равно обошел его на спуске.

Мы затормозили, лихо подняв тучу дорожной пыли. Низкая изгородь была сложена из дикого камня. Круглые валуны притащил сюда ледник в какую-то мезозойскую эру, латышские крестьяне, расчищая поля для пахоты, собирали булыжники и мастерили такие стенки. Их можно встретить по всей Латгалии. Сооружения имеют скорее декоративную, нежели защитную функцию, перемахнуть через такую стену — раз плюнуть.

За вишневыми деревьями виднелся приземистый дом из толстых сосновых бревен. Окна, узкие, точно глаза прищуренные, были похожи на бойницы. Перед крыльцом по двору гуляли куры-пеструшки. Птицы что-то томно клевали под присмотром петуха, черного, как цыган, красавца с огненным гребнем. На ступенях, в сиреновой тени, спал черный пес. За домом виднелись другие постройки, поменьше. Дальше зеленели огородные грядки, за огородом открывалось поле с одиноким тучелом. Людей видно не было.

— Пошли? — Валет ловко спрыгнул с велосипеда.

— Собаку видишь?

— Да ну — собака. Кабыздох, — он пошел в сторону дома, держа велосипед за руль.

Я пошел следом. Велосипедный звонок жалобно позвякивал. Пес продолжал спать, куры тоже не обращали на нас внимания, нагло клевали из-под самых ног. Мы были на середине двора, когда дверь открылась и на крыльцо вышел хозяин. Узнал я его сразу — это был гриф, стручок, короче, дед Инги. Пес проснулся, зевнул всей клыкастой пастью. Старик, звучно топая, спустился по ступеням — на нем были те же гигантские сапоги. В офицерских галифе на подтяжках и исподней рубахе он напоминал дезертира.

— Свейки! — Валет остановился. — Нам бы червей...

— Накопать, — продолжил я. — У хлева...

— Если можно... — закончил Валет.

Старик разглядывал нас молча, мрачно. Остановил взгляд на мне, похоже, тоже узнал. Глаза у него были такие же как у Инги, совсем светлые, только вылинявшие, цвет вроде молока с водой.

— Нас отец прислал, он там, — я неопределенно махнул рукой в сторону. — На озере. Рыбачит.

— Отец, — повторил старик, хмуро спросил. — Кто?

— Летчик... — я запнулся. — Краевский. Фамилия...

Дед точно проснулся, мохнатые седые брови полезли на лоб.

— Краевский! Пан Сережа! — он засмеялся. — Пан капитан! Краевский! Вы есть мальцы пана капитана?

Мы закивали. Старикан бодро хлопнул в ладоши, повел нас в глубь усадьбы. У высокого амбара, распаханного настезь, стояла знакомая грустная лошаденка. Амбар был наполнен коричневой темнотой, пронзенной косыми лучами солнца. Дед, потирая руки, хихикая и помигивая всем лицом, повел нас дальше.

— Вот! — Он остановился у хлева, из кучи прелой соломы торчала лопата. — Прима класс черви! Копай тут, мальцы!

Червей оказалось много, жирных, блестящих, шустрых. На таких не то что лещ, судак с радостью пойдет, голавль даже. Брат втыкал лопату, подцепив пласт бурой соломы, переворачивал. Я вытягивал червей, складывал в консервную банку. За стеной хлева ворочались свиньи, сердито хрюкали. Напоминало это семейную перебранку. От хлева начиналось картофельное поле, за ним сверкал круглый пруд. На берегу стояла бревенчатая избушка с рыжей кирпичной трубой, должно быть баня.

— Все! — Валет смачно воткнул лопату. — Пошли!

Латыш сидел на ступенях крыльца, курил. Пес кемарил, пристроив мохнатую голову на сапог деда. Мы поблагодарили старика, тот кивнул, шуряя от солнца и табачного дыма. Я взялся за руль, лихо запрыгнул на велик. Валет неожиданно ткнул меня в спину, я чуть не потерял равновесие и не грохнулся.

— Ты чего? — обернулся. — Соображаешь...

Обернулся и застыл. Меня точно долбануло разрядом тока.

По садовой тропинке из тенистого сумрака вишневого сада шагала Инга. Она направлялась к нам, кружевная тень от вишневых деревьев скользила по ее волосам, по лицу, по летнему платью — желтому в крупный белый горох. Тот желтый был ярче цветка майского одуванчика.

Валет шумно вдохнул.

Я наоборот дышать перестал, сдвинул резиновые ручки руля и выпрямился. Инга прошла мимо, совсем рядом, но не приостановилась даже на секунду — прошла быстро, задержав взгляд на брате, по моему лицу скользнула, как по пустому месту. Она уже успела загореть, а челка выгорела почти в белое. Платье было на бретельках, чуть тесное в груди, ее круглые плечи отливали апельсиновым или мне так показалось, как тогда — на острове год назад. Инга взбежала по ступеням, ловко пропыхнув мимо старика. В черном дверном проеме вспыхнуло желтое, мигнули горошины, мелькнула смутная спина с перекрестьем белых лямок. Дверь, звякнув замком, закрылась. Все.

В себя я пришел только на подъезде к озеру. Минут десять начисто выпали из жизни. Не знаю, случилось ли такое с вами, со мной приключилось впервые. Да, мой мозг словно заклинило, как от короткого замыкания: я не думал ни о чем — совсем, в голове не промелькнуло ни одной мысли. Там пульсировала боль. Боль раздирала мою грудную клетку. От такой боли хотелось орать, выть, хотелось биться лбом в сухую глину тропинки, в крепкие стволы берез. Хотелось расколотить голову, убить себя — все что угодно, лишь бы избавиться от этой муки. Отделаться от этой проклятой боли.

Я не видел ни дороги, ни травы, ни деревьев. Ничего. К тому же, оказывается, я гнал, как сумасшедший. Об этом сообщил запыхавшийся Валет, поравнявшись со мной.

— А ты видел... — он дышал часто, налегая на педали, — ...видел? Она ж... без лифчика... там, под платьем. Видел?

Отец ждал нас. Он копался в коробке, перебирал крючки. Болотные сапоги валялись рядом в траве, отец сидел на плащ-палатке по-турецки поджав под себя ноги в толстых шерстяных носках.

— Сошел, басурман! — Отец поднял голову. — Полтора кило, не меньше.

— Лещ? — Валет на ходу соскочил с велика.

— Не лещ! Зверь! Поплавок положил, все как положено. Я жду — поплавок лежит.

И ни гугу. Ну, думаю, тебе меня, мерзавец, не перехитрить — ну уж нет! И в этот самый момент...

Отец еще минут пять описывал схватку с лещом, я не слушал. Я пытался понять, что случилось там, на хуторе. Ведь с Ингой — все. Все! На Инге ведь поставлен крест: она меня, считай, предала, из-за нее я чуть не загремел в каталажку, благодаря ей я связался с той чертовой буфетчицей.

— Подсекаю, аккуратненько так... — обрывки фраз долетали до меня из параллельной вселенной. — Начинаю выводить, все в ажуре — алпор три креста, а тут удочка в дугу...

Ведь я даже не вспоминал о ней! Не вспоминал? — вот тут ты врешь, врешь! Пытался не вспоминать, запрещал думать — вот. А почему, почему? Больно потому что. Больно? Да что ты тогда знаешь про боль? Дурак! Сопляк!! Вот сейчас там на хуторе — вот это боль! Настоящая боль.

— Держу леску в натяг, слабину дашь — все, считай, капут — сойдет точно. Лещу, ведь что, лещу главное воздуху дать плотнеть, от воздуха он дурет, лещ-то, и уж тогда тащи его, любезного...

Ладонью, плоской и сильной, отец изображал леща — как его надо выводить на поверхность воды. Валет, приоткрыв рот, слушал жадно, непроизвольно повторяя отцовские жесты своей ладонью.

— А черви-то, черви где? — спохватился отец. — Ага! Ну-ка, ну-ка... Ну, красавцы... Старикан сам как? Эдвард? На обратной дороге заскочу к нему, поблагодарить деда надо.

— Можно мы с тобой? — Валет покосился на меня, подмигнул.

Рыбачили еще часа три. Я тоже взял удочку, пошел на мостки. Поначалу клевала всякая мелочь, удалось вытащить пару плотвиц и одного подлещика, жалкого, с ладонь. С запада на небо напозала сизая муть, не облачность, какая-то седая пелена, похожая на морщинистую слоновью шкуру. Озеро тоже помрачнело, оловянная поверхность казалась матовой. В воде не отражалось ни небо, ни деревья — ничего. Сосновый бор на том берегу тоже потемнел и стал плоским. Птицы притихли. Воздух замер и словно загустел.

Стало душно, я стянул свитер, остался в майке. Струйки пота щекотно соскальзывали по спине. Руки затекли, внутри — от плеча до кончиков пальцев — сновали обезумевшие мурашки. Я положил удочку на доски мостков.

Выходит, с Ингой не кончено — вот выходит что. Но теперь вместо того сумасшествия, в котором я жил после встречи с ней, то тлеющего, то взрывающегося безумия, состоящего из огнеопасной смеси неумной страсти, ненасытной похоти, обожествления и преклонения, отчаянья и восторга, мое существо наполнилось одной лишь болью. Тяжкой невыносимой тоской, которая просто не вмещалась во мне. По самое горлышко я будто был залит тягучей и холодной жижей, мертвой и черной, как лесное болото.

Я сплюнул в воду. К шлевку бросились мальки, шустрые и прозрачные, точно из стекла. Слюна была розовой — я сам не заметил, что искусал до крови нижнюю губу. Вытащил удочку, крючок оказался пуст. Достал из воды садок, вытряхнул рыбу обратно в озеро. Плотвицы юркнули на глубину, подлещик сонно трепыхнулся и медленно всплыл. Лежа на боку, он укоризненно таращил на меня мутнеющий глаз. Я подошел к краю мостков, опустился на корточки, разглядывая умирающую рыбу. Рыбу, которую я убил.

15

Валет и отец беседовали со стариком. Они стояли у крыльца, отец что-то рассказывал, азартно помогая себе жестами. Что-то изображал своей плоской пилютской ладошкой. Валет иногда встречал, поддакивал. Как же они похожи, подумал я, слезая с велосипеда. Старик-латыш кивал носатой головой с плоским выбритым затылком. Иногда он сишло похотывал, точно икал. Инги не было.

На меня внимания не обратили, отец закончил историю и все трое засмеялись — брат с отцом почти в унисон, после и латыш заухал как сыч. У его ног валялся мешок защитного цвета, из него торчал кусок белой капроновой тряпки.

— Парашют? — я слегка пнул мешок.

— Вот Эдвард предлагает лещей наших закоптить, — отец повернулся ко мне. — Холодного копчения, как тебе? Или горячего?

Я пожал плечами, старик оживился:

— Ну! За ночь закопчу, завтра твои малыцы заедут — заберут.

Потом мы оказались в сарае, который старик называл мастерской. Там действительно стоял верстак, а на стене висели ржавые пилы, но помещение все равно все-таки больше напоминало кладовку. Тесную и пыльную, забитую до потолка всевозможным хламом. Хлам по преимуществу был военного свойства: оружейные ящики, патронные цинки, несколько сумок с противогазами, пара летных спасательных жилетов, в углу чернели резиновые покрышки от миговских шасси. У стены сиял алюминием подвесной топливный бак — если такой аккуратно распилить вдоль, то получится сразу два каноэ. Или же, если половинки скрепить между собой, выйдет отличный катамаран.

— Зачем ему парашют? — вполголоса я спросил у Валета.

— Вишню накрывать. От птиц. Клюют, говорит, не успевают созреть ягода.

Старикан резал копченую корейку самодельным тесаком страшноватого вида. Он уже выставил на верстак литровую бутылку и пару граненых стаканов. На газете лежали порубленная на дольки красная луковица и толстые ломти черного хлеба домашней выпечки.

— По мне, пан капитан, любая власть... — он воткнул нож в дощатую стену над верстаком, — чего уж там. Как есть.

Лезвие ножа было темным, с рыжеватой ржавчиной ближе к ручке. Отец хмыкнул, вынул из кармана курево, угостил латыша. Тот бережно, двумя пальцами прихватив за золотой обрез фильтра, вытянул сигарету. Поднес к носу, шумно втянул воздух.

Старик взял бутылку, разлил по стаканам проворно и поровну. Подмигнул отцу, они вежливо чокнулись. Батя проглотил, зажмурился, выдохнул.

— Ну, Эдвард... — он помотал головой. — Ну...

— Качество! — гордо крикнул дед. — Мальцам налью?

— По грамульке, — отец любовно мастерил бутерброд, выкладывая на розовую корейку колечки фиолетового лука. — Им еще педали до дому крутить.

Дед окосел как-то сразу. Оживился, стал суетливым. Начал громко говорить, что-то рассказывать — с жаром. Выпивая, закусывая и куря одновременно. Суть улавливалась с трудом: дед вольно обращался с ударениями, да к тому же половина слов была на латышском.

Старик шлеп довоенные истории. Как он поехал в Ригу за отрезом «бостона» на выходной костюм, но бес его попутал, и Эдвард прогулял все деньги в борделе. В пыльное окошко сарая заглянуло закатное солнце. Наш деревенский натюрморт, расставленный по верстаку, внезапно позолотился, стал почти голландским. Засияли сухие столярные стружки, щедро вспыхнули гранями стаканы. На радужном боку корейки выступила слеза, в зеленоватом стекле на самом дне бутылки задрожал лимонный зайчик.

Сарай тоже преобразился, стал каким-то таинственным. По углам клубились коричневые тени, в косых лучах искрилась пыль, плыл табачный дым. Оружейные ящики, затянутые паутиной, казались теперь чуть ли не пиратскими сундуками, скрывающими награбленные сокровища. Время от времени я поглядывал в окно. По двору бродили куры-пеструшки. Инга так и не появилась.

На следующий день мы приехали с Валетом забирать копченых лещей. Эдвард коптил их всю ночь. Как выяснилось, коптил он их в бане. Гуськом мы прошли за

стариком меж клубничных грядок. Ягоды уже созрели, сияли красным лаком. Брат не удержался, украл спелую клубничину, быстро сунул в рот. Оглянулся, подмигнул мне.

В темной приземистой бане стоял горький дух сырой гари. В углу чернел чугунный котел. Под котлом была сложена первобытная печь, от сажи черные камни казались бархатными. Лещи, нанизанные на бечевку, продетую сквозь жабры, мерцали чешуей, тусклой, как старая бронза. Под черным потолком висели метелки каких-то жухлых трав.

— Крапива, — пояснил старик, снимая рыбу и складывая ее в мешок. — Для колеру.

Пару рыбин мы отдали латышу — так просил отец. Возвращались через огород, я шел последним, нес мешок.

— Чиж! — брат повернулся, показал рукой в сторону сада. — Она!

Инга, стоя на верхушке приставной лестницы, затягивала вишневые деревья парашютным шелком. На ней было то же платье, желтое, в белый горох. Парашютная ткань надувалась пузырем и медленно опускалась на макушки вишен.

Казалось бы — что может быть проще, чем спуститься с лестницы? — Инга превратила это в соблазнительную пантомиму, в легкий танец с участием солнечных пятен и теплого ветра. Причем вполне убедительно притворяясь, что не подзревает о нашем присутствии. Валет глазел не отрываясь, мне было слышно, как он сопит.

— Ладно, поехали! — Я зло ткнул его в плечо. — Поехали, поехали...

— Ага...

— Поехали! — Сжав кулак, я снова ударил его.

Брат оглянулся, посмотрел, точно я сошел с ума. Тут он не очень ошибаясь — до меня вдруг дошло, что она выставляет себя напоказ не мне и не нам, а именно ему. Ему! Я едва удержался, чтобы не врезать Валету в челюсть.

— Дурак! — Я бросил мешок с лещами брату под ноги.

Я схватил велосипед, пнул ногой колесо, звонок тихо звякнул. Уезжай, какого черта ты ждешь, немедленно уезжай! Нужно было уезжать, но я не мог — Инга наконец спустилась с лестницы. И она шла прямо к нам.

— Привет.

Она улыбнулась Валету, мизинцем закинула прядь со лба за ухо. Меня точно и в помине не было. Парашютный шелк вздулся белым пузырем над садом. Словно монгольффер, готовый к полету.

Все, что мне было известно про ревность, все, что я читал и слышал, оказалось не совсем правдой. На деле это оказалось гораздо больней. Больше всего мне хотелось кричать, нет, не кричать — орать, даже визжать, колотить кулаками, топтать ногами, биться головой в сухую землю двора, по которой гуляли безразличные куры. Очень хотелось ударить Валета, ударить изо всех сил прямо в лицо — по этой ухмылочке смазливой, и по зубам, по зубам! Мерзавец уже звал Ингу ловить раков на озеро. Обими руками я вцепился в руль велосипеда.

— Очень даже легко запомнить, — Валет лукаво прищелкнул пальцами. — Элементарно. Если в названии месяца нет буквы «р», то, значит, раков ловить можно. Апрель — нет, а май...

— А-а, — Инга кивнула и добавила интимно, — вода еще холодная.

— Не такая уж... холодная.

— А глубоко? Нырять?

— Метра два. Пустяки. В ластах.

— У меня нет.

— Я привезу тебе. Там резинка, на ластах, можно подрегулировать. Какой у тебя?

— Что?

— Размер какой?

— Ноги?

Она засмеялась, Валет тоже. Я рванул велосипед, поднял на дыбы, развернув на заднем колесе. На ходу запрыгнул в седло.

— Эй! — крикнула Инга мне в спину. — Лайме привет передай!

Я уже успел выехать на проселок. Дал по тормозам. Дальнейшее происходило без непосредственного контроля с моей стороны и напоминало одновременно взрыв, крушение поезда и извержение вулкана.

— Ты меня предала! — заорал я.

Велосипед мне мешал, я кинул его на дорогу.

— Предала! Меня арестовали! Ты думаешь, я не слышал? Не знаю этого человека! Отреклась!!

Мимо прокатил грузовик, в кузове гремели молочные бидоны. Шофер аккуратно съехал на обочину, огибая меня, он даже не посигналил. А я продолжал кричать и размахивать руками. Я метался взад и вперед, наконец, запутавшись в велосипедной раме, упал. Сидя в пыли, бил кулаком в пыльный асфальт. Мне очень хотелось плакать. Наверное я плакал.

Домой добрался на автопилоте. Всю дорогу кто-то в моей голове выкрикивал злые и обидные слова, он — этот кто-то — был остер, вот уж воистину — язык что бритва. Гораздо саркастичней и остроумней меня, особенно того, жалкого, сидящего в пыли. Ну и где ты был тогда, мой ядовитый друг?

Открыл беззвучно замок, проскользнул в прихожую. Закрыв дверь, прислушался. Отец уже был дома, с кухни доносился его красивый баритон, тянуло жареной картошкой. Я прокрался в нашу комнату, не снимая ботинок, забрался на кровать. Уткнулся в стенку. От этого стало еще хуже — в навалившейся темноте я ясно представил, что происходит сейчас там, на хуторе. После того, как они остались одни. Но ведь не мог я оставаться — не мог никак!

Картины, что демонстрировались внутри моей головы, отличались беспощадной четкостью и натурализмом. Физиологические нюансы показывались крупным планом — все волоски, капли пота, поры румяной кожи. Реальней любого кино — сплетенные тела, хищные руки, сладострастные рты. Я мычал, кусал костяшки кулака — все тщетно — кадры похотливой хроники сменяли один другой: ясно видел я, как торопливые пальцы путаются в застегках платья, да-да, того, желтого в белый горох; крепкая ляжка на фоне травы — сочной (какая-то услужливая сволочь для пущего реализма посадила стрекозу на изогнутый стебель). Видел запрокинутую голову, молочную шею, беззвучный стон на приоткрытых губах. Видел я и брата. Уверенного и ловкого, с глазами василиска. Хитрого хищника, алчущего лакомств.

Внезапная истина открылась мне — не ты попадаешь в ад, ад проникает в тебя. Ад заполняет каждую клетку твоего существа, каждую каплю твоей крови. Ты сам превращаешься в ад. От тебя прежнего не остается ничего — оболочка, шелуха. Вроде тех засохших личинок, из которых появляются бабочки. Но это другой случай — бабочек не будет. Будет бесконечная боль.

Господи-господи! Так и будет, только так! Я закрыл лицо руками, славил до боли глаза. Нет никакой геенны огненной, нет бесов и кипящей смолы. Не будет пред вратами ада толпиться ангелов дурная стая, ибо нет никаких врат. Нет никакого бурного Стикса под чернильным небом, нет баркаса душ и жилистого паромщика, нет рвов с кипящей кровью и демонов с баграми, нет и Стигийского болота, Злых Щелей, Горючих песков и Леса самоубийц. Ничего этого нет. А есть лишь ты. Ты и твой персональный ад.

Уснул я незаметно. И это не фигура речи — мое сознание плавно перетекло из одного состояния в другое, причем границы я даже не заметил. Та же комната, та же кровать. Во сне я продолжал лежать, закрыв лицо ладонями, колени утыкались в холодную стену. Мне по-прежнему виделся калейдоскоп из эротических сюжетов, разноцветно пестрых, солнечных. Порнографические картинки перемежались сценами из адской жизни, эти были мутными и монохромными — красными. Точно дело происходит в фотолаборатории. В густом малиновом небе носились гарпии, бесы стреляли из луков, черти помельче пороли грешников бичами.

Мне снилось, что Валет вернулся и уже спит.

Его профиль вырезан черным силуэтом на мышиной стене. Чеканный профиль, как на денарии императора Октавиана Августа — высокий лоб, крупный цыганский нос, крепкий подбородок. Я иду на кухню и возвращаюсь с ножом. Подхожу к спящему. Мускулистая шея, но кадыкастое горло нежно. Лезвие режет бледную кожу легко, как бритва бумагу. Почему-то нет крови. Брат умирает тихо, не просыпаясь.

16

Вопреки уверениям русских сказок про то, что утро вечера мудренее, я проснулся в том же состоянии агонии. Пытка продолжалась. Открыл глаза — перед глазами стенка, будто и не спал. Прислушался — на кухне бубнил «Маяк», мать каждое утро слушала их радиопостановки. «Театр у микрофона», кажется, называлось это.

Кровать Валета, безукоризненно заправленная — по-армейски, была пуста. Он уже ушел или не приходил вовсе? Будильник на его тумбочке показывал почти десять. Я спрыгнул на пол, подкрался к кровати брата, сунул руку под одеяло. Провел ладонью по простыне — холодная. Не ночевал, значит. Вот, значит, как. На кухне чванливый баритон неубедительно изображал аристократа, капризно обращаясь к кому-то «милостивый государь». «Неужели вы думаете, милостивый государь, что это сойдет вам с рук?» Выходит, Валет всю ночь был там. С ней.

Я вцепился в одеяло, сорвал его с кровати. Скомкал, бросил на пол. Схватил подушку, подкинул, вцепил ногой как по мячу. Подушка задела люстру и лениво плюхнулась в угол.

— Милостивый государь... — прорычал я, хватая будильник.

Бросок вышел хлесткий — будильник угодил прямо в эстамп, одинокий эскимос в каное брызнул осколками, рама упала на пол.

— Сойдет с рук, милостивый государь?!

Я пнул тумбочку, еще и еще раз. Она грохнулась на бок, дверца открылась, оттуда вылетели книги, мелкая дребедень. Черноморские ракушки, пистолетные гильзы, спичечные коробки с мертвыми жуками, пластмассовые модели истребителей — Валет мог часами клеить эти лилипутские самолеты, у меня никогда не хватало терпения — никогда.

Под моим каблуком тонкая пластмасса хрустела, как первый лед. Вещи превращались в мусор, любимые вещи брата. Я топтал истребители, перламутровые ракушки, спичечные коробки, топтал с наслаждением, с азартом, пока не заметил, что в дверях стоит мать. Ее рот был приоткрыт, она шевелила губами, точно пыталась что-то сказать. Кисть руки тряслась сильнее обычного. Скрюченные пальцы, вывернутая ладонь — жест нищенки, выпрашивающей милостыню.

— Что?! Ну что тебе надо? — заорал я и, оттолкнув мать, выскочил из комнаты.

До озера я домчал минут за двадцать. Бросил велосипед у обочины, влетел во двор. Куры на меня не обратили внимания, продолжали сосредоточенно клевать. Силуэт старика черным стручком маячил на огородах. Инга стояла на крыльце, она так и застыла на ступеньках с миской, полной клубники.

— Где он? — подбежав к крыльцу, выкрикнул я.

Выкрикнул высоким противным голосом. От гонки меня трясло, я задыхался. Инга стояла на три ступеньки выше, в ее взгляде промелькнула смесь жалости, отвращения и насмешки — так, по крайней мере, показалось мне с нижней ступени. Рукавом я стер пот с лица, облизнул губы. На зубах похрустывал песок. От этого ее взгляда все как-то вдруг потеряло смысл. Что говорить и делать дальше, я не знал. Вот идиот — запоздалое раскаяние, усталость и апатия буквально подкосили меня, точно кто-то выдернул провод из розетки. Какая ревность, какая месть? Надо же быть таким дураком...

— Клубнику будешь? — она спросила обыденно и протянула мне миску.

Где-то совсем рядом прокукарекал петух, хрипло и нагло. Я машинально выбрал самую крупную ягоду, взял за зеленый хвостик.

- Попить дай?
- Молока хочешь?
- Воды...

Рядом с дверью был вбит гвоздь, на нем висел ржавый ключ. Рыжий след на доске напоминал кровь, смытую старую кровь. Неожиданно в руках у меня появилась солдатская кружка, холодная и полная до краев. Я осторожно поднес кружку к губам, сделал глоток. Вода оказалась ледяной, как из родника. Инга молча смотрела, как я пью, и это уже был другой взгляд. Пил я медленно, словно боясь ее спугнуть. Что-то изменилось — в ней, в нас, в воздухе, в мире — не знаю, но я безошибочно ощутил это: будто рябь, что комкает отраженные облака, вдруг замирает, и озеро превращается в небесное зеркало. Что это? Чудо? Пока еще нет. Надежда? Нет, скорее надежда на надежду.

Потом она молча взяла меня за руку и повела в сторону озера. Я шел смиренно, как слепой за зрячим, как ребенок за взрослым, шел, ничего не спрашивая, не говоря ни слова. Взобрались на холм, поросший клевером. Там паслись две равнодушные коровы пятнистой масти. Открылся вид на березовую рощу, за ней темнел сосновый бор. Меж сосен внезапно блеснул серп озера, вспыхнул и тут же погас.

Сверху донесся звук, будто там, на небе, с треском рвали тугую ткань. Две серебристые искры — звено «мигов» — перечеркнули синь стремительной диагональю. Истребители скрылось за кромкой леса, звук запоздало катился следом. Вполне вероятно, что в одном из «мигов» сидел мой отец. Я хотел сказать об этом Инге, но передумал. Она шла впереди и даже не подняла голову на звук.

Тропа спустилась в лощину, заросшую лопухами. Пересекла тихий ручей. Впереди темнел бор, оттуда тянуло свежей сыростью, ранними маслятами. Голые стволы стройными мачтами уходили вверх, здесь пахло смолой. Мы неслышно ступали по упругому ковру из рыжих иголок, кроны смыкались наверху и не пропускали солнце. Тут было сумрачно и торжественно, как в готическом храме.

Озеро осталось где-то на востоке. Лес стал гуще, между сосен тесными семьями росли елки. Тропа давно исчезла, но Инга уверенно шагала вперед. На ней были линялые кеды на босу ногу, по загорелым икрам хлестали папоротники. Мы перелезали через упавшие деревья, Инга перемахивала их ловко, как на уроке физкультуры, вовсе не заботясь, что мне, идущему следом, были отлично видны ее трусы, белые с невзрачным узором.

На проплешинах, поросших ярко-зеленым мхом, нагло краснели мухоморы, маслянистые и крепкие, все в белых пупырышках. Мне показалось, что земля под ногами стала пружинить, как туго натянутый батут. Наверное, где-то рядом начиналась топь. Латгальское торфяное болото — гиблая тряси́на, вроде зыбучих песков. Про такие места рассказывали жуткие истории — вроде лужайка, трава и осока, а шаг ступил и все. И не то что туриста или грибника, целую корову запросто затянет — глазом не успеешь моргнуть. Верней, корова не успеет. Недаром у латышей столько легенд про замки, ушедшие под землю.

— Dūksts! — Инга обернулась и еще что-то сказала, тоже по-латышски.

Я кивнул, речь, очевидно, шла про топь. Махнул рукой — все в порядке. Если не думать об опасности, шагать по зыбкой поверхности было даже весело, конечно, если не думать, что в любую секунду невинный газон может порваться, как тряпка. А там под ним черная торфяная гуща без дна — об этом тоже думать не стоило.

С ветки кубарем сорвалась какая-то серая неопрятная птица, я пригнулся, она пронеслась, чуть не задев меня крылом. Инга остановилась, в просвете меж сосен открылась поляна. Земля под ногами обрела твердость, топь кончилась. Посередине поляны высился горбатый холм, похожий на курган. Макушка его была покрыта мхом. Я подошел ближе, погладил мох рукой, упругий и мягкий, он напоминал толстый плюшевый ковер. Вокруг кургана торчали кряжистые пни, деревья были спилены давно, пни почернели и тоже поросли мхом. Инга обошла курган, я пошел следом. С той стороны чернел вход. По краю земля была укреплена валунами.

— Под ноги гляди! — Инга нагнулась и нырнула в темноту.

Ход круто уходил вниз, подошвой я нащупал покатуую ступеньку, другую. Выставив руку, начал осторожно спускаться в темноту. Земля под моими пальцами сухо осыпалась. В подземелье, как и положено, пахло погребом и плесенью. Услышал, как чиркнула спичка. Огонек вспыхнул, разгорелся, стал ярче. Инга держала в руке свечу.

— Где мы? — спросил я.

Она не ответила, подняв свечу, пошла дальше. Ход, тесный и низкий, закончился неожиданно большой комнатой. Потолок, укрепленный балками, устрашающе нависал, посередине стоял грубый деревенский стол и две длинные лавки. Инга поставила свечу на стол.

— Что это? — тихо спросил я.

В углу темнела сложенная из булыжников печь, кирпичный дымоход утыкался в потолок. Стены были зашиты досками, старыми, почерневшими от времени, из щелей торчал сухой мох. Я разглядел какие-то прямоугольники на стене — иконы, что ли, — удивился я. Подошел ближе — книги. Они были прибиты гвоздями к доскам стены. Ржавыми плотницкими гвоздями с рифлеными шляпками величиной с пятак. Обложки книг потемнели, удалось разглядеть только фамилии Фадеева и Шолохова. И еще одну — «Рожденные бурей», имя писателя кто-то выцарапал.

— В школе их воровала, — сказала Инга. — В библиотеке.

Она сидела на лавке, положив кулаки на стол. Смотрела не на меня, а как-то сквозь меня, что-ли.

— Библиотекарша старая, глухая... Прошмыгнешь между стеллажей...

Рядом с печкой лежала большая кукла, фарфоровая, из трофейных. Такие закрывают глаза и говорят «мама». На кукле не было ничего, кроме старомодных панталон с кружевами. Руки кто-то вывернул назад. Вместо глаз чернели две дыры. Я сидел на корточках перед куклой. Нужно было что-то сказать, но я не знал что. Стиснул ладони, спиной ощущал взгляд Инги, как она молча смотрит сквозь меня. Воздух стал плотным, каким-то шершавым, так бывает перед самой грозой, летом, когда горячий ветер гонит по дороге пыльный смерч, когда колючий песок лезет в нос, в рот, забивает глаза. Я зажмурился. На лбу выступила испарина, я попытался вдохнуть глубже, но горло сжалось, тоже стало шершавым, тесным. Как тогда в метро. Прошло столько лет, а чувство страха и беспомощности воскресло моментально.

Это была моя первая поездка на метро. Тем летом мы навещали деда с бабушкой. Сколько мне было — пять, не помню, около того. Что удивительно — с фотографической четкостью запомнились мелочи: лампы на бесконечном эскалаторе, высокие, как хрустальные бокалы; они степенно уплывали вверх, на макушке каждой лампы кованый обруч вроде латунной короны. Лампы плыли вверх, а мы скользили вниз. Черная резина поручня, гладкая и теплая, как тело, — помню тебя. Помню слова отца — а это самая глубокая станция метро; слова произнес он гордо, точно сам копал ее.

Запомнился запах — он вырвался из тоннеля, за запахом несся рев, и только потом на платформу вылетел поезд. Мы зашли в вагон, двери закрылись. Перрон тронулся и поплыл. Замелькали люди, арки, белый кафель, синие узоры — почти Гжель — свет внезапно оборвался. Мы ворвались в грохочущую черноту, за окном с визгом проносились огни, мне казалось, что сама темнота кричит. Что она нас проглотила — темнота, она живая и теперь орет, визжит и хохочет. Я вжался в стекло, я видел черные кишки чудовища, перепутанные, толстые, им не было конца. Я начал задыхаться: такое бывает во сне, когда снится, что падаешь с жуткой высоты — все твое существо сжимается в невыносимо щекотный комок. И кажется, вот еще миг и ты умрешь от этой щекотки.

На станции «Павелецкая», когда я открыл глаза, вокруг хлопотали какие-то люди. Я лежал на жесткой скамейке, холодной и мраморной, как саркофаг. Мне тыкали в нос вонючую едкую гадость на вате, доктор что-то объяснял отцу, а Валет показывал мне из-за спины кулак и беззвучными губами повторял одно слово «урод, урод, урод».

— Ты что — заснул?

Я вздрогнул, голос Инги выдернул меня из московского подземелья и вернул в латгальское. Я рукавом стер пот со лба, медленно поднялся с корточек и обернулся. Инга все так же сидела на лавке, ее ладони теперь были плотно прижаты к столу, словно она боялась потерять равновесие. Между ладонями стояла свеча. Это была толстая церковная свеча из мутного желтого воска, фитиль потрескивал, узкое длинное пламя вытягивалось в дрожащее жало, огонь из оранжевого превращался в черную нить копоти, уходящую в темень низкого потолка.

Из сумрака постепенно выплыли очертания предметов — глаза привыкли к темноте, да и свет свечи оказался достаточно ярким — я разглядел дрова, березовые чурки, аккуратно сложенные в поленницу у печки. Рядом из массивного чурбака торчал топор. Три оружейных ящика громоздились один на другом, длинные, крашенные защитной краской, в таких перевозят винтовки. В углу были свалены лопаты с ржавыми лезвиями, там же белели скрученные матрасы, из дыр лезла желтая вата.

— Твой брат... — Инга подняла ладони, точно защищая пламя свечи от ветра.

— Что?

— Он сказал, что ты...

— Врет. Он врёт, — я чуть не произнес вслух: «Не урод! Никакой я не урод!»

— Я же...

— Он всегда врёт.

— Иди сюда, — тихо позвала Инга. — Дурак. Я про другое...

Она встала, я подошел ближе. Она коснулась рукой моей щеки, ее ладонь была чуть шершавой и жаркой от свечи. Указательным пальцем провела по моему лбу — медленно, сверху вниз. По носу, подбородку, по горлу, по кадыку — точно чертила линию, делящую меня пополам. Расстегнула верхнюю пуговицу воротника. За ней — другую, еще одну, ниже. Я сглотнул, я стоял не двигаясь. Пытаясь справиться с неожиданно осипшим голосом, выговорил:

— Инга...

— Тсс-с, — шепнула она и чуть заметно покачала головой, мол, ни слова.

Мы смотрели друг другу в глаза, и это напоминало игру, мы в детстве играли в такую, «гляделки», кажется, называлась: кто моргнет первым или кто первым отведет взгляд, тот и проиграл.

Ногти ее царапнули мою грудь, щекотно, едва ощутимо, как лапки паука. Пробежали вниз. Скользнули под пояс штанов, я непроизвольно вдохнул, втянул живот. Ее губы дрогнули, полуулыбка, намек на улыбку. Не знаю, эта улыбка, а может, глаза ее — эти светлые застывшие ледышки, только мне казалось, что она в любой момент вдруг может расхохотаться, превратить все в шутку. Или разозлиться и оттолкнуть.

Она взялась за ремень, не отрывая взгляда от моих глаз, наощупь расстегнула пряжку.

— Повернись, — сказала тихо.

— Что?

— Спиной повернись.

Я повернулся. Инга вытянула ремень из брюк.

— Руки дай.

— Зачем?

— Там узнаешь...

Я почувствовал, как она стягивает мои запястья ремнем, застегивает пряжку. Там узнаешь — повторил про себя. Где — там?

— Змеи заползают сюда, — сказала. — Иногда.

Ремень больно впился в руки, но я молчал. Валет бы наверняка даже не пискнул, терпел бы, как тот спартанский мальчик. В дальнем углу темнота зашевелилась, что-то там едва слышно зашуршало.

— Инга?

Она что-то пробормотала по-латышски, дыша мне в затылок, потом спросила:
— Руки... можешь?

Я улынулся, помотал головой — нет, не могу. Попробовал ослабить узел, вытащить кисть — дохлый номер. Инга прижалась к спине, обвила меня руками. Перестал дышать, боясь шелохнуться даже — я почувствовал, как ее пальцы расстегивают мои брюки, одну пуговицу за другой. Штаны сами сползли вниз.

Руки затекли, стянутые локти ломило, но мне было наплевать — все мое существо сжалось и сконцентрировалось там, внизу, где умело блуждали ее пытливые пальцы. Будто на краю бездны, застыл-замер по стойке смирно, закусив губу, — вот-вот сорвусь, взлечу, взорвусь. На полувздохе от вскрика, в столбенеющем мозгу вспыхнула мысль — вот оно, я живу! Живу, дышу, горю! И только она, эта чокнутая латышка с глазами полярной собаки, способна зажечь меня. Только с ней я живой — это ж так ясно! И вся чушь про половинки душ, которые ищут друг друга по свету, не про меня — нет-нет-нет! О нет! Без нее я не половина, без нее меня просто не существует. Меня просто нет. Лишь тень, унылый отпечаток человека. Как след сапога в сырой глине. Скучный и никому не нужный, даже мне самому.

Не помню, наверное, я кричал. Уж точно стонал. Сердце подскочило и бешено колотилось в гортани. Я задышался. Инга, сипло дыша, впилилась губами мне в шею — сзади — мокрое и горячее (кровь, слюни, слезы?) стекало по спине под рубашку. Судорожными пальцами я пытался ухватить Ингу, схватить, потрогать хоть что-то — платье, тело. Хоть что-то!

Блаженным приливом жизнь затекала обратно в меня — пьяного, оглушенного, счастливого. Тело казалось неуклюжим, тяжелым, точно я лежал в ванне из которой только что ушла вода. Открыл глаза.

Темнота была абсолютной. Такую темноту почему-то называют кромешной — что это вообще за слово? Свеча не горела.

— Инга?

Я повторил еще раз, позвал чуть громче. Голос прозвучал глухо, как в подушку. Темнота казалась густой, почти мягкой. Как сажа.

— Очень смешно...

Я постарался придать голосу тон небрежный, чуть насмешливый. Главное, невозмутимый. Инга — я представил, как она зажимает ладонкой рот, — стоит тут, в двух шагах, и давится от смеха. Ну, ничего, ничего, скулить никто не собирается.

— Я же знаю — ты тут. Я слышу.

На самом деле ничего я не слышал. Ничего, кроме собственного дыхания. Ремень впился в запястья, локти ломило. Я сжал кулаки, пальцы затекли до немоты, кулаки получились ватные, точно на руках были толстые варежки. Попробовал растянуть узел, но от усилий кожа ремня лишь больней врезалась в руки.

Так: стол должен быть за моей спиной, печка справа; нужно дойти до противоположной стены и, держась за стену, найти выход. Идти нужно налево — это точно. Плевое дело — пара пустяков.

Я сделал шаг, но совсем забыл про брюки. Запутавшись в спущенных штанах, со всего маху грохнулся на землю грудью и лицом. Мрак взорвался ослепительно белым, точно в моем мозгу лопнула ртутная лампа, такими пользуются фотографы, когда снимают со вспышкой. К тому же я от души ударился подбородком и, похоже, прикусил язык. Во рту появился вкус крови.

Никогда раньше не пытался встать со связанными за спиной руками. Процесс оказался гораздо занимательней, чем может показаться. Пару раз удалось подняться на колени, но каждый раз, путаясь в брюках, я заваливался на бок. Наконец догадался освободиться от штанов — катаясь по земле и брыкаясь, я вывернул проклятые портки наизнанку и отделался от них. Вместе со штанами я лишился и обуви: кеды запутались в штанинах и снялись вместе с носками. Пыхтя и ругаясь, встал. Теперь мне было плевать, что Инга слышит. Я был очень зол.

— Не смешно! — рявкнул в темноту. — Глупо!

В голове здорово гудело. Но не ровным гулом, нет, такое впечатление, что в моей башке поселился целый рой задорных цикад. Они пели буйным хором — в унисон, а то вдруг начинали солировать, выдавая трели почище зубодробительной дрели. Звон накатывал волнами, и в моменты прилива казалось, что весь мир набит шальными цикадами.

Наощупь доковылял до стены. Стукнулся коленом о какой-то острый угол, кажется, там стояли оружейные ящики. Осторожно двинулся влево. Руки перестали болеть, исчез мерзкий зуд в пальцах, теперь я их просто не чувствовал. Стена тянулась бесконечно, выхода не было. Но я не мог пропустить выход, не мог. Странная штука происходила и со временем, время оказалось напрямую связано со светом: в полной темноте оно текло как-то иначе. Теперь я уже точно не знал, сколько прошло с начала моего путешествия вдоль стены — минут десять или пара часов.

Снова ударился коленом. Похоже, это были те же ящики. Мне не составило труда нарисовать их в воображении — эти чертовы оружейные ящики, крашенные в хаки, с полустертými готическими буквами, набитыми по трафарету. Я обошел комнату и вернулся в исходную точку. И снова каким-то макаром умудрился прозевать дверь. Выругавшись, я лягнул пяткой в темноту — деревянное нутро ящика отозвалось пустой бочкой.

Мне почудился звук — глухой шорох, словно кто-то пересыпает сухой песок. Мыши, это мыши, не змеи. Даже не смей думать о них. Это мыши. Я замер и перестал дышать — понять, откуда доносится звук, так и не смог. Потом услышал голос, едва различимый, — так долетают обрывки чужого разговора с дальнего берега реки. Призрачным шелестом, прозрачным шуршанием. Мне вдруг привиделось, что не подземелье вокруг, а наоборот — пустыня, бескрайняя и бесконечная. Я чуть было не потерял равновесие и не грохнулся снова. Уперся лбом в сырые доски, которыми были зашиты земляные стены. От древесины пахло гнилью.

Зачем она делает это? Зачем?

— Инга! — крикнул я. — Зачем? Зачем?

Голос стал громче, ее голос. Она что-то негромко напевала на латышском. Послышались шаги, я оглянулся на звук. Чиркнула спичка. Огонек выхватил половину ее лица, челку, белок глаза. Инга перестала петь, она остановилась в черном проеме входа. Поднесла спичку к фитилю и зажгла свечу. Медленно подняла свечу над головой. Дрожащий свет растекся по комнате, громоздкие неуклюжие тени полезли на стены. Да, я стоял у оружейных ящиков. Справа находилась печь. Выход был прямо напротив.

— Ты что, чокнутая? Да?! Сумасшедшая?

Я начал орать, сдержаться мне не удалось. Продолжал в том же роде, наверное, даже обзывал ее какими-то обидными словами. Я орал, постепенно понимая, насколько нелепо выгляжу — взбешенный, но без штанов и босиком, в грязной распахнутой рубашке. Инга не улыбалась, она слушала с серьезным лицом. Слушала и неспешно, шаг за шагом, приближалась ко мне. На расстоянии вытянутой руки остановилась, наклонилась и поставила свечу у ног.

Удивиться я не успел: Инга выпрямилась и со всего маху влепила мне пощечину. Ладонь угодила по щеке и по уху. Звон оглушил меня, я заткнулся на полуслове.

— За буфетчицу, — белый от бешенства взгляд из-под челки. — Как зовут?

— Ну, ты-ы... — простонал я, мотая головой.

— Забыл? — почти крик.

— Лайма...

Она терла ладонь, должно быть, отбила:

— И еще...

Я инстинктивно отшатнулся.

— Запомни! — выкрикнула Инга. — Я никогда и никого не предавала. Понял?

— Ты — чокнутая! Истеричка!

— Да! Чокнутая! Да — истеричка!

Она рванулась, на секунду мне показалось, что она сейчас укусит меня. Вопьется в лицо. Чертова хаски.

— Ты понял?! Понял?!

Нет. Я не очень понимал, о чем идет речь, но на всякий случай буркнул:

— Понял.

— Хорошо, — она нагнулась за свечой. — Тогда пошли.

— Руки...

— Да. Руки.

Снаружи наступал вечер. Там прошел дождь, и лес был мокрым и ярким, точно свежесмытым. Блестела трава, папоротники — их узорчатые листья казались лакированными. Мы возвращались. Я снова шел следом, Инга шагала не оглядываясь. Моя решимость послать ее к чертовой матери постепенно выдыхалась вместе со злостью. К тому же нужно сперва выбраться из болот. Я тер ладони, пальцы тупо ныли, они были красными и распухшими, как морковки. Сжать руку в кулак не получалось. От ремня на запястьях остались белые полосы, похожие на шрамы.

По сути Инга была права. На нее я злился лишь за то, что она довела меня до бабьей истерики. До белого каления — да! До воплей и ругани, до оскорблений. А так — права. Ведь была же буфетчица — была. Дважды была, если уж начистоту. К тому же милицию наверняка не Инга, а соседи вызвали.

Над нами нависали еловые лапы. С крепкими филигранными шишками, как на новогодних открытках. Проходя, Инга ухватила ветку рукой, отпустила. Меня обдало холодными каплями. Она повернулась, засмеялась. Я почти столкнулся с ней.

— Прости. — Перестала смеяться, серьезно добавила: — Так было нужно.

Точно, чокнутая. Хотел быть строгим, обиженным, но не смог — улыбнулся в ответ.

— Чокнутая, — сказал.

— Да... — Она взяла меня за шею, притянула к себе.

Она целовала, не закрывая глаз, не жмурясь, как нормальные люди. Ее ресницы касались моих, светло-голубой глаз, широко распахнутый, огромный и жуткий, глядел в упор. Мои ладони сползли с талии, я стиснул ее ягодицы. Она сама подалась ко мне, прижалась. Я почувствовал ее упругий лобок.

— Нет... — прерывисто дыша, сказала. — Не тут. Пошли к озеру...

И снова впилась в мои губы.

Именно в этот момент мне стало ясно, что я пропал. Осознание пришло с каким-то восторженным упоением, как перед прыжком с кручи. Да, она сумасшедшая, но я готов сделать все, что взбредет ей в голову, — и не просто сделать, а с радостью. С бешеным восторгом сделать! Любовь? — нет, не думаю, да и кто знает, что такое любовь. Мания, безумие, умопомрачение — счастье! Словно я переступил черту, за которой не страшно уже ничего. Когда вдруг озаряет — а ведь никакой смерти-то и нет!

17

Тем же вечером мы подрались с Валетом. Он ждал меня у подъезда. Был явно на взводе; сворачивая к дому с бетонки, я видел, как он там мечется под фонарем, вышагивает туда-сюда с сигаретой в зубах.

От озера я гнал, отпустив руль и раскинув руки как крылья. Быстро темнело. На западе, остывая, плавилась малиновая полоска. Черные деревья слились в плоский силуэт с насмешливым очерченным контуром. Дорога неслась подо мной прозрачной лентой, я крутил педали в каком-то радостном азарте, точно шел на взлет. Пару раз влетал колесом в колдобины, но всякий раз мне удавалось сохранить равновесие — да и что могло со мной случиться — ведь смерти нет.

Валет увидел меня, выкинул окурочек и быстро пошел навстречу. Я на ходу прыгнул с велосипеда.

— С ней был? — выкрикнул он. — С ней? Да? Только не ври — с ней?

— С ней, — я поднес ладонь к лицу, вдохнул, от пальцев пахло Ингой.

Нестерпимо захотелось вслух произнести ее имя, но я не успел. Хлестко, как пружина, Валет выкинул вперед кулак. Удар пришелся в подбородок. Я повалился на спину, велосипед грохнулся на меня. Брат подскочил, замахнулся, он снова целил в лицо. Мне удалось увернуться, кулак скользнул по виску.

— Изувечу! — рычал Валет, замахиваясь снова.

Велосипед оказался между нами, брат ухватился за раму, навалился всем телом. Руль уперся мне под ключицу, рама сдавила грудную клетку. Я задыхался. Валет, сопя и ругаясь, старался попасть кулаком в лицо. Я успешно уворачивался, пытался лягнуть брата, но петанина запуталась в велосипедной цепи. Мне удалось изловчиться и садануть его по ребрам, Валет охнул, привстал, хватая воздух ртом. Отбросив велосипед, я вскочил на ноги.

— Лежачего... — выкрикнул я. — Лежачего бить! Ну ты и гад, Валет!

Пыхтя и отплеиваясь, мы стояли напротив друг друга. Валет разбил кулак, он слизывал кровь с костяшек. Я тронул подбородок, он надулся, там пульсировала жаркая боль.

— Хотел отомстить? — Валет зло сплюнул мне под ноги. — Да?! Вот так хотел?

— Ты что...

— Заткнись! — он пошел на меня. — Ты думаешь, я не понял...

Что он там понял, узнать я не успел: со стороны бетонки раздался рык мотоцикла, отцовского «Мефисто». Его мощный движок не спутать ни с каким «Уралом» или «Явой». Яркий луч фары выхватил сарай, полоснул по стволам лип. Уперся белым кругом в ворота гаража. Мотор напоследок рывкнул и умолк. Из темноты донесся мелодичный посвист. Батя высвистывал арию Сильвы из одноименной оперетты Кальмана.

Валет застыл. Что-то буркнул, зыркнул исподлобья и быстро пошел к подъезду. Я поднял велосипед, пошел следом — с отцом разговаривать мне тоже не хотелось.

18

Утром я снова был на озере. На том же месте, что и вчера. Трава, примятая нашими телами, не успела распрямиться за ночь, я сел на землю, обхватил колени и стал ждать. Сидел тихо, не двигаясь, точно оглушенный. Зачарованный — вот верное слово. Вчера, после драки с братом, у меня появилось странное ощущение: я проскользнул в другую реальность. На территорию чуда.

Такое испытываешь выходя из детства, когда разум уже принял скучную логику взрослой жизни, а где-то в глубине твоего существа еще тлеет уголек веры в волшебство. А что если это мы сами делаем жизнь такой — серой и унылой и своим занудством убиваем возможность чуда. Нам посчастливилось — нам удалось родиться. Ты только подумай, какая удача — мизерный шанс, это ж как в лотерею выиграть. Мы родились и очутились на сказочном карнавале, который своими же силами превратили в смертную тоску. В добровольную каторгу.

Голова моя была легка, прозрачна. Утро тихо перетекло в день. Передо мной лежало неподвижное озеро, окруженное соснами. На том берегу, обрывистом и диком, деревья подступали к самой воде, за ними темнел бор. Казалось, если вот так притаиться, то можно понять что-то важное, что-то тайное. Про небо. Или про землю. Про жизнь. Зачем отражаются камыши в озере. Какой смысл в невесомых облаках, что скользят по синеве. Отчего птицы перекликаются такими настороженными голосами — или они хотят подать мне знак. Но какой? Ведь птица, любой коростель или зяблик, знает куда больше меня. Он, этот зяблик, может прямо сейчас взмыть к облакам и увидеть оттуда полмира — и меня, сидящего в траве, и Ингу, что спешит по тропе в сторону озера, и молодых латышей, работающих в поле, и Валета за столом с конспектом по физике — выпускные экзамены через неделю, а ты, поди, и забыл?

До меня долетел смех, голоса. На песчаную косу за дальней ивой выскочили

латыши. Те трое, которых я видел в поле по дороге к озеру. Один, белобрысый мальчишка, тогда помахал мне. Сейчас он снова заметил меня, вскинул руку над головой. Я махнул в ответ. Латыши разделись догола, толкаясь и гогоча, бросились в воду. Их хохот катился по озеру, стеклянное эхо металось от берега к берегу, затихало между сосен.

— Аборигены... — проворчал я без злобы, почти с нежностью.

Я любил весь мир сразу. Даже тех шумных деревенских парней. Сцепив пальцы, закинул руки за голову. Медленно завалился навзничь в траву. Ход облаков по опрокинутой сини гипнотизировал, теперь мне уже казалось, что я сам плыву куда-то. Бросив весла, лежу на дне лодки, и несет меня плавный ток. Нежно тянет неведомо куда непонятная река. А, может, так и надо — и не будет разочарований и душевной боли: какая боль без борьбы? Так — меланхолия.

— Меланхолия, — прошептал я по слогам, отгоняя настырную муху от лица.

Латыши, похоже, наконец утомнились. Муха села мне на скулу, я замер, выждал секунду и хлестко шлепнул себя по щеке. Конечно, муха оказалась проворней.

На том берегу было тихо. Я приподнялся на локте. Нет, они не ушли — латыши ныряли, подолгу оставаясь под водой. Занимались этим сосредоточенно, будто были на работе. Я встал на колени, загордился ладонью от солнца. Неподвижное озеро сияло как ртуть, становилось душно. Похоже, собиралась гроза.

Латыши продолжали нырять, голова одного возникла на поверхности, он что-то крикнул и исчез снова. Белые ягодицы сверкнули и ушли под воду. Другой подгреб торопливыми саженками и тоже нырнул. Раков ловят? Или нашли что-то? Что?

Две головы показались одновременно из-под воды. Быстро гребя, они тянули что-то к берегу. Что-то большое и белое. Я медленно встал, выпрямился. Сначала догадался, потом увидел — это был белобрысый парень. Они волокли его, как куль, по мелководью. Вытащив на песок, положили на спину и принялись откачивать. Они суетились — поджарые и долговязые, похожие на близнецов, у них даже загар был одинаковый — оранжевые шеи и руки, остальное как сметана. Белобрысый лежал неподвижно.

Один латыш, на ходу натягивая штаны, быстро побежал вверх по тропе и скрылся в орешнике. Другой продолжал делать искусственное дыхание. Парень не шевелился. Ужас тихо наполнил меня, кожу на затылке стянуло. Должно быть, так волосы встают дыбом.

Я опустился на корточки. Зажал ладони между коленей, чтоб не дрожали. Нужно пойти туда, помочь. Но чем я могу помочь — ведь и дураку ясно: мертвый он. Мертвый. Мысленно повторил слово несколько раз, пока из него не вытек смысл. Остались звуки, которые не означают ничего.

— Мертвый... — произнес велух.

Как тогда, на похоронах деда, я окаменел. Не мог двинуться с места. Как тогда, на кладбище — в детстве. У меня и сейчас не хватило бы духу пойти туда. И ни за какие сокровища мира я не смог бы заставить себя дотронуться до мертвеца. Скорее бы умер сам.

Появился милицейский газик. Крашенный в пылячий цвет, с синей полоской по борту и с синим маяком на крыше. Из машины выскочил давешний латыш, неспешно выбрался милиционер. В галифе, начищенных сапогах, на поясе кобура. Я пригляделся: Горностаев. Они подошли к утопленнику, присели на корточки. Латыш, что делал искусственное дыхание, размахивая руками, что-то говорил. Тыкал в сторону озера и леса. Горностаев, сняв фуражку, поглядывал то на него, то на утопленника.

Из распахнутой двери газика долетал тихий треск милицейского радио, обрывки фраз оператора. Потом Горностаев поднялся, лениво обошел тело, сделал несколько фотографий. Сунул фотоаппарат в карман, вернулся к машине. Закурил, вызвал кого-то по рации и долго с ним ругался. Шелчком послал окурок в камыши, окликнул латышей. Сам сел за руль, латыши забрались на заднее сиденье. Газик развернулся,

моргнул красными стоп-сигналами и, переваливаясь, полез вверх по тропе. Утопленник остался лежать на песке.

Шум мотора затих. Растворился в цокоте кузнечиков, вкрадчивом шушуканье камыша. Я не мог оторвать взгляд от мертвеца. Бледное неподвижное тело с загорелыми по локоть руками, казалось, что на нем белое балетное трико с короткими рукавами. Почему они его оставили? Разве так можно?

Озеро стало матовым и серым, как олово. На середине плеснула рыба. Крупная, наверное, лещ. Сверкнула сталью чешуя, донесся всплеск, по воде побежали круги. До меня вдруг дошло — остро, я аж вздрогнул: кроме нас с мертвецом на озере никого нет. Только он и я.

Парило. Небо, скучное и серое, нависло над лесом. Я стянул потную майку, скомкал, бросил в траву. Звуки стали глуше, как сквозь войлок; даже кузнечики притихли. Прислушался — со стороны Даугавпилса докатился призрачный отзвук грома, далекий и глухой, как ворчание огромного зверя.

— Гроза, — раздалось за спиной.

Я обернулся — Инга.

Подошла бесшумно, я даже не услышал шагов. Покусывая длинную травинку с метелкой на конце, она пристально смотрела на восток. Оттуда, будто повинувшись ее немому приказу, снова донесся утробный рокот.

— Полиция приезжала, — повернулась. — Тебя ловят?

Спросила насмешливо, протянула руку к моему лицу.

— Брат? — тронула пальцем подбородок.

От боли я вздрогнул. Про драку совершенно забыл, но челюсть ныла, да и синяк наверняка был хорош.

— Красиво? — спросил с вызовом.

Она пожала плечом, равнодушно, мол, мне-то что. Она снова стала чужой. Холодной и настороженной Ингой, которую я почти ненавидел. Точно не было у нас вчерашнего — вот тут, на этой самой траве. Ведь вчера, только вчера! Трава не успела даже распрямиться! Цаца в кедах! Очень хотелось сказать ей что-то обидное, сделать больно, но я сдержался. Не из благородства, нет, просто от злости не смог найти хлестких слов. Похоже, я такой же псих, как она: то у ног готов ползать, пятки целовать, то...

— Кто там? — она смотрела поверх моего плеча на тот берег.

Смотрела не отрываясь. Я помедлил, буркнул хмуро:

— Пацан. Утонул. Потому и полиция.

— Ты видел?

Я кивнул. Мне вдруг пришло в голову, что Инга знает утопленника, он же местный. Может, с соседнего хутора, они тут все друг друга знают — латыши. Инга стянула через голову платье, не расстегивая, вывернув наизнанку. Сбросила тапки.

— Ты что? — я сглотнул, меня замутило как от предчувствия надвигающейся беды. — Туда?

— Чего стоишь? — она быстро сняла трусы. — Плыдем!

— Ты... — запнувшись, я уставился на рыжеватый пук волос на ее лобке. — Туда...

Оттолкнув меня, Инга быстро пошла к воде. Я попытался поймать ее за пальцы, она вывернулась. Вбежала в воду, взмахнув руками, с ходу нырнула.

— Чокнутая... — сел в траву, стянул, не расшнуровывая, кеды. — Ведь по берегу же... по берегу можно...

Она вынырнула метра в пятнадцати, размахисто, по-мужски, поплыла к тому берегу. Я быстро снял штаны вместе с трусами. Зашел в воду.

Догнать Ингу не удалось, хоть я и старался — греб, как на значок ГТО. Она уже выбралась на берег, я только подплывал к мелководью. Сбавил скорость, с кроля перешел на брасс. Подплывая, разглядывал мертвеца. Не хотел, но смотрел не моргая.

Утопленник лежал на песке; худой и строгий, вытянув руки по швам и выставив

вверх подбородок. Инга обошла труп, крадучись, точно боялась разбудить. Села на корточки, вглядываясь в лицо.

— Иди сюда, — негромко позвала меня. — Ближе.

Я остановился метрах в двух. Парень выглядел старше, чем мне утром показалось. Когда он помахал мне, проезжающему мимо на велосипеде.

— Ближе... — Инга подняла глаза. — Ты что, боишься?

Да, боюсь, ответил я про себя. Боюсь.

На вялых ногах сделал шаг, другой. Никогда не видел мертвеца так близко, даже когда деда хоронили. К тому же этот был голый. Редкие волосы на груди казались седыми, седыми казались и брови, и ресницы, а под глазами лежала тень, словно плохо смытая тушь.

— Странно... — тихо начала Инга и замолчала.

— Что? — голос мой осип.

Она не ответила, указательным пальцем дотронулась до острого кадыка утопленника. Медленно провела вниз по сизому горлу, остановилась на острой ключице.

— Мертвый совсем не похож на спящего, — произнесла почти шепотом. — Какая чушь, когда говорят... Он похож на неодушевленный предмет. Предмет. Как камень. Или песок.

Она посмотрела мне в глаза.

— Правда. Он теперь, как камень. Не бойся — потрогай. Это просто камень.

Ее мокрые волосы, закинутые назад, казались совсем темными. Раньше я не замечал, что уши у нее чуть вытянутые, острые и совсем без мочек. Что-то рысье появилось в лице — то ли эти уши, то ли острые скулы. Может, взгляд — не знаю.

— Ближе! — сухо повторила Инга.

Она смотрела на меня пристально, совсем не моргая. Ее смуглые руки покрылись гусиной кожей, от холода соски сжались и потемнели. Против своей воли я сделал еще шаг. Не глядя на труп, медленно опустился на корточки.

— Видишь — совсем не страшно, — произнесла она тихо. — Потрогай его.

Я прерывисто вдохнул и дотронулся до мертвого плеча. Оно было гладким и холодным, как кость. Мертвая кость. Только тут до меня дошел смысл слов — неодушевленный предмет. Тело, лежащее на песке, никакого отношения не имело к тому мальчишке, который смеялся и махал мне сегодня утром. Куда он исчез — тот, живой? Как странно, как нелепо. Действительно, мертвец совсем не похож на спящего, он уже не человек, он — неодушевленный предмет. Тело, мертвое тело. Но что такое тогда человек?

Я перевел взгляд на Ингу. Скользнул по лицу — от ее холодных глаз хотелось удавиться; остановился на груди, потом посмотрел ниже. Голое женское тело — а во мне даже намек на вожделение не шевельнулось. Меня мучило. Мне почудился запах тины, так воняют забытые вазы с цветами — сладковатой гнилью. Я снова разглядывал лицо утопленника.

— Обними меня. — Инга поднялась.

— Что? — Я тоже встал.

— Холодно. Обними.

Я обнял. Она тут же уткнулась лицом мне в шею, уютно пристроилась в ключице. Ее нос был как ледышка, плечи мелко дрожали. Я сгреб ее в охапку, обхватил руками. Прижал к себе, крепко-крепко, стараясь унять дрожь.

— Теплей?

Кивнула, потерлась ледяным носом. Мы молчали, она едва слышно сопела, прерывисто, в такт дрожи. Когда она моргала, ее ресницы щекотали мне шею. Было в этом что-то трогательное, интимное — почти тайное.

Потом она начала говорить. Тусклым голосом, тихим и монотонным, как сквозь сон.

— Совсем не помню лица. Солдаты забрали фотографии, мать одну спрятала, а

дед нашел и сжег. Помню того офицера, запах помню — знаешь, этот одеколон русский, и еще ремни его воняли новой кожей... Слово какое-то смешное есть... Португез, да. Он кричал, кричал и ругался на мать. Еще помню, зуб у него был железный — блестел во рту, когда он кричал. В Сибири сдохнешь, всех вас туда, паскуды... а пацанку в Даугавпилс, в приемник. Интернат детский... В Даугавпилсе.

Так говорят загнилотизированные. Из Риги к нам приезжал гипнотизер, выступал в Доме офицеров. Сперва фокусы показывал, а после гипнотизировал желающих. Римму Павловну из военторга, кого-то еще.

— После я почти год не разговаривала. Но этого совсем не помню. А потом заикалась, в Резекне возили к врачу. Сильно заикалась — вот это помню. Я уже в школу ходила, в ту, старую, которая за Еврейским кладбищем. А новая за рынком, там где раньше...

Инга замолчала, выдохнула, точно выбилась из сил.

— Но не мать рассказала им. Дед. Я знаю.

В возникшей тишине грохнул раскат грома. Бухнуло с оттягом, как из гаубицы. Гроза приближалась. Восточная половина неба уже налилась чернильной синью, из-за макушек сосен выползла черная туча, чумахая и растрепанная, как клуб паровозного дыма. Инга вывернулась из моих рук.

— Поплыли!

От покорности не осталось и следа. Кроткая беззащитность превратилась в безразличную решимость, причем без перехода — моментально. Будто и не она мгновение назад таяла в моих объятьях, жалась ко мне, как бездомный кутенок. От таких перепадов с ума сойти можно.

— Инга!

Она не ответила, перешагнула через утопленника, не оглядываясь, пошла к воде. Перешагнула, словно через бревно. Тут, на этом берегу, ничто ее больше не интересовало. Ни мертвый парень, ни я. Какого черта мы вообще сюда плыли?

— Какого черта! — крикнул я. — Гроза!

— Да-да! Гроза! — Она зашла в воду, ответила, не обернувшись. — Поплыли!

Над лесом зигзагом полыхнула молния. Озеро и бор застыли контрастным снимком в ртутной вспышке. Тут же шарахнул гром, ударило с треском, точно кто-то огромный ломился сквозь чащу, круша сосны как хворост.

— Молнией же убьет к чертовой матери!

Она оглянулась — стеклянные глаза, пустой взгляд. Зашла в воду уже по пояс.

— Валет бы молнии не испугался.

Сказала и нырнула, не дала мне даже ответить.

— Дура! — крикнул я в пустое озеро. — Истеричка!

Но тут она была права — Валет бы точно не струсил. Такой же психопат. Сиганул бы под гром и молнии и глазом бы не моргнул.

Первые капли, увесистые и редкие, застучали по листьям и траве, по песку. На неподвижной воде озера появились круги. Их становилось все больше, шум нарастал, приближался. Постепенно все озеро покрылось стальной рябью. Я подошел к кромке воды. Инга не появлялась.

— Дура, — пробормотал я, глядя в пустую поверхность озера. — Вот ведь дура...

Ливень быстро набирал силу. Противоположный берег растекся, как мокрая акварель, камыши и ивы еще виднелись, а вот лес слился в мутную полоску, похожую на лиловую горную грядку. Стало темно, как в сумерки. Внезапно ослепительная молния, шипя и извиваясь, раскроила ландшафт и воткнулась прямо в середину озера. Раздался треск, словно небо раздрало пополам, как гнилую тряпку. Я непроизвольно пригнулся. Пахло озоном — стерильный холодный запах.

— Инга... Инга...

Я повторял ее имя и метался по мелководью, заставить себя нырнуть я не мог. Надо нырнуть, найти и вытащить. Ведь я отлично ныряю и могу еще вытащить ее.

Найти и вытащить. Спасти. Откачать. Искусственное дыхание — очень просто: ладонями обеих рук на грудную клетку... Вдох и выдох. И в рот, так же. Только нос надо зажать. Чтоб легкие начали работать. Ведь прошло всего минуты три. Или пять. Сколько там человек может под водой... сколько... Следующая молния угодила в макушку могучей сосны на том берегу, косматая крона качнулась и рухнула вниз. Я выскочил на берег.

— Зачем? Ну зачем?!

Упал на колени, кулаками бил в мокрый песок. Ревел. Все было кончено. Кричал кому-то — нет-нет-нет. Обзывал сволочью — кого? Себя? Ее? Бога? Поверить в реальность происходящего я не мог, но это была единственная реальность — озеро, ливень, песок. И моя трусость. Теперь мне казалось, что всему виной стала именно она — моя трусость. И если бы я пошел с ней, то ничего бы не случилось. А теперь, теперь все кончено.

— Чиж! — раздалось за спиной.

Инга стояла, уперев кулаки в бедра. Один-в-один как тогда на острове, будто кто-то вырезал картинку из того июня и вставил в нынешнее лето.

— Ты как... — промямлил я, стоя на четвереньках.

Инга пальцем прочертила полукруг от озера до прибрежных камышей. Над бором польхнула молния, шарахнул гром: за эти несколько секунд меня прошибла целая гамма эмоций. От почти религиозного экстаза, вроде того, что испытал апостол Фома, вложивший персты в рану воскресшего учителя, до лютой звериной ярости. Между ними уместились радость, удивление, благодарность и восхищение. Наверное, что-то еще, но я не запомнил.

— Ну, ты... Ты...

От гнева я заикался, все оскорбления казались недостаточно обидными. Вскочив, бросился к ней. Подбежал со сжатыми кулаками. Она не двинулась с места.

— Не ори. Лучше скажи спасибо.

— Спасибо? За что?!

— Теперь ты точно знаешь, как тебе будет плохо, когда я умру.

— Что?!

Меня просто трясло от злости. Соображал я тоже неважно.

— Когда я одна, всегда представляю, как мне будет плохо, если ты вдруг умрешь.

— Ты чокнутая... — начал я, до меня вдруг дошел смысл фразы. — Ты... ты думаешь обо мне?

— Конечно. Часто... — запнулась, добавила: — почти всегда.

Я остолбенел. Дождь хлестал по лицу, по плечам. Инга засмеялась.

— Ну что ты стоишь как дурак? Обними хотя бы.

Мы повалились на песок. Она хохотала, запрокинув голову. Это было похоже на истерику, скорее всего, это и была истерика. По лицу текли то ли слезы, то ли ливень — из-за дождя я не понимал, смеется она или рыдает. Обвив меня ногами, впившись ногтями в плечи, она выкрикивала что-то по-латышски, стонала и снова хохотала. Она не отдавалась мне — о нет! — она властно брала.

Молнии били одна за другой, яркие вспышки и сизый отблеск на мокром теле, порой ее лицо делалось некрасивым, почти уродливым. Я ловил себя на мысли: господи, кто это? Что я тут делаю? Как меня угораздило влюбиться, да что там — втюриться по уши, втюхаться, втрескаться до умопомрачения — в эту сумасшедшую латышку? С дальней окраины моего сознания долетал безнадежный голос, слабый голос разума. Вернее, того, что от него там осталось. Но от грома гудело в голове, молнии раздирали чернильные тучи, капли лупили по спине, в трех метрах лежал утопленник — я был счастлив.

19

Озеро после дождя стало теплым. Держась за руки, мы вошли в воду. Песок на мелководье был твердый, но не гладкий, а волнистый, гофрированный. От темной, неподвижной воды поднимался пар. После грохота бури тишина казалась материальной и плотной, как подушка.

Гроза уходила на запад. Оттуда доносилось ворчание грома. Обрывки растрепанной, точно рваные кружева, тучи уползали за лес. Небо, еще затянутое обморочной пеленой, постепенно светлело и наливалось солнцем.

Мы плыли рядом. Плыли неспешно; я поглядывал на Ингу, выставив сосредоточенно подбородок, она скользила без единого всплеска. Мысленно я повторял ее слова, Инга произнесла их еще там, на берегу. Входя в воду, остановилась, будто о чем-то вспомнив, повернулась ко мне и сказала:

— Научиться можно только на собственной боли. Чужая боль не болит.

Наши тряпки промокли насквозь. В моем башмаке, как в ванне, нежился изумрудный лягушонок. Я научил Ингу выжимать по-матросски, в процессе мы оторвали воротник от моей рубахи и растянули ее платье ниже колен. Выжатую одежду развесили на кусте орешника.

С того берега долетел шум мотора. По тропе на песок осторожно сполз медицинский рафик с красным крестом на борту, но не белый, а линяло-коричневый — такого цвета в школьной столовке кофе, эту бурду разливают из алюминиевой кастрюли половником. Автобус развернулся, подкатил к самой воде и остановился. Из кабины вылез шофер, крепкий и бритый, как цирковой борец. Покуривая и поплеывая, он вразвалку подошел к утопленнику, наклонился. Хлопнула дверь, появился еще один, по виду санитар. На мертвеца даже не взглянул, присел на корточки у воды, что-то крикнул шоферу. Тот лениво махнул рукой. Санитар разделся, снял халат, штаны, остался в длинных трусах. Зажав ладони под мышками, жеманно ежась, зашел в воду. Поплыл, по-бабьи аккуратно гребя перед собой, сделал несколько кругов на мелководье. Вылез. Стрельнул у шофера сигарету. Тот дал прикурить от своей, после начал что-то рассказывать, показывая рукой в сторону старой ивы. По жестам я понял, что речь идет о рыбалке. Из бора послышался стук дятла, звонким эхом отразился от берега. Настойчивый и ясный, словно телеграфный сигнал, звук заметался над озером.

Появились носилки, утопленника погрузили в фургон. Санитар захлопнул заднюю дверь. На ходу выкинул окурок в камыши, сплюнул, забрался в кабину. Шофер дал газ, автобус развернулся и, покачиваясь на рессорах, скрылся за кустами орешника. Инга с момента появления фургона не произнесла ни слова. В ее руках откуда-то взялась ромашка, она мяла пальцами цветок, превращая его в желто-белую кашу.

С равными интервалами дятел продолжал выстукивать свой шифр. От этого настырного тука, а может, от душного зноя или горького запаха ромашки вдруг стало нестерпимо тоскливо — на меня такое накатывает, когда вдруг проснешься среди ночи и не понимаешь: где ты, кто ты, а главное — зачем ты.

Инга молча натянула платье, оно еще не высохло, было вся мятое, будто жеваное. Мои штаны и майка выглядели не лучше. Штаны к тому же еще и сели, штанины едва закрывали пиколотки. Не знаю зачем, я рассказал Инге то, чего никогда и никому не рассказывал, — про мою мать. Что когда родился Валет, все обошлось, но врачи предупредили об опасности новой беременности. В том военном госпитале немецкого города Ютербог врачи обнаружили у матери врожденную аневризму.

— Это расширение сосудов с одновременным утончением стенок. Ну вроде как воздушный шарик старый, понимаешь?

Валету исполнилось всего четыре месяца, и тут приходит приказ о передислокации эскадрильи отца в Латвию. Родители переезжают со всем скарбом: резные стулья, ковры, сервиз «Мадонна», натюрморт с омаром в бронзовой раме. Контейнеры, тюки,

коробки, чемоданы — железная дорога. По дороге мать простыла. Уже тут, в Кройцбурге, у нее обнаружили пневмонию.

Инга слушала не перебивая, ничего не спрашивая. Просто смотрела. Мне с трудом удалось выговорить слово «аборт».

— Короче, было уже поздно... делать, — снова запнулся, глупо хмыкнул и добавил. — Вот так я и появился на свет. А сразу после родов у нее случился инсульт. Правая сторона отнялась. У нее и сейчас... да ты сама видела. Рука просит, нога косит...

— Что?

— Ну это так врачи шутят. Шутят они так. Рука просит, нога косит...

Мы сидели в траве напротив друг друга. Озерные стрекозы, хрупкие, ультрамариновые, с фиолетовыми слюдяными крыльями, кружили над головой. Одна, расхрабившись, приземлилась Инге на коленку. Застыла, точно украшение из синего стекла. Изредка я поглядывал на тот берег — пустой и невинный. Чем пристальней я всматривался в воду, в белую полоску песка, в камыши и неподвижные сосны, тем невероятней казалась история с утонувшим парнем.

Солнце уже касалось кромки леса, тени вытянулись и стали прозрачны. Предвечерний свет, теплый, с золотистым прищуром, весело разлился по озеру, превратив воду в янтарь. На ровной глади то и дело появлялись круги — там, на середине озера, играл голавль: начиналась вечерняя зорька. Мне вдруг стало стыдно за свою откровенность, я тайком поглядывал на Ингу, мне уже чудились в ее взгляде то ли брезгливость, то ли жалость. А может, то были сострадание и милосердие — кто знает, в моей жизни с ними я не часто сталкивался.

Чтобы скрыть неловкость, я придвинулся к ней и обнял. Она сидела по-турецки, платье, натянутое меж колен, было туго как парус. На талии ткань напоминала мятую бумагу, ладонью я чувствовал, как тепло ее тело. Медленно начал пробираться ниже. Вытянув шею, хотел поцеловать, Инга увернулась, я клюнул ее в скулу.

— Пора, — она поймала мою руку. — Пошли.

— Еще рано...

— Оставайся. Мне пора.

Легко, одним движением, она встала, отряхнула подол, ладонями — сверху вниз от бедра до колена — разгладила. Огляделась — чужая, равнодушная, холодная, скользнув по мне взглядом, как по незначительной детали лесного пейзажа.

Мы вышли на проселок, я уговорил ее сесть на раму. Велосипед вихлял по ухабам, пару раз мы чуть не грохнулись. Она недовольно соскочила, не сказав ни слова, пошла дальше. Я тоже слез, держа за руль, покотил велосипед рядом.

Инга шагала впереди, взбреди мне в голову остановиться — даже не заметила бы. Но я послушно плелся следом. С тихой ненавистью глядел ей в спину. Глядел на придорожные лопухи, седые от пыли, на горбатое желтое поле в синих кляксах васильков. Появилась мошकारа, какая-то мелкая дрянь настырно липла к лицу. Хлестнул себя по щеке. Из-за рощи выглянул хутор, сначала высунулась труба, за ней серая крыша. Мы почти пришли. Вот сейчас самое время вскочить в седло и угнать — ни слов, ни прощаний, просто скупой махнуть рукой — пока, мол. Гордо и хладнокровно, без слюней и соплей розовых — по-мужски. Чтоб она застыла, растерянно попыталась остановить, крича что-то вслед, жалобно — куда, постой — но ты уже умчался, неудержимый и знающий себе цену. Да-да, вот так!

Низко над самой дорогой в сторону хутора пронеслась сорока. Уже показалась каменная ограда, за ней вишни, затянутые парашютным шелком. Инга остановилась, как-то вдруг. Не оглянувшись, выставила мне ладонь — стой.

— Что? — почему-то шепотом спросил я.

— Все. Иди.

— Слушай...

— Иди-иди, — нетерпеливо повторила она. — Иди!

Я попытался разглядеть, что она там увидела.

— Иди я сказала!

— Что там? Кто там?

— Никого!

Я вытянул шею, за оградой что-то блеснуло, зайчик вспыхнул и погас.

— Ну ты можешь... наконец... — она схватилась за руль, зло толкнула. — Наконец уехать можешь?

Я наступил на педаль, толкнул велосипед, молча запрыгнул в седло.

— Нет, вон туда! — Инга ткнула рукой в сторону, откуда мы только что пришли.

Без единого слова я развернулся, сделал круг вокруг нее. В объезд, через рощу, получалось километра на три дальше. На хуторе твякнула собака, сонно, без азарта. Я уже отъехал, но невольно оглянулся: Инга не двинулась с места, точно ждала, когда я скроюсь. Сорока снова пролетела над проселком, теперь в сторону озера. Должно быть, тоже возвращалась домой. Я мерно крутил педали, рассеянно глядя перед собой в убитую дорожную глину. Ошибиться я не мог: там, на хуторе, у сарая, стоял мотоцикл отца.

20

Час прошел в оцепенении. У водонапорной башни я почему-то свернул в сторону железнодорожного вокзала. Оставил велосипед у ступеней. Поднялся, прошел через гулкий пустой зал, из распахнутых дверей парикмахерской разило одеколоном и крахмальными простынями. В зеркалах, уходя в бесконечность, отражались важные кресла из малиновой кожи, в одном дремал старый еврей-парикмахер дядя Миша. Аккуратный и маленький, почти карлик, этот дядя Миша как-то лет одиннадцать тому назад чуть не отстриг мне ухо. Больно не было, было жутко: я видел в зеркале как на белоснежной простыне расцветают алые узоры. В ухе, оказывается, прорва мелких сосудов, и кровь остановить не так просто.

На платформе тоже было пусто и тихо. В стальных рельсах отражался закат, откуда-то тянуло горьким паровозным дымом, жирно пахли дегтем нагретые солнцем шпалы — мне вдруг нестерпимо захотелось уехать. Куда? — да куда угодно, все равно куда. Я даже на секунду представил, нет, ощутил всем нутром — рокот колес, мелькание огней, неуклонно рвущийся вперед вагон, пружинистый и быстрый. Мирный говорок в соседнем купе, мягкий и уютный, дребезжание ложки в стакане, пахучий чай, густой, с тремя кусками вагонного сахара.

Но тут же — другое видение, куда сильнее и ярче — до обморочной истомы: еще влажное платье, натянутое, как парус, между ее широко расставленных колен. Я застонал и резко согнулся, как от удара в пах. Проходящая мимо проводница испуганно отскочила в сторону. Отдалившись, обругала меня матерно.

Когда я подъехал к замку, уже смеркалось. В Доме офицеров шел какой-то фильм. Все окна в бильярдную были распахнуты настежь, оттуда долетал и говор, и стук шаров. Желтый свет золотил макушки кустов, растекался по фиолетовым клумбам, по тропинкам, посыпанным дробленным кирпичом. Приторно пахло жасмином. Отцовского мотоцикла перед входом не было.

Не было его и в гараже. Я тихо прикрыл двери, запелкнул замок. Домой идти не хотелось. На волейбольной площадке кто-то еще играл — я слышал упругие удары по мячу, гортанные выкрики. Звуки напоминали неспешную драку.

Мать сидела на темной кухне. Ее силуэт — профиль, рука, кулак в подбородок — чернел на фоне окна. На западе еще светила летняя северная заря, сизая и печальная.

— Ты... — мать разочарованно отвернулась к окну.

Я остановился в дверях. Зачем-то начал разговор, так, ни о чем. Она не отвечала. От ее молчания, обиженного поворота головы, от мертвых сумерек и стука волейбольного мяча я начал чувствовать себя виноватым. Чувство вины росло по мере ее тягостного молчания, это напоминало тихую пытку — я уже был готов сделать все, лишь бы это прекратить. Ее молчание с каждой моей фразой становилось все невыносимей, я сорвался, начал спрашивать, в чем я провинился, за что она мучает

меня. Без ответа. Паузы после моих вопросов заполняло молчание. И стук мяча. Смачные удары, словно кого-то от души и с толком били кулаком в лицо. Она сидела неподвижно, лишь кисть руки, что лежала на коленях, мелко подрагивала. Рука просит, нога косит...

Я не выдержал — начал униженно просить прощения. Умолял простить меня за грубость, за невнимание, за школьные грехи — пытался вспомнить каждую мелочь.

Она повернула голову, лица разглядеть я не мог. Сказала с грустным безразличием:

— Какой смысл? Ну прощу я тебя? И что?

— Обещаю, я тебе обещаю...

Она уныло рассмеялась.

— Честное слово...

— Честное слово? — удивленно повторила она. — Ты? Каким образом человек без чести может дать честное слово? Человек без совести. Без элементарного уважения — как такой может рассуждать о чести? Эгоист, которому наплевать на всех — на брата, на отца, даже на мать.

Она продолжала говорить. Перламутровое окно подернулось мутью, потемнело, стало лиловым. Цвет странный, какой-то пыльный, вроде как у тех синих слив с седым налетом.

— А вранье? Патологическое вранье. Шага не может ступить без вранья. Верно тогда Полина Васильевна тебя назвала...

— Это ж в третьем классе...

— Он говорит — в третьем классе! — Горькая усмешка. — На все есть ответ у него. На все есть оправдание.

Вспомнились разбитые и давно забытые вещи. Мной забытые — у матери оказалась отменная память. Какие-то стертые двойки в дневнике. Записи гневных учителей. Какие-то драки, синяки и порванные штаны. Я слушал: постепенно, точно чья-то плавная рука приподнимала занавес. Истина оказалась банальной, да и лежала она на поверхности. Мне было страшно на нее взглянуть — раньше. Раньше? — всю жизнь.

— Мама, — произнес я глухо. — А ведь ты меня просто не любишь.

Я перебил ее, она замолкла на полупhrазе. Застыла. В это мгновение у меня еще оставалась надежда, что она возмутится, возразит, скажет что-нибудь обидное. Упрекнет или оскорбит. Нет, ни звука, она даже не вздохнула. Просто отвернулась к окну. И все.

Отец вернулся около полуночи. Подъезжая, он скинул газ, мотор «Мефисто» урчал на низких оборотах, совсем как сытый хищник. Потом смолк. В наступившей тишине звякнул замок гаража, скрипнули ворота. Послышались шаги, хруст гравия, тихое посвистывание. У подъезда остановился, закурил. Я представил его лицо, красивое, чуть грубое от проступившей шетины, как он с удовольствием затягивается и выпускает дым в ночное небо, разглядывает звезды, вслушивается в осторожное пение соловья и далекие звуки железнодорожной станции — сильные гудки и вздохи маневрового паровоза, бормотание сонного репродуктора, клацанье вагонных буферов.

Я лежал лицом к стене, Валет сидел за своим столом — зубрил билеты по физике. Мы с ним не перекинулись ни словом. Иногда он что-то шептал, должно быть, хвалил себя — так, хорошо, хорошо, — шумно листал учебник и шуршал бумагой. Я царапал ногтем штукатурку, лелея тайную надежду, что, когда я усну, брат задушит меня. Или пережмет мне горло своим перочинным ножом. Или еще каким-нибудь образом положит конец моим мукам.

21

Утром я проснулся жив-здоров, но с муторной тяжестью на душе. С предчувствием беды — так пишут в романах. Умылся, без завтрака пошел в школу. Экзамен подходил к концу, в коридоре маялись двоечники. Слонялись от стены к стене, трусливо переговаривались. Подскакивали к выходящим из класса, кланчили у них шпаргалки.

— Какая-то гримза прикатила из Плявиниса, — пожаловался мне Никандров, очкарик по кличке Бацилла. — Из РОНО. Зверствует, курва.

— Два банана уже вкатили, — поддакнула Пономарева. — Хвощу и Дятловой.

Приоткрылась дверь, в коридор по стенке выполз Арахис. Красный лицом, он был потен, точно грузил мебель.

— Фу! — выдохнул и провозгласил триумфально: — Три балла! Закон Бойля-Мариотта, мать его ети!

— Титан! — Я ткнул его кулаком в грудь. — Шпоры есть?

Арахис полез во внутренний карман, вынул бумажную гармошку, исписанную бисерным почерком. Бумага была мятая, теплая и влажная, кое-где буквы расплылись, как от жира. Я узнал почерк.

— Кутя? — спросил, складывая гармошку.

— Она! — Арахис вытер рукавом лицо. — Богиня!

Тут Арахис загнул. Худая, с бледными губами, она больше напоминала хворую птицу. У Кутейниковой я списывал регулярно. Скорее всего, я ей просто нравился, она была отличницей и активисткой, но мне, троечнику и разгильдяю, не отказывала никогда. Лишь укоризненно хмурилась и по-взрослому качала головой.

Спрятав шпаргалку в карман, я взялся за ручку двери.

— Чиж! — поймал меня за воротник Арахис. — Лукич-то где?

Он снял со своего лацкана комсомольский значок, протянул мне. Я пристегнул значок и распахнул дверь.

— Можно?

Через минут сорок я сдал экзамен по физике, сдал на «удовлетворительно». Спасся снова благодаря Милке Кутейниковой. Как это ни странно, отчасти благодаря и моему брату. Гримза из центра, чернявая и бровастая, в свекольного цвета костюме, наклонясь к нашей физичке Елене Семёновне, тихо спросила:

— Тот Краевский — брат этого?

Елена Семёновна, сложив накрашенные губы гузкой, — словно собиралась кого-то чмокнуть, — трагично и молча покачала головой — увы.

Выйдя из кабинета физики, я не ощутил ни радости, ни облегчения. Предчувствие беды, будь оно неладно. Побрел по пустому коридору, школа воняла краской и сырой побелкой: на верхних этажах уже начали летний ремонт. Дверь в учительскую была приоткрыта. Я просунул голову и заглянул — никого. Длинный стол был заставлен цветами в простых вазах и стеклянных банках, некоторые букеты уже подвяли, другие были принесены только сегодня. На дальнем конце я увидел телефонный аппарат.

Скрипя паркетом прокрался, поднял трубку, набрал номер. В мембране долго трещало, точно кто-то никак не мог решиться. Наконец соединили. Потекли длинные гудки. Озираясь на дверь, я ждал. В учительской стоял тяжелый цветочный дух, пованивало болотом от протухшей воды. Про себя я повторял фразу, которую ей скажу.

Но к телефону подошла ее мать, я растерялся, сперва пытался вспомнить, как зовут мать — почему-то на языке вертелась Линда, но я точно знал, что не Линда, — потом говорить стало уже поздно. Она повторяла вопросительно — аллю, аллю — тон становился все строже, все сердитей. Я молчал, к тому же зачем-то зажал ладонью микрофон в трубке, словно по дыханию она могла определить, кто звонит. Наконец раздались короткие гудки.

У школьного подъезда прямо на ступенях сидели «ашники», в параллельном я толком никого не знал. Мальчишки внаглую курили, развалившись, поплевывали под ноги, уже сняли пиджаки и закатали рукава рубашек. Девушки в белых фартуках, похожие на официанток, крутились перед парнями, хохотали звонкими и фальшивыми голосами.

— Краевский! — кто-то окликнул меня.

Я повернулся, толстушка из третьего дома, кажется, Рита.

— Арахис просил передать — все ваши на понтоне. Отмечают.

— Понял. Спасибо, Рита.

— Вета!

— Спасибо, Вета.

Телефон на углу не работал. Другой автомат был у стекляшки. Я перебежал через улипу, на ходу выудил мелочь из кармана, нашел двухкопеечную монету. Что-то у меня сегодня с именами какая-то незадача. Как же зовут ее мать? Снова на ум лезла проклятая Линда. Я быстро шагал, стараясь, как в детстве, не наступать на трещины в асфальте. На самом деле это не так просто, как может показаться. Особенно, если идешь быстро. Загадал, что если получится, к телефону подойдет она.

Но снова подошла мать. Строгое «аллю», и еще до того, как я успел вымолвить слово, она зло отчеканила:

— Молодой человек! Прекратите звонить! У нее выпускные экзамены и не имеется времени для глупостей!

И повесила трубку.

Я стоял в душевой будке. Воняло мочой и окурками. Рубаха прилипла к спине, железный корпус телефонного аппарата был жестоко испаран. Стенка, крашенная бугристым серым маслом, тоже. Можно было разобрать ругательства, имена и цифры. Царапали, наверное, ключами — что еще у человека всегда под рукой, не гвоздь же. Голос ее матери — злобный тон и деревянный балтийский акцент — крутился в голове, как магнитофонная пленка, снова и снова. Такими голосами говорят гитлеровцы в фильмах про войну — высокомерно и брезгливо кривя мокрые губы, будто съели лимон.

Я пошел в сторону гарнизона. В Доме офицеров есть телефон. Уже придумалась фраза, которую я скажу ее матери. Имя я так и не вспомнил — ничего, обойдусь и без имени. У пожилого латыша учительского вида попросил закурить, старик достал пачку «Беломора». Я выудил папиросу, звонко дунул.

— А вот где ты был, дедушка, в сорок пятом? — ласково спросил его я, сложил картонный мундштук гармошкой и сунул «беломорину» в зубы. — Огонь-то есть?

Шурочку Рудневу я заметил издали. Она торопливо шагала навстречу, то семеня, то переходя на забавную иноходь; бежала она как-то боком, припадая, точно одна нога была короче другой. Мне стало смешно, я уже собирался выдать какую-то шутку, но тут увидел ее лицо. Белое, испуганное, некрасивое. Что-то случилось, случилось что-то жуткое: с этого момента до того, как она начала говорить, мой мозг лихорадочно перебрал дюжину вероятных несчастий — смерть, пожар, мать, отец, брат, кто-то из друзей. Глаз зафиксировал за эти секунды несколько совершенно неважных деталей, которые впечатались в мою память как символы беды: тень ограды на асфальте, похожая на тюремную клетку, порыв колючего сухого ветра, смятая обертка от конфеты «Грильяж». Да, и еще Шурочкины сандалии, ярко-красные, как сырая кровь.

— Мать... — Руднева задыхалась. — Твою увезли в больницу... На скорой увезли...

— Не-ет... — сумел проговорить я. — Нет-нет.

Дальнейшие события происходили рывками, словно кто-то разрезал кинолентку на куски, а после склеил как попало. Непонятно, как я очутился в больнице. В коридоре у стены сидел отец, во рту держал незажженную сигарету. Валет ходил, воткнув руки в карманы. На нем была белая рубаха, расстегнутая на груди, из пиджачного кармана торчал треугольный хвост полосатого галстука. Тут же, на подоконнике, сидел Женечка Воронцов.

Больничная вонь, линолеум на полу, алюминиевые стулья у стенки, хлипкие, у нас в столовой такие же. Холодный бледный свет — от этого света у всех лица пепельно-лимонные, как у покойников; я ворвался, влетел, а на меня лишь мельком взглянули, никто не произнес ни слова. Тут же понял, нет, почувствовал: спрашивать ничего нельзя. Надо молчать. Молчать и ждать. От бега я задыхался, хватая ртом воздух, я встал спиной к стене, прижал ладони. Коридор был выкрашен скучной бежевой краской. На ощупь она была скользкой и влажной.

В больничном туалете, обливаясь, пил из крана воду. Потом сунул голову под струю. Вода лилась за шиворот, по груди, по рукам.

Когда я вернулся, Воронцов исчез. Валет теперь сидел рядом с отцом. Тот, казалось, даже не шелухнулся с моего прихода: прямая спина, руки на коленях, чистая белая сигарета. Он сидел, глядел в стену и шурился. Словно что-то прикидывал в уме. Люминесцентная лампа над его головой моргала и тихо зудела. От моргания и этого зуда можно было сойти с ума.

Откуда-то сверху спустился врач, я услышал шарканье подошв по гулкой лестнице, потом увидел его в конце коридора. Врач подошел, позвал отца с собой. Отец молча поднялся, мы остались с Валетом вдвоем. Я отошел к окну, оно смотрело во внутренний двор. Небо загораживала красная кирпичная стена, по длинным теням я догадался, что уже вечер. У железных мусорных контейнеров курила медсестра, она затягивалась по-женски неглубоко, но часто, будто торопясь. Я видел ее спину, из-под платка выбились светлые волосы. Не докурив и половины, она несколько раз неуклюже ткнула сигарету в борт контейнера. Выбросив окурочек и отряхнув ладони, медсестра обеими руками задрала подол халата вместе с юбкой. Мелькнули бледные ляжки, голубое белье. Она подтянула чулок, поправила резинку. Я не успел отойти от окна, она оглянулась. Мы встретились глазами, это была мать Инги. Марута звали ее — я вспомнил. Почти так же как и мою мать.

Отец вернулся один. Валет спешно поднялся, выпрямился. Отец опустился на тот же стул, на котором сидел раньше. Положил ладони на колени. Я помнил правило — не спрашивать. Пока слово не произнесено, того, что оно означает, нет. Не существует. Лампа в потолке зудела и моргала. Зудела и моргала. Отец рассеянно, будто пытаясь что-то вспомнить, встал, медленно поднял стул за спинку и со всего маху треснул по плафону.

22

Похороны и поминки прошли как в бреду. Из той недели выпали целые куски, точно я смотрел фильм, то засыпая, то просыпаясь снова. Беда рассекла нашу жизнь на до и после. Все, что казалось невероятно значительным, не просто стало менее важным, оно потеряло всякий смысл. Откровение, безусловно, банальное, но суть тут именно в личном опыте: одно дело прочитать про ожог и совсем другое схватить раскаленную докрасна кочергу голыми руками.

Приехала незнакомая материнская родня из Кировограда, круглая тетка и две некрасивые девицы. От тетких рук, маленьких и тоже круглых, будто опухших, постоянно воняло луком. В доме с утра толпились какие-то люди, некоторых я знал, других видел впервые. Иногда со мной пытались говорить, я молчал, не понимая, какими словами и на каком языке объясняются люди, когда в соседней комнате стоит гроб. Но люди снова и снова подходили, трогали меня за рукав или пытались обнять за плечо. От их слов становилось еще тошнее. Я бы мог посоветовать этим соболезающим сжать раскаленную кочергу, но думаю, они бы вряд ли поняли, о чем идет речь, и решили, что я тронулся умом. Я понял — есть две вещи, которые объяснить невозможно: одна из них смерть, другая — любовь. Тоже банально, банально...

Кировоградская тетка жгла свечи, даже на лестничной клетке стоял церковный дух гари и теплого воска. Зеркала она завесила черным тюлем, люстра тоже была в

черном мешке и походила на повешенного лилипута. Тетка делала все неторопливо, ее обстоятельные руки, смуглые, цвета копченой камбалы, уверенно резали ножницами капроновую ленту и вязали банты; вновь прибывающие венки, на ее взгляд, были недостаточно нарядны, она принаряжала их пластиковыми гвоздиками и креповыми лентами.

После теми же опытными руками она рылась в материнских вещах, чинно и обстоятельно, так торговка на рынке выбирает персики; какие-то вещи аккуратно складывались в раскрытый чемодан, другие отправлялись в пропахший нафталином мешок, в котором раньше хранилась каракулевая шуба. На матери эту шубу я видел лишь на старых фотографиях из Ютербога. Шуба уже лежала на дне чемодана. Дочки, в одинаковых кофтах домашней вязки, сидели мышками рядом и следили за руками матери; лишь изредка вспыхивали глазами и начинали горячо шептаться.

В один из дней, прячась от людей, я закрылся в ванной. Свет включить забыл. Наощупь нашел раковину. Опустился на колени — кафель был как лед, лбом уткнулся в холодный край ванны. Сложил ладони, они были влажные и тоже ледяные. Никаких молитв я не знал. Но я надеялся, что дело тут не в словах, не урок же литературы, где за чтение стиха наизусть тебе ставят отметку. Не может этого быть, иначе какой смысл? Зубрилы — в рай, остальные в кипящую смолу, так что ли? Ведь суть в твоей совести... хорошо-хорошо, назови это душой.

Взгляни в себя — в душу свою, в совесть, взгляни и честно признайся во всем. Да, в грехах, назови это так. Ведь нелюбовь к матери — грех. И ее нелюбовь к тебе не умаляет твоего греха. И согласись: не любить тебя у нее было гораздо больше оснований — именно твое рождение сделало ее калекой, вот уж воистину первородный грех, а вовсе не какие-то запретные яблоки! Рука просит, нога косит. И та вскинутая бровь — осуждающий взгляд, но никого она не осуждала, просто была несчастна и одинока. Да, по твоей вине, хоть и без злого умысла, или как там говорят эти прокуроры: непредумышленное преступление? — не знал, не ведал, — но незнание не отменяет наказания, нет-нет, ни в коем случае не отменяет.

Едва родившись, ты одним махом разбил вдребезги ее жизнь: никогда больше она не будет смеяться, кататься в лодке по озеру, срывая желтые кувшинки, цветы упругие, будто резиновые; не будет больше танцев и веселых пикников, никаких летних платьев — ярких, на тонких бретельках и с открытой спиной, никаких босоножек на шпильке — ведь нога-то косит, косит, косит; и украшения, все эти сережки, колечки-цепочки, бусы из янтаря, похожие на облизанные леденцы, все так и будет лежать в резной шкатулке из светлого дерева. И никогда она уже не будет больше бегать по траве, собирать в букет простые цветы — одуванчики, васильки да ромашки, она их больше всего любила, а ей напоследок пластмассовых гвоздик навставляла эта дура кировоградская.

И если есть ад, то вот он — внутри. В твоей грудной клетке. И он навсегда, как бы ты ни пытался оправдаться, каких бы пронырливых адвокатов и шустрых бесов ни нанял, тебе, милый друг, не выкрутиться, нет-нет-нет. Вина известна, приговор вынесен и уже выжжен на изнанке твоей души, вот он — достаточно туда заглянуть — в душу. Или в совесть, как сказал бы я. Готов ли ты тащить такую боль незнамо сколько лет, изо дня в день, а особенно глухими ночами, просыпаясь в гробовом мраке, точно ты уже там, в могиле, где бессмысленно и одиноко, космически одиноко — готов ли? И где смысл? В чем цель? И как же обмануть самого себя и убедить в необходимости продления абсурда. Какими словами, какими доводами — да и есть ли они?

Отца отстранили от полетов. По семейным обстоятельствам и временно — так было написано в приказе, отец забыл бумагу с печатью и подписью командира эскадрильи подполковника Карпышева на кухонном столе. Каждое утро отец все так же уезжал на аэродром, в то же самое время — в семь тридцать. Мы с Валетом его не

расспрашивали, мы и раньше с отцом разговаривали мало, говорили о всякой ерунде — рыбалке, футболе, мотоциклах и самолетах. Сейчас темы эти потеряли смысл. Принято считать, что беда сближает — увы, не наш случай. С нами произошло обратное.

Однажды, вернувшись домой за полночь, я застал отца на кухне. Еще на лестничной клетке в нос шибануло паленой бумагой. Дверь в квартиру была приоткрыта. Каждый раз, заходя в подъезд, я мысленно видел крышку гроба, стоящую в углу. Крышка была затянута крепом и украшена черными капроновыми бантами. По краю шла алая лента, присобранная в кокетливые рюшки. В моей памяти крышка гроба осталась символом сочетания невыносимого горя и невероятной пошлости.

Отец был пьян. На кухонном столе горела керосиновая лампа, немецкая, трофейная, которая зажигалась, если в доме отключали электричество. На алюминиевом боку лампы был выбит орел, держащий в когтях венок со свастикой. Свастику кто-то не очень аккуратно спилил рапицей. По столу были раскиданы какие-то бумаги, открытки, фотографии. Рядом поблескивал графин — тоже трофейный, в хрустальных гранях оранжевыми искрами отражалось пламя фитиля. На полу в центре кухни стояло жестяное ведро, внутри что-то тлело. Дым тянулся к потолку, мутные пласты пыли по кухне и лениво вытекали в распахнутое окно.

Отец поднял глаза. Не сказав ни слова, налил из графина в чашку. Протянул мне. Я сделал глоток, похоже, это был коньяк. Допил, поставил чашку на стол.

— Слышишь? — спросил отец негромко.

Я прислушался. Вокруг лампы крутились мелкие мошки, с едва уловимым звоном они бились о стекло. В черном проеме распахнутого окна виднелись неясные силуэты ночных лип. За ними кусок бархатного неба, тусклые точки звезд.

— Слышишь? Вот...

Нет, я не слышал ничего. Лишь тихий, едва различимый звон — то ли ночных жуков, то ли с озера долетали трели лягушек. То ли так звучит сама тишина.

— Ну?

Его голос казался странным, чужим. Да и лицо, освещенное снизу, с угольными тенями вместо глаз, лицо тоже казалось не совсем отцовским. Словно кто-то не очень умело притворялся им. Отец ухватил графин за длинное горлышко, налил полную чашку. Заткнул графин пробкой. Притертое стекло шершаво скрипнуло. Хрустальная пробка, никак не меньше яйца, в наших детских играх, в зависимости от тематики, именовалась то Глазом Циклопа, то Бриллиантом Махараджи. Волшебный алмаз искали по квартире то рыцари-крестоносцы, то пираты, а то и сам Робин Гуд.

Отец двумя пальцами поднес чашку к губам и неспешно выпил. Посмотрел на меня. Его глаз я не видел, только два черных круга. Во рту от коньяка осталась горечь, мне хотелось пить, но я отчего-то боялся даже пошевелиться.

— Да, — пробормотал. — Да, слышу.

Отец довольно кивнул. Поставил чашку, вытащил из вороха бумаг открытку, новогоднюю, с ночным Кремлем, звездой и курантами. Приблизил открытку к стеклу лампы, начал читать. Узкое пламя внутри пузатой колбы подрагивало, отец, казалось, то хмурится, то хитро ухмыляется. Если только это был действительно отец.

— ... и счастья в личной жизни, — он хмыкнул, перевернул открытку. Разглядывая картинку, задумчиво повторил. — В личной жизни...

Лампа коптила. Отец подкрутил фитиль, огонек вытянулся, из лимонно-желтого у основания он переходил в красный, утончался, превращаясь в хищное малиновое жало.

— И успехов в боевой и политической подготовке... — отец тихо засмеялся, поднес открытку кверху лампы. На Спасской башне появился темный круг, он быстро почернел и вдруг прорвался и вспыхнул огненным кольцом.

— Недобрый знак... — отец покачал головой. — Но ведь никто не поджигал, само загорелось. Но с другой стороны — как же может само? Явный знак...

Отец ждал, пока пламя подобрется к самым пальцам, потом бросил догорающую открытку в ведро.

— Хотя ты и знаешь, что жизнь не твоя, чужая, а живешь. И не возражай — и ты знал, да и я тоже.

Мне стало не по себе, отец обращался не ко мне, он говорил с кем-то третьим.

— И тот пожар, бесспорно... Ну как иначе, если в самый день свадьбы — явный знак. — Он подул на пальцы. — Явный знак. Ведь мне-то думалось: все после можно исправить, ну наделал глупостей, так что ж — вся жизнь впереди. Нет, друг мой, нет.

Он усмехнулся, вытащил из стопки бумаг фотографию.

— Семейство Краевских в полном составе, — прочитал на обороте. — Город Ютербог.

Края фотографии были обрезаны фигурным ножом по моде того времени, должно быть, в каком-то немецком фотоателье. Отец поднес фото к верху лампы. Угол тут же потемнел от копоти и начал скручиваться, как береста.

— Явный знак.

Я попятился, осторожно вышел в темный коридор и прикрыл кухонную дверь. Пробрался в нашу комнату. Не зажигая света, разделся и лег. Постепенно из темноты стали проявляться призрачные предметы — спинка стула, раскрытая книга на столе, гладко заправленная кровать брата с безукоризненным конусом подушки. Чернильный прямоугольник окна, перечеркнутый еще более черным крестом рамы. В раскрытую форточку тянуло теплом и мягкой свежестью, должно быть, только что прошел дождик. Там, снаружи, таинственно, словно подавая сигнал, пела какая-то ночная птица. Она высвистывала всего три ноты, хрупких, стеклянных. Птица повторяла их с равными промежутками, снова и снова, как нехитрая заводная игрушка.

— Явный знак... — прошептал я, проваливаясь в сон.

24

На следующий день я встретился с Ингой.

Она звонила и раньше, звонила несколько раз. Всякий раз я слушал ее голос и не мог произнести ни слова. Слушал и вешал трубку. Она позвонила утром. Мы не виделись больше месяца, сказала она, с начала июня. Ты же знаешь, что случилось в начале июня, ответил я.

— Знаю.

В ее голосе не было жалости или сострадания. Именно поэтому я и согласился встретиться.

Со мной происходило странное: часть моих чувств притупилась, другие чувства атрофировались. Мне всегда представлялось романтической чужью выражение «что-то умерло в душе моей», теперь смысл этих слов выглядел не просто вполне убедительной фразой, а почти медицински точным диагнозом. Должно быть, перемена была и внешней, не знаю, по крайней мере, появилось ощущение, что меня стали избегать. Даже всякие полужнакомые и соседи при моем появлении углублялись в созерцание своих наручных часов или изучение трещин на асфальте. Казалось, что горе было инфекционной болезнью. Что беду можно подцепить, как какой-нибудь грипп. Меня избегали, как прокаженного.

Мы встретились на берегу озера. Я нарочно приехал чуть раньше — осмотреться. Бросил велосипед, пошел к воде. Тут все было как прежде: шорох вкрадчивых камышей, кривая ива, отраженная в озере, темный бор на обрывистом берегу. Из красной глины торчали корни сосен. Как бледные змеи, они сползали к воде.

Да, тут не изменилось ничего. Как же я любил бывать на озере, и насколько безразлично оно стало мне теперь. Я видел белый песок, полого уходящий в синеватую, как бутылочное стекло, воду; вон у тех камышей я вытащил на спиннинг свою первую щуку — здоровенную, почти на два кило; за большим камнем, что торчит из воды и похож на сгорбленного монаха, мы ловили раков — господи, как же вкусны раки,

сваренные на лесном костре! Все это я понимал, понимал разумом, но не чувствовал — чем там чувствуют? — сердцем, душой? Нет, не чувствовал ни душой, ни сердцем. Там, внутри меня, что-то разладилось, что-то сломалось, может, какая-то пружина, заводная стальная крепкая пружина, которая заставляет нас двигаться, суетиться и интересоваться, которая принуждает нас жить. Пружина жизни — назовем ее так.

— Вон та белая полоска песка, где лежал утопленник, — я показал рукой в сторону дальнего берега. — Помнишь?

Инга посмотрела туда, потом снова на меня.

— Все помню, но вот тут — ничего, — я стукнул кулаком в грудную клетку. — Пусто.

Звук действительно вышел глухой и гулкий. Инга прикусила нижнюю губу, сказала:

— Так тебе нужно, чтоб я тебя жалела...

— С чего ты...

— Думала — соскучился, хочет меня...

— Да хочу, хочу! — сорвался я на крик.

— ...хочет видеть меня...

— И видеть хочу! И видеть тоже! Только, знаешь ли, у меня мать умерла и поэтому...

— Месяц назад, — сказала сухо.

Я поперхнулся, замолчал. Потом тихо произнес:

— Ты злая.

— Жизнь злая. А я хочу тебе помочь. Ты что ж, думаешь, ты один такой — с горем?

Инга начала говорить, спокойным, негромким голосом. Она рассказывала о себе, но интонации были ровные, почти монотонные — так пересказывают чью-то не слишком увлекательную историю. Я слушал и молчал, над озером плыли мохнатые летние облака, их белые отражения ползли по стеклянной воде и тянули за собой опрокинутую небесную синь; постепенно мне начало казаться, что это мы куда-то дрейфуем — так бывает, когда сидишь в лодке и глядишь назад.

Инга родилась на хуторе. Когда ей исполнилось три года, арестовали отца. Русские солдаты. Потом военные приезжали снова, она пряталась на сеновале и видела, как военные насиловали ее мать. Видела, как солдаты били деда. Она все видела и она все помнит. Хотя потом доктор говорил, что она это придумала. Соседей с окрестных хуторов тоже арестовали, почти всех. Тех, кто остался, затолкали в грузовики и отвезли на станцию. Мать собрала вещи в узел, они ждали, когда приедут за ними. Солдаты приезжали еще несколько раз, цепью шли по полю, прочесывали лес. Со стороны болот доносилась стрельба, выстрелы звучали глухо и совсем не страшно. Словно там ломали сухие палки.

— Нас не депортировали. Из всей округи только нас. Не знаю почему, — Инга посмотрела на озеро, потом на небо. — Я до шести лет не разговаривала. Совсем. Меня даже в школу не хотели брать. А потом, когда начала говорить, заикалась страшно. В классе дурочкой считали.

Она нервно дернула плечом.

— А мне плевать: Инга-заика, Инга-дурочка. Главное, не лезьте ко мне.

Последнюю фразу она произнесла холодно и зло. А может, мне так показалось из-за ее акцента, твердые звуки напоминали стук деревянных кубиков. Я ощущал, что со мной творится что-то неладное: в горле застрял ком, но вдохнуть я боялся — был уверен, стоить мне открыть рот и я разревусь, как ребенок. Боль, что копилась внутри целый месяц, была готова вырваться наружу.

И еще — Инга оказалась такой же переломанной, как и я.

— Отца не помню... — она задумалась, — совсем. Фотографии забрали солдаты. Зачем? Ни одной не осталось... Еще часто думаю про тех людей, на болоте. Ведь у человека есть предел... ну как назвать? — предел страданий? Предел мучений? Ведь они там прятались больше десяти лет. Или те — в Саласпилсе. У Круминьша дед там

мертвых сжигал. Такие большие печи и рельсы специальные, чтоб легче. Нас возили на экскурсию. А дед Круминыша умер два года назад, он тоже молчал всегда.

Нас тоже возили в Саласпилс на экскурсию, но говорить об этом я не стал. Ни про кирпичную трубу, ни про те страшные печи с чугунными дверями и засовами, крепкими стальными, словно кто-то боялся, что горящие мертвецы полезут обратно.

Жалость, невыносимая, жгучая жалость душила меня — жалость к ней, к себе, к этому пустому озеру, к темно-голубому небу, к невинным и глупым облакам. К тем, кого сжигали в печах, и к тем, кто прятался на болотах. Вместе с жалостью пришла ярость: ее обидчиков я был готов растерзать голыми руками. Жуткое и восхитительное чувство — мне хотелось рыдать и смеяться одновременно. Но больше всего на свете мне хотелось схватить эту девчонку, прижать к груди изо всех сил — до боли. Слиться с ней. Стать чем-то единым, чтобы больше никто и никогда не посмел обидеть ее. Я был готов умереть за нее. Мало того, такая смерть казалась счастьем.

Взяв за запястья, я хотел притянуть ее к себе.

— Не надо. — Инга освободилась из моих рук. — Не сейчас. Не надо. Прости.

Я нехотя отпустил.

— Прости, Чиж. Мне кажется иногда, что я до краев, по самое горлышко, — она резко провела ладонью по подбородку. — Что внутри просто нет больше места ни для чего. Ни для жалости, ни для...

Она махнула рукой, закусив губу, уставилась куда-то поверх моего плеча.

— Знаешь, это как с водой — если ее морозить, то она перестает быть водой. Она превращается в лед.

— Предел страданий? — спросил.

Она даже не кивнула, продолжала шуриться, словно пытаясь разглядеть что-то на дальнем берегу. Высоко над нами прочертил небо истребитель, раздался гулкий хлопок, точно выстрел — самолет преодолел звуковой барьер. Теперь звук мотора долетал до нас едва слышным комариным звоном. Впервые я знал точно, что там, в кабине, не мой отец. Его отстранили от полетов еще на две недели. На следующей неделе он собирался в Ригу, на четверг была назначена медкомиссия.

— И еще... — Инга начала, но замолчала, словно передумав.

— Ну?

— Твоя мать...

— Что?

— Когда ее привезли в больницу, думали, что инсульт... — она снова запнулась.

От предчувствия чего-то страшного меня замутило. Хотелось зажать уши. Молчи, хотелось крикнуть, больше ни слова! Ничего не хочу знать! Но я обреченно стоял и ждал. Стоял и слушал.

Инга говорила: медицинские термины и названия лекарств напомнили школу — то ли биологию, то ли химию. Антикоагулянты и аритмия, ишемический криз и геморрагический инсульт, еще какие-то слова, которых я не запомнил. Мне хотелось остановить ее, пока она не сказала самого страшного.

— Откуда... — выдавил я шипло, — ты все эти...

— Мать дежурила в реанимации. Она медсестра там, старшая медсестра...

— Нет. Я про слова... Геморрагический...

Пришла на ум Гоморра, город-побратим Содома, уничтоженный Богом за грехи жителей: «ибо были люди те злы и весьма грешны и пролил Господь на них огонь и потоки горящей серы». И если из Содома спасся Лот с дочерьми, то население Гоморры...

— Чиж!

Инга дернула меня за рукав, без особого желания я вернулся на озеро. Находиться здесь очень не хотелось, к тому же я вдруг усомнился в справедливости Всевышнего: наверняка в Содоме и Гоморре погибли и дети — их-то за что? Не могли же и младенцы быть настолько грешны, что их следовало сжечь заживо.

— Ты... — она заглянула в глаза, — ты понял?

— Детей за что?

- Каких детей?
— Его нет. Его же просто нет... Не существует.
— Кого? — Инга взяла меня за плечи. — Ты понял — она сама. Те таблетки... Она сама хотела...
— Не сама, — устало сказал. — Не сама. Это мы. Мы все. И я тоже.
Мы стояли молча, руки мои казались тяжелыми, словно я ворочал камни.
— А отец знает, — спросил, — про таблетки?
— Да, — она кивнула. — Мать слышала, как врач ему говорил.

25

Из Риги отец вернулся под вечер, вернулся злой. В гражданском костюме он выглядел ряженым — бухгалтером или каким-то строительным инженером, да и костюм был так себе — коричневым. Похоже, по дороге отец успел выпить. У нас хватило ума не расспрашивать его про медкомиссию.

Валет перестал меня замечать. Совсем. За месяц мы сказали друг другу дюжину фраз, не больше. Думаю, то был инстинкт самосохранения, мой пылкий брат боялся не сдержаться: он и до этого в драках особым милосердием не отличался, колотил меня жестоко, часто бил в кровь. Нынче, думаю, синяками и разбитым носом дело бы не ограничилось. За последний год Валет раздался в плечах, заматерел, неожиданно превратившись из долговязого парня в жилистого мужика с мускулистыми руками и здоровенными крепкими кулаками.

Иногда, боковым зрением, я ловил на себе его взгляд — не ярость и не злость, скорее, глухая ненависть была в том взгляде. Как пишут в романах: если бы взором можно было убить.

Очевидно, брат снова винил меня во всем: он пропустил экзамены в свое летное училище, школа закончилась, впереди простирался целый год неподвижной пустоты. Педант, организованный до маниакальности, брат бесился от любого изменения своих планов; с третьего класса он вел личный дневник, каждую неделю вычерчивал по линейке сетку календаря, сверху проставлял числа, а в клетки дней вписывал бисерным почерком запланированные дела, которые по исполнению сладострастно зачеркивал крест-накрест жирным красным карандашом. Красный никогда не выходил за границы своей клетки, две диагонали точно упирались в углы квадрата.

Брат постригся налысо. Неожиданно сизый череп оказался почти идеальной формы, над левым ухом белел короткий шрам с тремя стежками (мне так и не удалось вспомнить, когда Валет заработал эту отметину). Появился ритуал: каждое утро Валет взбивал в алюминиевой плошке мыло, помазком намазывал голову, а после, сосредоточенно пялясь в зеркало, соскребал пену бритвой. Бритва, помазок из седой щетины и алюминиевая плошка входили в комплект, упакованный в несессер свиной кожи, принадлежавший некогда гауптшарфюреру СС Юргену Вульффу. Имя и звание владельца было вписано в карточку, вставленную в прозрачный кармашек внутри. На коже футляра, вытертой до белизны, проступали тисненая надпись готикой «Тотенкопф» и эмблема с двумя молниями.

Бритвенный комплект Валет выцъганил у Женечки Воронцова. В последнее время они странно сблизились, я все ждал, когда и Женечка сбреет свою шевелюру. Школьная компания наша распалась: Сероглазов уехал в Ригу, говорят, поступил в политех; Арахиса батя устроил в мастерские при части, он теперь ходил по гарнизону в летном комбинезоне с закатанными по локоть рукавами, демонстрируя чумазы пролетарские руки.

Сам я стал ассистентом фотографа. Можно сказать, абсолютно случайно. Бродя по латышской части города, увидел объявление в витрине фотоателье. Впрочем, не оно меня заинтересовало, а сова. Она сидела за стеклом среди антикварных фотоаппаратов и мутных фото в черных рамках. Птица казалась чучелом; пыльная, точно обсыпанная пеплом, она устроилась на допотопном фотоувеличителе.

Я приблизился вплотную к стеклу, стукнул пальцем. Сова вздрогнула и открыла глаза. Я отпрянул — не знаю, кто испугался больше, я или птица. Глаза у нее были огромные — с пятак, ярко-желтые, с черными дробинками зрачков.

— Опыт есть? — На пороге стоял белесый латыш, почти альбинос, в белой рубашке с малиновой бабочкой на шее. В зубах у него дымилась лакированная трубка с длинным чубуком.

— У вас там сова.

Латыш пыхнул трубкой, выпустил клоч густого дыма, который, сонно клубясь, поплыл в мою сторону. Я вдохнул медовый аромат, латыш явно знал толк в хорошем табаке.

— Как фамилия?

Я назвал.

— Поляк? — почему-то обрадовался фотограф.

— Да, — соврал я.

— Бардзо ми пшеемне пожначть!

— Дженкуе бардзо.

— Только не воображайте, что я позволю вам фотографировать.

Я пожал плечами.

— Но со временем научу хитростям профессии.

Меня не интересовали хитрости, но я промолчал.

— Филин, не сова, — он кивнул в сторону витрины. — Клаус.

Фотограф провел мизинцем по пробору, сквозь белые волосы светилась розоватая кожа. Он весь казался свежим и накрахмаленным, наверняка от него пахло земляничным мылом, которым чистоплотные мамы моют своих невинных младенцев.

Латыш оказался поляком, и звали его красиво — Адриан Жигадло. Капризный и упрямый, как избалованная барышня, в работе он был шепетилен и аккуратен, иногда орал на меня высоким голосом, при этом тут же румянясь лицом и шеей. Впрочем, краснел он по любому поводу — от гнева и когда смеялся, когда говорил с клиентами и когда под вечер пересчитывал выручку.

Фотографом был и его отец, до войны это фотоателье принадлежало ему. Овальный портрет размером с ресторанный поднос (под стеклом и в бронзовой раме) висел в комнате, которую Адриан называл «кабинетом директора». Папаша был похож на надменного рака — пучеглазый, с белыми бровями, с трубкой в зубах и бабочкой на шее. Глядя на портрет, казалось, что Адриан появился на свет в результате какого-то хитрого фотокопировального процесса, а не посредством стандартного человеческого размножения. Звали отца тоже красиво — Леопольд Жигадло. У нас в гарнизоне фотографом работал сержант-сверхсрочник Захар Капшолкин.

Иногда Адриан выезжал на съемку, иногда он брал меня с собой. Мы снимали крестьянские свадьбы по окрестным хуторам, один раз похороны. Фотографовали юбилей столетней старухи под Резекне, крестины ревущего пацана в костеле где-то в районе Плявиниса. В такие дни мне приходилось надевать чистую рубашку из белого нейлона. Японская ткань не мялась, и рубаху не нужно было гладить после стирки: повесил сушить на плечики — и все, как новая. Единственный недостаток — нейлон не пропускал воздух, и в жару я моментально потел.

На людях Адриан обращался ко мне на «вы» и называл ассистентом. Я таскал за ним тяжеленные кофры с объективами и треногу, должно быть, отлитую из пушечного чугуна. Торжества проходили обычно на открытом воздухе, часто на живописных полянах, окруженных дубами. Или на берегу лесного озера.

Столы под льняными скатертями ломились от крестьянской еды: румяные утки и свиные окорока, копченые угри, кровяная колбаса с чесноком и тушеные в сметане лисички, картошка с укропом клубилась паром, от еще горячего ржаного хлеба пахло тмином. Ленивые музыканты под навесом играли латышские польки, подвыпившие гости танцевали, неуклюже путаясь в траве. Я, потев в проклятом нейлоне, безмолвно как раб выполнял указания фотографа. Особенно, сам не знаю почему, я стеснялся

гостей-сверстников. Часто ловил насмешливый взгляд какой-нибудь деревенской пигалицы или какого-нибудь белобрысого пацана, стриженного под горшок. Не знаю, может, мне так только казалось.

Зато под вечер я получал «командировочные» — трешку или пятерку, а то и червонец. Раз после свадьбы в Бауске Адриан торжественно вручил мне четвертак; заработать за день двадцать пять рублей казалось невыносимо — я ощутил себя багдадским принцем.

Значительная часть моей жизни теперь проходила в темноте. Лаборатория размещалась в подвале фотоателье, там воняло химикатами, плесенью и влажной землей. Рубиновый свет фотографического фонаря, слепой и призрачный, заливал сводчатый потолок и кирпичные стены пунцовой мутью, превращая лабораторию в моем воображении то в пыточную камеру испанской инквизиции, то в казематы рыцарского замка. А то и в келью средневекового алхимика.

В лаборатории мы всегда говорили вполголоса.

Голос фотографа был вкрадчив, я обычно молчал. Красный свет был тягучим, как малиновый сироп, тени чернели бездонными дырами, мы бродили по поясу в этой черноте, наши руки и лица призрачно светились, будто мы сами были наполнены рубиновым сиянием. Что-то таинственное, вроде магического ритуала, виделось мне в нехитром процессе получения позитивного изображения на светочувствительном материале путем проекции негатива.

Именно тогда я впервые увидел химеру. Мы печатали деревенские крестины. Обычный набор — орущий ребенок, пастор в черном, родители в белом, родня в пестром. Дюжина кадров на пленэре, еще дюжина в церкви. Я машинально погрузил очередной лист в проявитель, аккуратно притопил пинцетом (тут важно, чтобы бумага покрылась жидкостью одновременно). Стал ждать.

Сначала проступают самые темные места, в молочной мути появляется невнятный узор из каких-то пятен, они уплотняются, возникают полутени, и вот из абракадабры рождаются лица, руки, цветы. Застывший миг сельского счастья, скучного и банального.

Но не в этот раз. В самом центре, прямо над головами счастливых родителей, из кружевной тени клена вынырнула дымчатая фигура — тощая шея, худое лицо, впалые глазницы. Полустертый ластиком рисунок ведьмы — вот что она напоминала.

— Ну-ка, ну-ка! — Адриан приподнял пинцетом мокрую бумагу за угол, приблизил к красному свету фонаря. Проявитель продолжал работать, изображение темнело на глазах.

— Что это? — прошептал я.

— Химера.

— Химера? Какая химера?

— Обычная химера.

Адриан изящным жестом погрузил лист в воду, смыв проявитель, опустил отпечаток в фиксаж. Самое удивительное, что на негативе химеры не было.

— Не будем пугать родителей, — фотограф вернулся к увеличителю. — Есть дубль.

— Но что это?

— Химера. Иногда пролезают из того мира.

Я повторил про себя — пролезают из того мира. Что за чупь? Во рту появился медно-кислый привкус проявителя, должно быть, я случайно облизал губы. Вентилятор вытяжки в подвале едва работал, и к концу смены волосы, руки, одежда — все воняло химикатами.

— Кто они? — спросил.

— Родня, как правило. Умершая.

— Призраки? — Я неслышно сплонул в сторону, вытер рот локтем.

— Духи. Лет двадцать назад, сразу после войны, вот так же проявился офицер какой-то, в эполетах, в орденах. И с головой под мышкой — как арбуз держит. Представляешь?

Я пожал плечами. В пунцовом свете Адриан сам выглядел как бес.

— После узнал — деда невесты, венгерца, гильотинировали в начале века. Вот он решил на свадьбу внучки...

Адриан вынул изо рта трубку и, по-бабьи выпятив губы, засмеялся нежным фальцетом.

Оказалось, у фотографирования духов давняя история, почти такая же как и у самой фотографии. В конце девятнадцатого века в Амстердаме стал знаменит некто Гуго Кастеллани, именовавший себя спиритуальным фотографом. Он, хитрец, совместил профессию медиума с ремеслом фотографа. Вместо вращающегося блюда или постукивающего ножками стола он использовал фотокамеру. В своей студии по желанию клиента Гуго мог не только вызвать дух с того света, но и запечатлеть его на дагерротипе.

— До пленки использовали стеклянные пластины, покрытые серебряной...

Я терпеливо выслушал историю развития светочувствительных материалов от сотворения мира до наших дней. Адриан был обидчив, как девственница, он не выносил, когда его перебивали.

— Как ты понимаешь, медиумы старой школы, те, с крутящимися блюдами, не очень обрадовались конкуренции со стороны технически оснащенного коллеги. Гуго стал знаменит! О, да, всемирно знаменит! Фотографии его призраков печатали журналы Европы, Америки и даже Австралии. Сеанс стоил бешеных денег, но от клиентов отбоя не было. Граф Альберт де Медина, сам известный спиритуалист, желая обличить Гуго в мошенничестве, явился на сеанс инкогнито. Граф нарядился женщиной, безутешной вдовой, желавшей вызвать дух покойного супруга. Фотограф опустил шторы, усадил клиента в кресло. К слову, Гуго Кастеллани использовал в работе великолепную камеру «Фохтлендер», крупногабаритный аппарат, оснащенный зеркальным отражателем и объективом Петцваля.

Адриан пыхнул трубкой. После драматичной паузы зловеще продолжил.

— Когда Гуго вернулся из лаборатории, на проявленном дагерротипе за ряженым графом отчетливо проступал силуэт старухи. На плече у нее сидела птица, в руке старуха держала яблоко. Мало того что граф узнал в старухе покойную мать, так еще...

Раздался звонок.

— Клиент! — Адриан поправил бабочку. — Открой! Скажи — я сейчас поднимусь.

— Что за птица? И яблоко?

Кто-то нетерпеливый три раза подряд нажал на кнопку звонка. Я помчался вверх, перепрыгивая сразу через две ступеньки.

В четверг Адриан уехал в Ригу за пленкой и фотобумагой. В Кройцбурге можно было купить и то, и другое, но только нашего производства, фабрики «Свема»; советская пленка давала зерно, а бумага была рыхлой, лица на ней выходили серыми, будто пыльными. Эту бумагу мы использовали только для проб.

А вот из Риги Адриан привозил гдээрговскую фотобумагу, упакованную в яркие желтые коробки, нарядные, как новогодние подарки. Фотографии на немецкой бумаге выходили четкие и контрастные, как из альбома с репродукциями музейных картин.

— Клауса не забудь выпустить, — фотограф остановился в дверях.

— Конечно-конечно, — уверил его я (флегматичный Клаус, дремавший днем в витрине, по ночам отправлялся по своим совиным делам; иногда утром на пороге мы натыкались на трофеи — растерзанные трупы мелких грызунов, оставленных нам в знак душевного расположения).

— Свет в лаборатории выключи! — Адриан снова повернулся. — И замки проверь! И если клиенты придут, скажи...

— Скажу-скажу! Выключу и проверю!

Наконец он ушел.

Почему-то на цыпочках я подкрался к окну, выглянул. Адриан задержался на ступенях, раскуривая трубку. Обошел свой светло-серый «москвич», поправил зеркало, вытянул антенну. Замер, словно пытаясь что-то вспомнить. Потом достал ключи,

забрался в кабину. Мотор затарахтел. Я дождался, когда машина свернет за угол, после выждал еще минуты три и отправился на поиски.

Начал с архива. Открыл дверь, напарил выключатель. Мне казалось, что именно там, среди картонных коробок со старыми негативами и фотографиями должна быть одна с надписью «Химеры».

Сказать по правде, наш архив был обычной кладовкой, узкой и длинной как вагон. Там, кроме коробок со снимками, хранились швабры, ведра и прочий хлам, застрявший в доме на полпути к помойке. Сломанная мебель, старые штативы, осветительные софиты с мертвыми лампами; продираясь сквозь частокол перевернутых венских стульев, я запутался в пыльной холстине с неумелой росписью, изображавшей плоское лазурное море с треугольными парусами и приблизительными чайками. На меня грохнулась античная колонна из папье-маше, на голову посыпалась какая-то труха и опилки. Что-то стеклянно звякнуло и вдребезги разбилось.

Пытаясь стереть паутину рукавом с лица, отплеываясь от пыли, я наконец пролез к полкам с коробками. Их было не меньше двадцати, этих больших картонных коробок. Снял наугад одну, поставил на пол. На крышке фиолетовыми чернилами было написано №14 и еще что-то по-латышски. Ни одно из слов даже отдаленно не напоминало слово «химера». Я снял следующую коробку, на ней стоял только номер. Номер девять.

Выходило, что у Адриана где-то хранился перечень содержимого каждой из коробок. И даже если я найду этот лист, то он наверняка тоже будет на латышском. Я шнул картонный бок. Опустился на корточки, снял крышку. Нутро коробки было плотно забито черными конвертами из-под фотобумаги размера тридцать на сорок. Вытянув один, вытряхнул содержимое на пол. Фотографии — настороженные деревенские лица, кукольный гроб, дубовые венки. В почтовом конверте — негативы. Адриан сразу после проявки резал пленку, считая хранение негативов, скрученных в рулон, варварством.

— Варварство... — пробормотал я вслух. — Снимать похороны младенца — вот варварство.

Я засунул отпечатки и негативы в конверт. Вытащил другой — тот же комплект, только вместо похорон свадьба. Уныло оглядев полки, я поднялся, отряхнул штаны: эх, какой план провалился. Тут работы на год, не меньше. Для очистки совести решил проверить хотя бы надписи на крышках.

Увы, про химер ни слова. Иногда попадались знакомые географические названия: Лаука Эзерс, Крустпилс, Плявинис, Ступка — все больше соседние городки, деревни и хутора. Кое-где попадались фамилии.

На нижних коробках чернильные надписи вылиняли и казались розовыми. Изменился и почерк — буквы стали угловатыми, точно сердились. Папаша — догадался я. Без сомнения, Леопольд Жигадло был паном крутого нрава. К тому же скупердяем. Экономя на бумаге, он вместо пробных отпечатков делал контактные прямо с негатива — фотографии получались крошечные, и разглядывать их нужно было через увеличительное стекло.

В коробке номер три хранились пленки времен войны и оккупации. На контактных отпечатках появились люди в немецкой форме, мне удалось разглядеть знаки различия люфтваффе; все верно, ведь наш аэродром построили фашисты в начале войны. Немецкие пилоты часто курили и много улыбались, вот групповое фото летчиков в парковой беседке — все скалятся, в зубах сигареты, тут же какие-то девицы в летних платьях. На столе темные бутылки, должно быть, пиво.

Вот парный портрет, два парня в обер-лейтенантских нашивках, наверное, сразу после летной школы. За ними — наш обрыв, тот самый, с которого зимой мы гоняем на санках, но это фото сделано летом, нет, скорее всего, поздней весной — сливовое дерево на краю обрыва все в белых цветах. Внизу знакомый изгиб Даугавы и кусок острова, та самая его часть, где я встретил Ингу.

А вот наш замок, на куполе флаг со свастикой. Главный вход украшен лентами.

Те же ступеньки, тот же фонтан, даже клумбы с пионами те же. Ага — на террасе, оказывается, стояли столы, что-то вроде летнего ресторана. Скатерти, салфетки, венские стульчики. Фашисты с аппетитом закусывают и выпивают, и снова курят. Тут фашисты играют на бильярде, кстати, бильярдная не изменилась ничуть.

Я сидел на полу и разглядывал эти крошечные, не больше спичечной этикетки, фотографии, постепенно погружаясь в странное оцепенение. Точно меня кто-то загишнотизировал, и я теперь обречен буду вечно сидеть в кладовке и рассматривать миниатюрные картинки из параллельного мира, копии нашего, но населенного чужаками.

Я вытаскивал из коробки конверт за конвертом, снимки и негативы кучей валялись на полу. Все давно перепуталось, но мне было наплевать — я открывал новый конверт, вытряхивал из него новые фотографии. Отпечатки даже не пожелтели, ясные и резкие, они казались напечатанными накануне. На химикатах, очевидно, папаша Леопольд не экономил, да и бумагу использовал он качественную — плотную, глянцевою, не хуже гэдээровской. Попадались смутно знакомые лица: бритый толстяк с Рыцарским крестом выглядел двойником капитана Ершова; вон тот, длинный, напоминал батю покойного Гуся, тоже покойного. Парад на улице Ленина вполне мог сойти за наш, если не вглядываться в знамена и униформу военных.

Казалось, что некий режиссер использовал одних и тех же статистов в разных спектаклях, притом не слишком заботясь о гриме. Поэтому я не удивился — почти не удивился — когда наткнулся на вполне убедительный дубликат Инги. Парень, который ее обнимал за плечо, увы, на меня похож не был. Впрочем, даже ради Инги я не хотел бы превратиться в скуластого блондина в форме шарфюрера СС.

26

Я спустился в подвал. Вошел в лабораторию, закрыл дверь и какое-то время стоял в темноте. Не мог сообразить, где включается красный фонарь. В полусжатом кулаке, нежно как бабочку, держал негатив. Наощупь добрался до увеличителя, щелкнул кнопкой — густой рубиновый свет залил проекционный стол. Достал с полки пакет фотобумаги, вынул лист, вставил пленку.

Реактивы под конец дня выдохлись, изображение проступало медленно. Без особой нужды я несколько раз пинцетом ловил край мокрой бумаги, поднимал и разглядывал невнятный узор из белых и серых пятен; после снова опускал в кювету с проявителем. Будто надеясь, что вместо белозубого фрица там появится кто-то другой.

Нет, не появился: мутный орнамент обретал форму, лицо еще только угадывалось, а в черных ромбах петлиц уже четким зигзагом белели эсэсовские молнии, на околыше высокой фуражки блестел стальной череп. Словно из марева выплывали люди — волшебным образом путаница пятен превращалась в смеющиеся глаза, брови, губы — теперь я уже не сомневался, что девица на фотографии мать Инги — Марута. На снимке ей было не больше восемнадцати, и сходство с дочкой изумляло, но лицо матери казалось не то чтобы привлекательней или красивей, оно было проще и добрей. Мягче. Одновременно, разглядывая офицера, я обнаруживал недостающие штрихи — уверенную линию подбородка и надбровных дуг, белесые глаза. И та же особенность, что у дочери: даже улыбка не делала взгляд теплей. В том что эсэсовец — ее отец, я даже не сомневался.

Наверху наступил вечер. Я поднялся в кабинет. Сладковато пахло трубочным табаком, пахло старой кожей дивана, казалось, так пахнет сумеречный свет, наполнивший тесную комнату канифольной мутью. Отодвинув кресло, я сел за письменный стол. Дотянулся до телефона, поднял трубку. Из мембраны полился тоскливый гудок. На моей ладони лежал еще влажный снимок, но я старался на него не смотреть. Как в детстве на ту картинку с ведьмой из книжки сказок братьев Гримм. Когтистой рукой, похожей на сухой сук, ведьма сжимала посох с человеческим

черепом, нос ее был как клюв, из пасти торчал клык. Глаза — вроде шариков для пинг-понга, белые, с черными точками зрачков.

Инга подошла сразу, словно ждала звонка. Она не удивилась, не обрадовалась, просто спросила — как ты?

Как я? Действительно — как?

Я не ответил, я молчал, просто сидел и улыбался. Два коротких слова, один вздох, — как мне удалось выжить без этого? Все, что я делал без Инги, все эти двадцать четыре дня показались серыми и бессмысленными, вроде игры в «пьяницу» с самим собой. Зачем? В чем смысл этой пустоты?

— Как я? Хорошо. Теперь хорошо.

Солнце напоследок высунулось из-за трубы, косой луч пробил грязное стекло окна, комната вспыхнула и засияла, как пещера Алладина. Золотистая пыль плыла и искрилась. Поверхность стола казалась залитой жидким золотом. Я опустил туда ладонь, моя рука тоже стала золотой. Провел пальцем по бронзовым завиткам письменного прибора, испытав внезапную нежность к уродцу, похожему на надгробие нувориша с двумя голыми нимфами, тоскующими у пустых чернильниц, и мраморной птицей, отдаленно напоминавшей орла с гордо раскинутыми крыльями.

— Теперь хорошо.

Из стопки книг на углу стола наугад вытянул одну. Тощую брошюру в серой бумажной обложке. Раскрыв на середине, вложил туда еще влажную фотографию. Я знал, что никогда не покажу ее Инге.

— Не молчи, — попросила она.

— Мне плохо без тебя.

— Знаю, — тихо отозвалась она.

— Очень...

Говорить не мог, в горле застрял ком. Сквозь мембрану и шуршание телефонного эфира я слышал ее дыхание.

— Я сейчас приду, — внезапно сказала она и добавила торопливо: — Прямо сейчас.

— Ты знаешь, я работаю...

— У фотографа. Знаю.

И повесила трубку. Вот запиликали короткие гудки, потом что-то щелкнуло, и наступила тишина. Отчего-то мне было страшно положить трубку на рычаг, словно тогда я нарушил бы некую связь между нами, незримую тайную связь. Откуда она знает про фотографа, я же не говорил ей.

Солнце, вспыхнув напоследок, сползло за крышу. Комната потухла, наполнилась сиреневым сумраком. Не знаю, сколько я сидел, зажав в кулаке телефонную трубку и наблюдая, как густеют сумерки. Казалось, комната — батискаф, что погружается в фиолетовый океан. Утонули стулья, кожаный диван с покатыми подлокотниками, вытертыми до белесой седины; в пучину канули стол и чернильный прибор с нимфами. Книга на столе раскрылась, оттуда выглянул веселый шарфюрер СС. Я быстро прихлопнул обложку, точно боясь, что эсэсовец выскочит оттуда. Книгу нужно куда-то спрятать — но куда?

Раздался звонок, я бросился открывать. Скрутил чертову книжку в тугую трубку, впихнул в карман. На бегу зацепился за вешалку, сбил стойку с зонтами. Распахнул дверь. Инга стояла на нижней ступеньке, по-детски морща нос и покусывая ноготь мизинца.

Пришла ночь, а может, уже подкрадывалось утро. Или все еще тянулся поздний вечер — не знаю: время утратило свою принципиальную суть и стало тем, чем оно и должно быть — пустотой. Ничем. Ведь это мы сами наделили время почти абсолютной властью; из страхов и суеверий выковали идола, глухого, слепого, беспощадного.

И что бы мы там о себе не воображали, рабство у нас в крови — у всех и у каждого. Мы смиренные рабы времени. И не надо спорить — просто посчитайте, сколько у вас в доме часов.

Мы лежали на диване, потные и уставшие, от обшивки пахло старой кожей. К этому благородному духу примешивался радостный запах речной воды, летней, с солнечными бликами и звоном стрекоз над прибрежными кувшинками. Так пахла Инга, что уютно пристроила голову на моем плече — в этом деле она обладала поистине кошачьим талантом. Я гладил ее волосы, сонно и едва касаясь. Иногда она вздрагивала: то ли проваливаясь в дрему, то ли переживая отголосок нашей недавней близости.

На столе лежали фотографии, еще влажные листы белели лунными квадратами.

Сегодня ровно год, сказала она, ровно год с того дня. Она ошибалась, но я не стал возражать. Какая разница — ведь времени нет. Именно так и сказал — времени нет. Она стояла у окна, чуть на цыпочках, похожая на силуэт чуткой ночной птицы. Повернулась, провела руками по своей груди, по животу, по бедрам. Красивая ночная птица. Посмотрим, что ты скажешь через двадцать лет, — произнесла с усмешкой. Лица я не видел, не думаю, что она улыбалась.

Не помню, чья то была идея — фотографировать, наверное, моя. Мы прошли в студию, включили софиты. Кое-чему я успел научиться, — сказал. Только не надо хвастаться, — засмеялась она и звонко шлепнула меня по голой ягодице.

Я выставил свет, но не прямой, а отраженный. Прямой ломает форму, делает объект угловатым — освещенная часть становится плоской, а теневая — черной дырой. А отраженный наоборот — он придает форме мягкость и объем, закручивает, создает иллюзию глубины. Хорошо, — Инга раскинула руки, потянулась, — создай мне иллюзию.

Я достал экспонометр, установил выдержку и диафрагму. Приподнял штатив, затянул винт. Наклонился к камере. Что мне делать? — спросила Инга. Что хочешь, просто не обращай внимания на объектив, — ответил я. — Делай, что хочешь.

Сквозь линзу видоискателя студия выглядела бесконечной. Вместо серого холста задника, которым я загородил стену, мне мерещились дымчатые дали, туманные горы в мохнатых тучах, сумрачные склоны и неясные долины.

Тело Инги бледно светилось; бедра, грудь, плечи молочно мерцали — как зыбкий мираж. Я отрегулировал фокус и нажал на спуск. Затвор сухо щелкнул. Я перевел кадр, нажал еще раз. И еще.

Инга сделала шаг в сторону, плавно подняла руки и повернулась спиной; движения напоминали зыбкий танец, какую-то сонную пантомиму. Она действительно забыла о камере, похоже, она забыла и обо мне: закрыв глаза, что-то беззвучно шептала, должно быть, какую-то мелодию — так по-детски, так самозабвенно; тихий шелест ее шепота едва долетал до меня, но мне казалось, что я вот-вот уловлю напев. Но она снова поворачивалась, мелодия ускользала, и я снова нажимал на спуск.

После мы спустились в лабораторию; в темноте я заправил пленку в барабан, включив красный фонарь, снял с полки реторту и залил проявитель. Щелкнул секундомером. Ловкий и изящный, как цирковой факир, поклонился и поцеловал ей руку. Инга усмехнулась, принялась внимательно разглядывать нашу фотографическую машинерию. Особенно ее заинтересовал увеличитель. Я объяснял принцип устройства аппарата, назначение линз и светофильтров, одновременно следя за ее руками — как она нежно трогает винт штатива и стальной кронштейн, слушая про ирисовую диафрагму, которая позволяет увеличить глубину резкости при печати.

Пока пленка сушилась, мы сидели напротив друг друга и тихо целовались.

К новому году я скоплю много денег, — говорил, — и мы уедем в Ригу. Знаешь, сколько мне платит Адриан, — не поверишь, честное слово. А в Риге ты поступишь в свое медицинское училище, я устроюсь в какое-нибудь фотоателье. А после открою студию. Свою. Там же, в Риге, клиентов — бездна, туристов — тысячи, каждый хочет на фоне Домского собора или на Ратушной площади, да и местные женятся и детей

крестят. Не говоря уже про похороны. Даже которые не женятся и не крестятся, непременно умирают. Свадьбы, похороны, крестины — три кита коммерческой фотографии (цитату из Адриана Жигадло я бессовестно присвоил себе). Конечно, не просто; к тому же оборудование чертову уйму денег стоит — все эти объективы и увеличители, но я смогу, честное слово, смогу.

Потом мы печатали фотографии.

Бесстрашной рукой я открыл пачку нашей лучшей бумаги — немецкой, глянцевої, на такой даже неважные карточки выглядят, как фотографии из журнала. Инга на этой бумаге смотрелась просто волшебю. Мнение мое необъективно, это безусловно, но я уверен, мне удалось передать главное — мерцающее сияние ее тела. Перламутровую дымку света. Иллюзорную зыбкость тени. Точно кому-то наконец удалось запечатлеть на пленке сновидение. Или тайный колдовской обряд.

— Похоже на ворожбу...

Я не понял, что она имела в виду — изображение или сам химический процесс.

— Что это? — внезапно спросила. — Видишь, Чиж?

Я видел, но рассеянню переспросил:

— Где?

— Ну вот же. Сверху, над плечом...

— Тень какая-то. Складки на драпировке... Бывает.

— Бывает? Да это же лицо! Вот глаза, нос, вот рот — ты что, не видишь?

— Иллюзия, — пробормотал с не очень убедительной беспечностью. — Игра света и тени.

На снимке из черно-белой фотографической мути, из несуществующих туч и воображаемых горных отрогов, из клубящегося марева все ясней и ясней проступало лицо: высокий лоб, прищур, кривая полуулыбка. Сильный подбородок и крепкие скулы — даже без офицерской фуражки я узнал его.

Казалось, зловещий, сотканный из мохнатого тяжелого дыма великан крадется к беззащитной нимфе, ее тело будто светится изнутри, мерцает лунным светом; нимфа не ведает об опасности, она в трансе, глаза ее прикрыты, а на лице, на мечтательном детском лице, выражение сладкой муки — страдания пополам с наслаждением. Ворожба, чистая ворожба...

— Что это? — тихо повторила Инга.

Я молча подцепил фотографию пинцетом и опустил в кювету с фиксажем. Не мог же я в самом деле сказать, что это дух ее покойного отца, который решил таким вот образом проведать свою взрослую дочь.

28

Город еще не проснулся, мы брели пустыми улицами. Асфальт сизо блестел от росы, а может, ночью прошел дождь. Мокрыми были липы, они сонно свешивали ветки через ограду, касаясь серебристыми листьями серой мостовой. В темноте парка, меж черных стволов полз туман. На стенах домов, тоже влажных, угадывались географические очертания южных островов с диковинными названиями земель, еще не открытых птицами и отчаянными мореходами. Небо на востоке светлело и уже напоминало перламутровую изнанку ракушки. Но цвета не было, цвет еще не родился. Наш Кройцбург — как черно-белое фото, — сказал я, — недопроявленное. Представляешь, прожить всю жизнь в черно-белом фото?

Инга не ответила. Под утро настроение у нее испортилось, она шагала, угрюмо глядя в асфальт.

— Все, — она неожиданно остановилась. — Иди.

До ее дома оставалось пять минут тихим шагом. Она клюнула меня беззвучным поцелуем в скулу и быстро, точно боясь передумать, пошла. Я постоял, глядя ей в спину — нет, не обернулась. Хоть и знал, что Инга не из тех, кто оглядывается, все равно стоял и ждал, пока она не свернет за угол.

После бессонной ночи голова казалась пустой и хрупкой, как из тонкого стекла; с такими вещами следует обращаться осторожно. А вот день, как назло, предстоял суматошный: свадьба на хуторе где-то под Кукасом. Туда добираться час, еще нужно переодеться — белый верх, черный низ, парадная униформа ассистента фотографа. К девяти у ателье. И нужно куда-то спрятать фотографии — но куда? — не мог же я их действительно сжечь, как советовала Инга.

К девяти я, конечно, не успел. Адриан, скрестив руки и уткнув тощий зад в капот «москвича», укоризненно шурился и дымил трубкой. Вишневые ботинки на квадратном каблуке, клетчатый пиджак цвета горчицы, белоснежные манжеты с янтарными запонками. Алая бабочка пылала на его горле, как кровавая клякса.

— Видимо, придется применять систему денежных штрафов, — сказал он, не вынимая трубки и не поворачиваясь. — Садись.

Я сел, хлопнул дверью. Плевать я хотел на его штрафы. За окном поплыли подслеповатые дома, заборы, огороды, промелькнула река. Потекли желтые поля, над ними кружили галки, железные вышки высоковольтных передач застыли во ржи мертвыми роботами очередного нашествия марсиан. Страшно хотелось пить. «Москвич» мягко покачивался на разбитых рессорах, то припадая к дороге, то пьяно шатаясь из стороны в сторону.

Глаза закрывались сами. Проваливаясь в дрему, каждый раз видел одну картину: Валет подходит к шкафу, поднимается на цыпочки, шарит рукой; там, на шкафу, стоят чемоданы — внизу большой, немецкий, с яркими наклейками в виде рыцарских щитов: синий Лейпциг, зеленый Ютербог, красный Берлин с черным медведем на задних лапах, чемодан перепоюсан парой рыжих ремней с тусклыми медными пряжками, замки тоже медные — с таким багажом не стыдно и в кругосветное путешествие. На чемодане-аристократе приютилась пара сиротских чемоданчиков — хлипких, фибровых, с оббитыми углами, на верхнем приклеенная бумажка «В. Краевский, Первый отряд». Со своего я содрал ярлык на обратной дороге. Еще в автобусе.

Последний раз нас отправляли в лагерь три года назад, в Юрмалу, назывался он «Сокол» и принадлежал министерству обороны. Жили мы в финских домиках в сосновом бору, за деревьями белели дюны, за ними стальной полоской мерцало тусклое Балтийское море. Оно оказалось мелким и холодным и даже пахло совсем не так, как Черное. Меня определили во второй отряд, там я познакомился с Полиной, тихой и бледной девочкой из Ленинграда. У нее были большие и, наверное, самые грустные глаза на свете. Она не играла в волейбол, не состязалась в отрядных эстафетах; на танцах Полина сидела в углу и слушала музыку, иногда беззвучно шевелила губами, повторяя слова песен. Мы с ней записались в изобразительный кружок, я учил ее рисовать индейцев и парусные корабли. Мы уходили в дюны и в белом песке искали ракушки. Или просто болтали в беседке, увитой диким хмелем. Два раза мы целовались, но не в губы, а в щеку. Под конец смены Валет мне сказал, что Полина болела полиомиелитом и у нее одна нога тоньше другой и что только такой лопух, как я, мог втюриться в калеку и даже не заметить изъяна. Или он сказал «дефекта» — не помню. Мы подрались, но к Полине я больше не подходил — ни о чем другом, кроме ее тонкой ноги, я думать не мог. Смена закончилась через два дня, нас погрузили в автобусы. Я пробрался на заднее сиденье, Полина сидела впереди; всю дорогу до станции пионервожатая Зоя, коренастая, с короткими сильными руками, заставляла всех петь, сама при этом голосила трубным грудным контральто; я, чтоб от меня отвязались, по-рыбьи открывал рот и обреченно царапал ногтями бумажку со своей фамилией, приклеенную к боку чемодана. Автобус остановился на пыльной площадке. Станция называлась Дзинтари, что значит «Янтарная», там иногородних высадили дожидаться поезда дальнего следования, а нас, местных, повезли в Кройцбург. Полина, в длинном голубом платье и с дорожной сумкой у ног, повернулась, растерянно глядя в окна уходящего автобуса. Я отпрянул от стекла, нырнул, прижавшись щекой к теплому фибровому боку своего чемодана.

Именно в этот чемодан сегодня рано утром я спрятал все фотографии.

Прокравшись в комнату, беззвучно придвинул к шкафу стул, встал на него. Валет спал, его бритый затылок темнел в мятом ворохе подушек; замки предательски щелкнули, но брат даже не шевельнулся. Тогда я был в этом уверен.

Свадьба шла своим чередом, мы фотографировали. Официальная часть закончилась, гости потянулись в сторону лужайки, где стояли шатры, украшенные лентами и дубовыми гирляндами. Там уже суетились празднично одетые женщины под командой крикливой загорелой старухи с лицом корсиканского бандита — там накрывали столы. Рядом пара крестьян в льняных рубахах навывпуск жарила мясо, белый дым стелился по траве. Чад дополз и до нас, я вспомнил, что не ел со вчерашнего дня.

Мы как раз фотографировали детские группы — девочек в долгих платьях с венками из ромашек, полевой травы и васильков: русые косы, ангельские лица, зефирные облака на фоне. Я бегал с экспонометром, поверял выдержку и диафрагму, наклонялся к камере, подкручивал штатив. Активность моя носила по большей части бутафорский характер: Адриан не выносил безделья на съемке. Я помогал ему переставлять детей, компануя идеальный кадр, — «удачная композиция — половина успеха», цитата, которую должны выбить на его могильном камне. К нам уже выстроилась очередь.

Не слишком вникая в бухгалтерию ремесла, я знал, что эта часть съемки является самой хлебной: за каждую карточку родители заплатят по пять рублей и по три рубля за дубликат, семь рублей за большой формат, шесть за индивидуальный портрет. К тому же, если свадебная съемка оформлялась официально с квитанциями и по прејскурантам, то доход от детей шел напрямую в карман Адриана. Впрочем, я бы сильно удивился, если бы мне сообщили, что именно те мятые червонцы и пятерки, которые я получаю от фотографа, делают меня прямым соучастником настоящего экономического преступления и при самом благоприятном расположении звезд грозят мне, как минимум, тремя годами принудительных работ в лагере общего режима где-нибудь в районе Владимира или Калининграда.

От шатров долетела музыка. Кто-то включил микрофон и что-то забубнил по-латышски. Звонкую утреннюю синь незаметно затянуло белесой пеленой, стало душно. Похоже, собиралась гроза. Пронырливые мухи липли к лицу, проклятая рубаха из японского нейлона была как полиэтиленовый пакет, я расстегнул вторую пуговицу на груди, дерзко нарушая уставной внешний вид ассистента фотографа. Адриану, впрочем, было не до меня: он сновал между детьми, изредка отбегая к камере на треноге, поднимал руку и что-то выкрикивал, должно быть про птичку.

Ко мне подошла рыжая деваха моего возраста, что-то спросила по-латышски. В руках у нее был пузатый глиняный кувшин, точно с голландской картины. Я кивнул — скорее догадался, чем понял ее вопрос, — она протянула мне кувшин. Сделал глоток, я рассчитывал на воду, там оказалось пиво. Домашнее, с хмелевой горчинкой, холодное, почти ледяное.

— Палдес! — выдохнул я между глотками. — Прима алус! Лоти гаршиге!

Почти исчерпав словарный запас латышского, я вернул кувшин. Рыжая приняла, ухватив двумя руками, улыбнулась, сморщив конопатый нос. Даже лоб у нее был в веснушках. Из шатров донесся смех, крики и аплодисменты, очевидно, центр веселья уже переместился туда.

Работа наша подходила к концу, застолья Адриан не снимал, считая фотографировать пьянки ниже своего достоинства. Приглашения остаться на трапезу тоже отвергал. Похоже, именно это происходило сейчас: смуглая старуха, прихватив фотографа за рукав пиджака, настойчиво тянула его к шатрам. Тот, прижав ладонь к груди, улыбался и кланялся, время от времени отрицательно мотая головой.

Я упаковывал наше хозяйство, собирал в мятой траве упаковки из-под пленки, фольгу и конфетные фантики — снимая детей, Адриан всегда угощает их дешевыми карамельками типа барбарисок. От жары и пива меня разморило, я уже сложил камеры и объективы в кофры, свернул экран и упаковал штативы. Присев в тени старой

яблони, дожидаясь, когда Адриан отделается от гостеприимной старухи. К ней присоединился усатый латыш с медным лицом и блестящей, как новый футбольный мяч, лысиной. Он впихивал в руки фотографу крупный сверток какой-то снеди, на крафтовой бумаге проступали темные сальные пятна.

Я прислонился к стволу дерева, блаженно вытянул ноги. От шатров долетала ленивая латышская мелодия: силовый на высоких нотах аккордеон и басовая партия, похожая на шаткую поступь веселого пьяницы, бродящего взад и вперед.

Хозяева продолжали уговаривать фотографа, тот продолжал отказываться; я не понимал ни слова, но подумал, что с закрытыми глазами голос Адриана можно запросто принять за женский. Закрыв глаза и представил эту женщину — розовую, с рыбьими глазами и белокурой «бабеттой». Чего-то не хватало, я добавил бант на шею, сочный, как полевой мак. Бабетта усмехнулась, развратно подмигнула и отчетливо произнесла: «Только такой лопух, как ты, мог вторгнуться в калеку и даже не заметить изъяна». Я вздрогнул и проснулся.

Старуха исчезла, латышу удалось всучить сверток Адриану. Довольный крестьянин тряс его руку и что-то говорил, топорща усы. Музыка стихла. Небо стало белым, с матовым отливом, как слоновая кость. Сосновый бор на горизонте потемнел, по покатою зеленому полю полз «газик», черный как жук, он медленно и плавно катился по дуге склона, совсем как жестяная мишень в тире. Выставив указательный палец и прищурив глаз, я прицелился, — странно, почему «газик» называют «козел», ведь он совсем не похож на козла? — я уверенно вел мишень, а перед самой кромкой березовой рощи медленно спустил невидимый курок и тихо выдохнул «пах!» Машина исчезла за деревьями.

Адриан сунул мне в руки сверток, безразлично разглядывая свои ладони и не зная, что с ними делать.

— Крестьяне, — сказал, добавив латышское ругательство.

Пахло чем-то копченым, вроде корейки.

— Поехали? — спросил я.

Адриан воткнул мне под мышку штатив, повесил на шею кофр, сам подхватил другой. От шатров донеслись крики и смех, там захлопали в ладоши, потом хором начали считать по-латышски.

— Гусь! — Адриан запягал в сторону хутора. — Пошли!

— Копченый? — Мой рот моментально наполнился слюной.

Двор перед домом был забит машинами и телегами. К крыльцу приткнулась лаковая бричка, украшенная пестрыми лентами и дубовыми ветками; на ней молодожены прикатили из церкви. Бричка, двухместная и аккуратная, напоминала игрушку, сиденья, обитые малиновым бархатом с золотыми кистями и бахромой, казались мягкими даже на вид. Точно автомобильная антенна, у сиденья возницы торчал двухметровый хлыст. Лошадей видно не было, но в воздухе стоял терпкий дух конского навоза.

Предусмотрительный Адриан всегда оставляет машину на обочине. Мы вышли на шоссе, его «москвич» виднелся в самом хвосте оставленных у дороги машин. Мимо нас проскочил «газик», должно быть, тот самый, что я подстрелил на склоне. Он вдруг резко затормозил — я одновременно заметил, что он, оказывается, не черный, а темно-синего цвета и, что заднее окно забрано решеткой, а ниже белыми квадратными буквами написано «милиция». Водительская дверь распахнулась, из кабины вылез милиционер. На ходу поправляя портупею, он направился прямо к нам.

— Краевский, — он не спросил, а утвердительно буркнул, ткнув в меня пальцем. — Ты?

— Я. — Мы остановились, Адриан покосился на милиционера, потом на меня и незаметно сделал шаг в сторону.

— А в чем... — промямлил я и неожиданно зевнул, — в чем...

Воняло копченым гусем, ремень кофра впивался мне в шею, с востока надвигалась гроза — из-за дальнего леса уже выползала чернильная хмарь. Стало невыносимо

душно. Происходящее напоминало какой-то невнятный сон: милицейский сержант сейчас достанет из кобуры свой «макаров» и произнесет хрестоматийное — вы арестованы, гражданин Краевский.

Но кобура сержанта была не застегнута и пуста, на кисти правой руки синела кривая наколка «ВМФ», и все это происходило наяву. Милиционер снял фуражку, вытер лоб обшлагом рукава и сказал, кивнув в сторону «газика»:

— Садись. — И весело добавил: — Ну щас ливанет.

Я аккуратно опустил сверток с гусем на асфальт. Снял с шеи кофр, положил рядом штатив. Адриан наблюдал, он не произнес ни слова. Милиционер распахнул заднюю дверь. Согнувшись, на четвереньках я влез внутрь. Пол, железный и ржавый, был ледяным, по бокам крепились узкие и, как скоро выяснилось, очень неудобные, лавки. «Газик» дернулся и поехал. В мутное окошко, маленькое, не больше тетрадного листа, свет едва проникал. К тому же изнутри к раме была припаяна стальная сетка вроде тех, которыми в зоопарке ограждают вольеры с не очень опасными животными.

Сначала, стоя на коленях, я смотрел на убегающую назад дорогу; Адриан, похожий на забытый манекен, стремительно уменьшался, он быстро превратился в штрых и скоро пропал. Донесся глухой раскат грома, он подкатился устало и как бы нехотя. Словно там, наверху, ни у кого не было особой охоты возиться с устройством грозы — лить дождь, гнать ветер, пулять молниями. Не говоря уже про звуковые эффекты.

Думалось одновременно обо всем и ни о чем. Мысли прыгали, пугались, обрывались. Я сидел на полу, вжав спину в дверь и вытянув ноги. Время от времени зачем-то подносил ладони к лицу и нюхал пальцы. Они пахли копченым гусем. Ни одной мысли додумать до конца не получалось, если не считать, что мне удалось вспомнить еще одно прозвище «газика».

— Воронок, — бормотал я, вдыхая копченый дух. — Конечно, воронок. А вовсе не козел. Какой же козел, если воронок...

29

Что-то странное случилось со временем: ехали мы не больше часа, но когда меня ввели в кабинет, часы на стене показывали без пяти семь. За столом сидела учительского вида женщина с неинтересным лицом, в углу стоял двухметровый сейф, выкрашенный в цвет молочного шоколада, на подоконнике умирал жухлый кактус. В комнате воняло недавним ремонтом. С той стороны окна белела хлипкая решетка. Женщина без любопытства взглянула на меня, отпустила сержанта, кивнула на стул. Поправив очки, снова принялась перебирать какие-то бумаги.

Стул был в метре от ее стола, почти посередине кабинета. Я сел, закинул ногу на ногу; получилось слишком вальяжно, незаметно я сменил позу и сел прямо. Теперь мешали руки, хотел сунуть их в карманы, но, вспомнив про гуся, передумал. Положил на колени ладонями вверх.

Часы на стене тихо тикали, на столе лениво шелестели бумаги, я разглядывал пол: линолеум, блестящий и совсем новый, неуверительно имитировал серый мрамор. Страх, даже не страх, а какой-то ужас, причем ничем не объяснимый, медленно наполнял меня. Втекал вместе с тиканьем и шелестом, вместе с унылым конторским запахом. Мышиный колер, немаркий и практичный, им покрашены стены всех казенных заведений, будь то ясли, школа или тюрьма, безапелляционно заявлял о моей виновности. В чем? Да какая разница, они найдут. К тому же справедливость — понятие весьма относительное.

Женщина отложила бумаги и начала говорить в семь пятнадцать. К этому времени я уже ощущал себя безоговорочно виноватым. Осталось прояснить сущую безделицу — в чем.

— Манович, — сказала она тусклым голосом.

— Что это? — поднял голову я.

— Это фамилия, — голос стал жестче. — Следователь прокуратуры Екабпилсского района.

От сочетания слов «прокуратура» и «следователь» меня замутило. В голове, ватной и тупой, заметались обрывки мыслей. Они вспыхивали, как фейерверк, и так же быстро гасли. Тот побег из милиции! Нет, зимняя драка с латышами, тогда кому-то пробили голову кастетом! Его парализовало или он вообще умер? А может, какие-то Адриановские махинации? Или давняя история с военным складом? Два цинка пистолетных патронов — не фунт изюма! Наверняка Женечка всех сдал! Наверняка он!

— Какие у тебя отношения с братом? — женщина-следователь Манович сняла очки и положила на стол. — С Валентином Сергеевичем Краевским?

Фейерверк в голове погас. Меня удивил вопрос, обыденность тона и то, что у нее оказались нормальные человеческие глаза. Усталые глаза умной женщины.

— Можно руки вымыть? — спросил я и зачем-то снова понюхал пальцы. — Гусь, знаете... Копченый.

— Гусь? — она открыла боковой ящик, протянула мне бумажную салфетку. — Вот.

— Спасибо... — я начал тереть ладони и пальцы, салфетка превратилась в маленький грязный комок. — С братом? А в чем дело, что... Где он?

— Он у нас.

Я сунул комок в карман. Следователь Манович взяла со стола несколько листов, сложила их аккуратной стопкой и протянула мне. Я поднялся, взял бумаги. Это были какие-то бланки, заполненные сверху донизу аккуратной прописью. Почерк — скорее всего женский: прилежные строчки, буквы с наклоном — напомнил о школе, так у нас писали отличницы. Опрятно — как говорила Полина Васильевна, учительница первая моя. Сверху типографским способом было крупно набрано: ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Ниже и чуть мельче: о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.

Читать толком я не мог, рукописные строчки путались, сливались в синюю узорную вязь; глаза выхватывали типографский набор — «место составления», «должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы», «рассмотрев сообщение о преступлении», «когда, куда, от кого». Мой взгляд, не закончив одной фразы, прыгал к другой; в путанице казенных оборотов, в шелухе канцелярских слов, гладких и безликих, как речная галька, я пытался найти страшную суть, которая несомненно пряталась где-то тут.

«Руководствуясь частью второй статьи 156 УПК Латвийской ССР и статьей УПК... постановил: уголовное дело №... принять к производству и приступить к расследованию... Копию настоящего постановления направить прокурору (наименование органа прокуратуры) и...»

Руки мои не дрожали, сам удивился этому факту, но еще больше тому, что мое сознание способно фиксировать такие мелочи. Перевернул лист, на обратной стороне ничего не было, если не считать жирного пятна. Следующий бланк назывался «Протокол принятия устного заявления о преступлении», из синей рукописной вязи сразу выпрыгнула моя фамилия. Нет, не моя — Валета — Краевский В.С. И другая, смутно знакомая, — Кронвальдс.

— Кронвальдс... — я поднял глаза. — Кто такой этот...

Следователь Манович еще не успела ответить, за эту секунду мое сознание выхватило целый букет ненужной информации — тонкое обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки прокурора, без пяти восемь на часах, календарь у сейфа, застрявший в мае, — но главное, я сам догадался и произнес:

— Инга?

Я беспомощно опустился на стул. Прыгая по строчкам, начал читать.

«...на территории военного городка в/ч №... обнаружен учениками 3-го класса Гулько и Ерофеевым... побоялись войти... дверь в часовню открыта, замок сбит...

вызванный наряд милиции прибыл на место... на полу пятна, предположительно крови...»

— Что с ней? — с трудом выговорил я.

Следователь Манович стояла рядом, я даже не заметил, как она встала и вышла из-за стола. Из картонной папки она достала фотографию, но в руки не дала — показала.

— Узнаешь?

Фотография, мятая и порванная на куски, была кем-то аккуратно сложена и приклеена к листу бумаги. Ее, эту фотографию, я напечатал вчера, потом спрятал в книгу, потом... Потом пришла Инга...

— Где она? — пробормотал я.

— Повторяю...

— Где Инга? — перебил. — Что с ней?

— Краевский, мы пока просто разговариваем, неофициально, поэтому...

Оцепенение прошло: точно я балансировал на краю и наконец сорвался в бездну; все полетело к чертовой матери — сердце, разум, вся вселенная — вдребезги. Я вскочил. Что-то кричал, зачем-то пытался вырвать у прокурора фотографию. Вбежал сержант и еще кто-то в форме, ловкий и сильный, с руками как клещи. Этот явно знал хитрые приемы и расположение болевых точек на теле человека. В два счета они скрутили меня, усадили на стул.

— Где она?! Где? — рычал я. — Что с ней?

Тот, второй, ткнул меня в печень, я задохнулся от боли, закашлялся и вдруг зарыдал. Не от боли и не от страха, даже не от бессилия или отчаяния — физическая боль как будто разбудила меня — я очнулся и понял: ее больше нет.

Инги больше нет! Я остался один.

Они держали меня сзади, мне хотелось уткнуться в колени, спрятать лицо, свернуться в комок, исчезнуть. Но их пальцы впивались в мои запястья, в горло, в плечи. Рыдал я беззвучно, из меня вытекал какой-то сильный писк, как из продырявленной шины. Следователь прокуратуры Манович сидела за столом и курила.

— Закончил? — спросила она.

Я мотнул головой. Щеки и губы горели, словно меня тащили лицом по ковру.

— Воды... — просипел я, во рту было липко, солоно и горько. — Можно воды?

Когда мы остались вдвоем, она сказала вкрадчиво и тихо, будто кто-то мог нас подслушать:

— Слушай внимательно, Краевский. Здесь и сейчас самый важный момент в твоей жизни... — она затянулась, выпустила дым в сторону. — От твоих слов зависит твое будущее. Это не фигура речи, это абсолютная правда. Тюремный срок, даже условный, навсегда останется в твоей биографии. И тащить этот крест ты будешь до могилы. Забудь о карьере, о партии, о приличной работе. Ты никогда не поступишь в институт. Никаких заграничных поездок — даже про Монголию забудь. Завод или колхоз — рабочим или крестьянином. Перспективы роста — ноль.

Она воткнула окурок в круглую пепельницу из фальшивого хрусталя.

— Я тебя не пугаю. — Окурок тихо скрипнул о стекло, выпустил прощальную струйку белого дыма. — И я знаю... знаю про трагедию в вашей семье... что вы недавно потеряли мать.

Она смотрела прямо в глаза, от пристального и тяжелого взгляда мне стало совсем худо — я внезапно увидел себя со стороны, так бывает, когда во втором зеркале вдруг мелькнет твой собственный профиль. Сирота и без пяти минут уголовник. Приступ жалости, острый как зубная боль, резанул и растекся черным ядом по телу: мне страстно захотелось в Монголию, в партию и в институт.

Пять минут назад жизнь потеряла смысл, смерть казалась избавлением; сейчас я был готов цепляться и барахтаться, лишь бы не угодить за решетку. Лицо Инги вспыхло, она грустно усмехнулась и уже хотела что-то сказать, но услужливое подсознание тут же выключило свет — прости-прощай, милая моя.

Следователь Манович достала конверт из черной бумаги. Я знал, что там внутри. Она вынула фотографии и стала показывать мне. Я был готов и к этому. Она показывала одно фото за другим, неспешно, словно мы играли в какую-то игру на внимание.

Страх оказался неожиданно мощным чувством, страх выдавил из меня все остальное — любовь, стыд, достоинство. Процесс этот прошел быстро и почти безболезненно. Я смотрел на фотографии, не видя их; выражение моего лица — вот что меня беспокоило больше всего. Нимфа, наяда, очарованная русалка — прости-прощай, моя милая. Ты оказалась права — в конце концов я все-таки предал тебя.

— Первый раз вижу, — произнес за меня кто-то механическим голосом.

— Валентин Краевский утверждает, что фотографии принадлежат тебе.

— Он лжет.

— В каких отношениях твой брат находился с Ингой Кронвальдс?

— Она ему нравилась. Он пытался ее отбить у меня.

— Как Инга Кронвальдс относилась к твоему брату?

— Она считала его высокомерным... И завистливым.

— Насколько тебе известно, не вступала ли Инга Кронвальдс в сексуальные отношения с твоим братом?

— Нет. Не вступала.

— Может быть, в какой-то момент, когда твои отношения с ней...

— Нет.

— Твой брат утверждает, что ты сам предложил ему вступить в отношения...

— Он лжет.

— Какие у тебя отношения с братом?

— Он меня ненавидит. Считает виновным в болезни и смерти матери. Завидует моим отношениям с Ингой Кронвальдс... завидовал.

— Завидовал настолько, что...

— Да. Насколько. Прошлым летом он пытался меня утопить...

— Ты не преувеличиваешь? Утопить?

— Есть свидетели. Сероглазов, Воронцов, Арахис... верней, Головятенко.

— То есть ты утверждаешь, что твой брат пытался тебя убить?

— Они подтвердят.

— Он находился в состоянии аффекта?

— Не знаю. Не заметил. Я пытался спасти свою жизнь.

— Он вспльщив?

Я едва удержался, чтобы не показать ей сквозной шрам от кухонного ножа на моей кисти и другой, на шее. Вместо этого коротко ответил:

— Да.

Тонем, позой, выражением лица я пытался убедить следователя в виновности брата: не мстить и, не дай бог, сведение старых счетов, нет, — лишь справедливость, одна лишь правда. Я понимал, что топию его, в душу пыталось заползти нечто вроде жалости, но оно было раздавлено безжалостно. Более того, я будто раздвоился: одна часть меня тайно изумлялась холодной расчетливости с которой другая часть дает ответы, делает паузы, запинаясь и вполне убедительно дрожит голосом. А ты, оказывается, можешь быть первосортным мерзавцем — сказала первая часть второй между делом.

Манович хотела еще что-то спросить, но, передумав, сунула в рот сигарету, чиркнула зажигалкой и затянулась.

— У твоего брата очень скверная статья. Сто пятьдесят девять. Часть вторая или третья — это уже экспертиза определит.

— Какая... эксперти...? — пробормотал я.

— Медицинская.

Классе в шестом Димка Горохов притащил в школу книжку, которая называлась «Судебная медицина». Книжка была с картинками. Эти фотографии с мест преступлений

и из моргов, расплывчатые и тусклые, словно снимки чужого бреда, надолго вошли в коллекцию моих ночных кошмаров: труп утопленника, обмотанного цепью, со страницы сто девять, обугленный труп в позе боксера, повреждения на черепе, нанесенные топором. Женский торс с плоской грудью и бесстыжим пуком черных волос — раны на теле жертвы изнасилования.

— Часть вторая... или третья... — по слогам выговорил я. — Что это?

— Повлекшее тяжкие последствия, расстройство здоровья. Или смерть. И еще... — Она стряхнула пепел, аккуратно постучав указательным пальцем по сигарете. — Вот это...

Манович кивнула на черный конверт с фотографиями.

— Брат утверждает, что они принадлежат тебе.

— Он...

— Лжет, — закончила она за меня. — Но ты работаешь в фотоателье, ты мог воспользоваться расположением Кронвалдс и уговорить ее сняться в таком виде. А это можно классифицировать как изготовление и оборот порнографических материалов и предметов, статья двести сорок два, от двух до пяти лет принудительных работ или тюремное заключение на тот же срок.

Мои пальцы впились в сиденье стула. От двух до пяти, господи. И какой обидный тон, словно речь идет о поездке в лес за грибами.

— Если следствие выделит этот эпизод в отдельное делопроизводство. Тогда... — она сделала неопределенный жест, — сам понимаешь.

Не понимаю, ни черта я не понимаю! — мысленно прокричал я, а вслух робко попросил:

— Можно?

— Что?

— Можно сигарету?

Она видела, конечно, видела, как у меня теперь трясутся руки. Кинула зажигалку на стол, подошла к сейфу. Прикусив фильтр зубами, я снова вцепился в сиденье, словно ожидал качки. Манович достала из сейфа полиэтиленовый пакет, сквозь мутный пластик я успел внутри разглядеть какую-то гадость, что-то вроде змеи или ужа.

— Что это? — Не давая в руки, она показала пакет.

Там была веревка. Грязная, мне померещились бурые пятна — конечно, кровь. Чуть толще бельевой, она была завязана хитрым узлом. Еще внутри лежала бумажка, что-то вроде карточки из библиотеки.

— Веревка, — ответил. — С узлом.

— Как называется такой узел?

Я пожал плечами. Дым лез в глаза, но я боялся взять сигарету в руку.

— Узел называется «эшафотным». Или, в просторечии, удавка. Скользящая петля. Ты смог бы завязать такой?

— Зачем?

— Вот именно... — Следователь сунула пакет обратно в сейф, клацнула замком. — А брат?

— Он собирался в морские... — Сигаретный пепел упал мне на колени. — Летчики. Училище летное... как его...

— Хорошо. Дальше.

— Почему-то думал, что на экзамене могут... — быстро вынул окурочек изо рта, рука откровенно тряслась. — Могут спросить про узлы.

— Ты видел, как он тренировался завязывать узлы?

— Видел.

— В том числе и такой?

— Наверно... И такой.

30

Те строки, открывающие дело моего брата, написанные прилежной рукой, вроде пособия по чистописанию, засели в моей памяти, похоже, навсегда.

До могилы, если уж быть точным.

Аккуратные буквы складываются в слова, слова наполняются смыслом и рождают образы. Они похожи на разбитое вдребезги стекло — в каждом осколке живет какое-то отражение — убедительное и заслуживающее доверия, кажется, примерно так мы ведем диалог с нашей памятью. Вглядываемся в осколки, перемигиваемся с отражениями. В моей бедной голове все осколки перемешались. Быль с вымыслом, реальность с фантазией — да и что такое реальность, которая прошла? Химера, не более того. Иногда мне кажется, будто я сам все это видел. Еще есть сны. В самых отвратительных снах роль брата достается мне.

Мне не удалось дочитать бумагу до конца. Струсил, да, снова струсил, побоялся подробностей, испугался деталей, — ведь в них, в деталях, и таится весь страх. Уж поверьте мне: вся соль качественного кошмара именно в нюансах. Увы, уловка моя вышла боком — я забыл про фантазию, забыл про воображение. С каким усердием, с каким мастерством, с какой инквизиторской изощренностью мое подсознание восстановило пробелы и заполнило белые пятна. Дорисовало пронзительной рукой, разукрасило лукавыми красками. А уж разум, загнанный в угол бессонной ночи, все расставил по полочкам логики и здравого смысла. Здравый смысл — уморительная глупость, если вдуматься. В моей жизни не было дня, чтобы я не вспоминал о том утре. Ни одного дня.

Итак: в четверг утром, седьмого августа, ученики третьего класса — Вадим Гулько и Андрей Ерофеев, десять и девять лет соответственно, оба дети военнослужащих, оба проживают на территории военного городка — играли на Лопуховом поле, находящемся в непосредственной близости от их дома. Играли они в разведчиков, поэтому, когда мимо проходил Валентин Краевский, проживающий в том же доме на первом этаже и известный им под кличкой «Валет», они спрятались. Краевский направлялся в сторону заброшенной часовни, расположенной на северной оконечности Лопухового поля. Гулько и Ерофеев запомнили, что Краевский нес сверток темного цвета, похожий на папку для бумаг.

Через незначительный промежуток времени дети заметили женщину в светлом платье, она шла в сторону часовни с запада, предположительно от автобусной остановки «Замок», что у Дома офицеров. Поскольку дети находились на значительном расстоянии, опознать женщину они не могли. Они продолжили игру, Ерофеев предложил пробраться к часовне и посмотреть, чем взрослые занимаются в часовне. Зная вспыльчивый нрав Краевского, Гулько не согласился: «Валет застучает — так нам наkostenяет!»

Тем не менее дети приблизились к часовне на расстояние предположительно метров двадцати и спрятались в лопухах. С того места они слышали голоса, женский и мужской, однако слов разобрать не могли. По агрессивным интонациям можно предположить, что находящиеся в часовне ругались. Потом раздались крики и шум, женщина несколько раз выкрикнула по-латышски какое-то слово. Внезапно крики и шум прекратились, через промежуток времени, предположительно минут двадцать, из часовни появился Краевский и побежал в сторону своего дома. Дети, прячась в лопухах, видели его с близкого расстояния и утверждают, что Краевский был явно взволнован. Пятен крови они не заметили, но видели, как, на бегу сорвав лист лопуха, Краевский вытирал им руки. Когда он скрылся из виду, Ерофеев и Гулько приблизились к часовне. Заходить они побоялись, но через окно им удалось разглядеть женщину, лежащую на полу. Испугавшись, дети побежали домой. В 10:25 мать Гулько (Гулько Каролина Петровна) позвонила в милицию, и на место происшествия был немедленно выслан патрульный наряд.

31

Меня отпустили. Я не подписал никаких бумаг, никаких свидетельских показаний, никаких подписок о невыезде — ничего. Следователь Манович сказала: мы тебя вызовем, сейчас — иди. Вроде мы с ней просто так посидели-покурили, поболтали невинно и без последствий. Как с доброй соседкой или милой мамашей школьного приятеля.

Всю дорогу домой я бежал. В пустом, пыльном небе вставала обкусанная луна. Она судорожно подпрыгивала в такт моему бегу. В мозгу застряла фраза: скользящая петля, а в просторечии — удавка. Подобно уроборосу, змее, проглотившей свой хвост, фраза закольцевалась и на разные лады прокручивалась в моей голове снова и снова. Подходили к концу вторые бессонные сутки, но усталости не было; я пребывал в состоянии какого-то болезненного экстаза, балансировал на грани между истерическим восторгом и припадочными рыданиями.

Я неся, жадно глотая воздух, громко стуча башмаками. Пробегая по мосту через Даугаву, я запрыгнул на парапет и чуть было не сиганул в реку. Понять или объяснить этот поступок я не мог тогда, не смогу и сейчас. Единственное, что помню, — внизу, в пролете моста, упругий поток мощной воды, черной, как грех, и блестящей, как расплавленная смола. И змеиный зигзаг лунного отражения. Скользящая петля, а в просторечии — удавка.

Эйфория постепенно выдохлась. На подходе к гарнизону я перешел на быстрый шаг. За копытами ограды темнел силуэт замка, в окнах бильярдной и ресторана горел свет. Тут, в Доме офицеров, все шло своим чередом — тут играли, ели и пили. В кинозале шел какой-то фильм, наверняка что-то франко-итальянское с драками и погонями.

Миновав ворота, сразу нырнул в парк. Меньше всего мне сейчас хотелось встретить кого-нибудь из знакомых. О том, что сегодня утром случилось в часовне на Лопуховом поле, знали все — в этом я не сомневался. Знали все, и знал каждый, включая детей.

У подъезда никого не было, я проскочил внутрь, открыл дверь, вошел в квартиру. Свет в прихожей не горел, с души отлегло; отца, значит, нет. Значит, говорить с ним не придется. По крайней мере сейчас.

Я щелкнул выключателем и тут же услышал голос отца:

— Не включать!

Я погасил свет, но за эту секунду успел увидеть, что все двери — в комнаты, в ванную, туалет и на кухню — были нараспашку, на полу валялась скомканная одежда, вещи и какие-то бумаги. И еще что-то, похожее на белый хворост, — весь коридор был усеян тонкими белыми прутьями. Они противно хрустели под ногами, пока я наощупь пробирался в нашу комнату. Макароны — запоздало догадался я.

Отец сидел на кровати Валета. Виден был лишь его горбатый силуэт на фоне стены.

— Там был?

Я кивнул:

— Там.

— Брата видел?

— Нет.

— Сука крашенная допрашивала?

— Говорили...

— Ты что-нибудь подписывал?

Я отрицательно помотал головой.

— Подписывал? — голос отца стал злым. — Какие-нибудь показания подписывал?

— Нет. Просто спрашивала... о нем.

— Просто? — выкрикнул он. — Ты что — малахольный? Эта сука... она же

следователь прокуратуры, ты это понимаешь? Прокуратуры! Не какой-то сраный мент из участка, прокурор!

Отец чиркнул спичкой, сломал, чиркнул другой. Закурил. Огонь вспыхнул и погас, осветив чужое лицо какого-то страшного старика.

— Вот ведь сука... Тут же примчалась, тут же! Славка Воронцов говорит: все из-за постановления. Из Москвы... По мерам усиления борьбы... месяц назад приняли, вот эти холуи и забегали.

Я слышал как он затянулся, потом шумно выдохнул дым.

— И ведь никто не верит — никто. Славка тоже. Никто. И я не верю. Не мог Валентин, понимаешь, не такой он. А этим сволочам — о, этим сволочам все равно! Думаешь, они будут разбираться, по-человечески будут расследовать — кто, зачем и почему — как же! Это у них в кино только так. Ведь им же главное — отчитаться перед Москвой, так мол и так — поймали преступника. Наказали по всей строгости и в соответствии. Ведь им жизнь честному парню покалечить — тьфу! И растереть...

Какой бес меня дернул за язык — не знаю. Только я зачем-то сказал:

— Со мной она нормально разговаривала. Мне даже показалось...

— Показалось?! — заорал отец. — Юродивый! У тебя точно чердак не в порядке — показалось ему! Ему показалось! Ты что, на самом деле не петришь или дурочку валяешь, а? Она ж из тебя показания выуживала таким макарком. Показания против брата! Родного брата!

Отец кинул окурок на пол. Наступил на рыжую точку, зло топнув каблуком. В темноте я слышал его сильное дыхание. Пока стоял в раскрытых дверях, мне вдруг пришла в голову мысль — повернуться и уйти. Куда? Неважно куда, главное — откуда.

— Надеюсь, ты не собираешься... — мрачно начал он, запнулся, потом продолжил громче, — ...на суде выступать?

Я пожал плечом. Знал, что отец не видит, но говорить у меня не было сил.

— Спрашиваю тебя!

Я что-то неопределенно буркнул.

— Не слышу! — закричал отец. — Не слышу я! Громче! Говори громче, мать твою! Громче!

Вопреки всей трагичности происходящего отцовское замечание относительно моей матери показалось мне комичным: в данном конкретном случае ругательство несомненно было медицинским фактом. Я непроизвольно хмыкнул.

Дальнейшее произошло молниеносно. Я не увидел, как отец вскочил, как подлетел ко мне, — пружины кровати скрипнули, тень метнулась, заслонив прямоугольник окна. Удара я тоже не ощутил (если вас когда-нибудь били в темноте, вы поймете о чем речь): просто чернота взорвалась ослепительной вспышкой, а пол оказался гораздо ближе, чем мне думалось. Голова гулко стукнула в доски.

Боли не было, не чувствовал я, к своему удивлению, и обиды. Облегчение? — пожалуй, да. Будто какая-то муторная путаница, тянувшаяся вечно, наконец закончилась. Не разрешилась логично, не распуталась красиво и аккуратно, а грубо разрубилась. Не все вопросы имеют ответы и не каждую задачу, оказывается, нужно решать. Иногда нужно встать и просто уйти.

Ощущение свободы, почти стертая, как тогда, в детстве, когда меня забыли у фуникулера. Ощущение свободы, но с горьким привкусом. Тебе не нужно больше притворяться, не надо подстраиваться и ублажать кого-то, теперь ты волен делать все, что захочешь, но плата за это — одиночество.

От досок пола воняло масляной краской, они были холодные и чуть влажные, как в утренней росе. Вставать не хотелось, больше всего я боялся, что отец сейчас все испортит — начнет извиняться и оправдываться. Но он повел себя молодцом, судя повсему, отцу тоже осточертело все это притворство, он перешагнул через меня, протопал по коридору, зашел в свою комнату и от души саданул дверь. Да, иногда самое правильное — просто встать и уйти.

Денег оказалось меньше, чем я ожидал: триста семьдесят пять рублей, по большей части пятерками. Было несколько червонцев и одна фиолетовая — двадцать пять рублей. Кушоры топорщились в кармане, стараясь снова свернуться в трубочку: так я их прятал в своем матрасе.

Ночной вокзал был пуст, касса закрыта, буфет тоже, в окошке с табличкой «Дежурный» кто-то маячил и изредка кашлял.

Мои шаги отдавались гулким эхом, иногда казалось, что кто-то шагает мне навстречу, но никто так и не появился. Похоже, этой ночью я был единственным пассажиром. Неспешно добрал до стальной решетки камеры хранения багажа, за ней темнели пустые полки; в туалете шершавым обмылком с запахом мертвой мыши вымыл руки, после, стараясь не смотреть в зеркало, вымыл лицо. Вернулся в зал ожидания и долго изучал невразумительное расписание, мелкое, под мутным стеклом; казалось, кто-то напечатал тут все маршруты поездов Советского Союза. Некоторые поезда были отмечены непонятными значками — звездочками и крестиками, похожими на тайные каббалистические символы.

Пустая платформа мерцала лужами, должно быть, асфальт недавно окатили из шланга и вода не успела высохнуть. От невидимых клумб томительно пахло душистым табаком. Было очень тихо. Лавки, каждая под своим фонарем и со своим конусом желтого света, уходили в перспективу.

Гармонию нарушала фигура милиционера, бродящего вдали. Сердце екнуло, мне стоило труда не повернуть обратно. Нет, я заставил себя продолжить прогулку: беспечно подошел к краю платформы, заглянул вниз, словно изучая рельсы. Даже фальшиво зевнул, прикрыв рот ладонью. Боковым зрением видел, как милиционер двинулся в мою сторону. Неспешно, пошаркивая подошвами, он подходил ближе и ближе.

— Документы.

Постовой сделал ленивый жест, отдаленно имитирующий отдавание чести. Я повернулся, опустил на асфальт тощий рюкзак — собирался впотымах, кроме зубной щетки и китайского фонарика бог знает, что еще я сунул туда — из внутреннего кармана куртки достал паспорт и школьный аттестат.

Милиционер взял, отошел, встал под фонарь. Я пошелся за ним. Он раскрыл, начал листать паспорт.

— С гарнизона?

— Нет. С кирпичного, с той стороны.

Судя по выговору постовой родом был с юга, наверное, украинец или белорус. Или молдаванин. Хотя молдаван я видел только в кино, да к тому же молдаванину полагаются усы.

— А-а... С кирпичного...

— С кирпичного.

— Че-то не похожа фотография, — он прищурился, глядя то на меня, то в паспорт. — Вроде как ты, а вроде...

— Я это.

— А может, старший брат. Паспорт у него тиснул и в бега.

— Паспорт мой, — буркнул я. — И брата нет.

От милиционера крепко разило сапожной ваксой и потом.

— Нету брата! Малолетки, знаешь, какие кренделя выписывают — вот тут зимой взяли одну артистку, пятнадцать лет, сама с-под Краснодара... Ну как же ее... Яна... Яна... фамилия еще еврейская... А на вид — гладкая такая курвочка, титястая и жопа, что орех, — лет двадцать, а то и больше не моргнув глазом дашь! А ей — пятнадцать! К морякам в Клайпеду пробиралась иностранным, чтоб за валюту, понимаешь, за тряпки, джинсы там всякие. Во как! Паспорт у сестры тиснула...

— Нет у меня сестры..
— Нету... А чего среди ночи? Куда едешь-то?
— В Ригу, — сказал первое, что пришло в голову. — В институте собеседование. Рано утром. В девять. В девять утра собеседование.
Постовой вдруг погрузился, замолчал.
— Драпать, — он протянул мне документы. — Драпать из этой дыры... А то ведь так всю жизнь по платформе прошаркаешь... Первый на Ригу в четыре ноль шесть, московский скорый.
— Спасибо. А как с билетом, касса-то..
— Билет! Да проводнице трояк дашь и вся любовь. Не прозевай только — стоит всего минуту.
Я кивнул, убрал документы, пошел к вокзалу.
— Эй! — окликнул милиционер. — Вспомнил! Фамилия той ссыкухи краснодарской — Файнгарт! Файнгарт — во как!

33

Да, еще одна деталь, которую я забыл упомянуть, нет, вру — как такое можно забыть, снова, жалея себя, решил не говорить, а забыть такое невозможно, нет. Это неразлучно со мной — ныне, присно и во веки веков — аминь! Выравнирована в моей памяти, выколота на изнанке моей души равнодушными буквами прокурорского протокола — вот, читай и ты:

«На левой груди жертвы, в сантиметре над левым соском, обнаружен свежий порез в виде двух параллельных молний, похожих на воинский знак СС, порез нанесен острым предметом, скорее всего, ножом или бритвой».

Возможно ли объяснить, чем Инга была в моей жизни, — не знаю, вряд ли. Для этого я должен взять тебя за руку и провести по всем тайным тропам нашей заповедной страны. Показать те хрустальные водопады и изумрудные озера, бездонные туманные ущелья с парящими орлами и снежные горы, втыкающие свои пики в сапфировое небо; и те сонные долины, где клевер мягок и сочен, где пастухи в заброшенной хижине оставляли для нас теплый хлеб, овечий сыр и кислое молодое вино в глиняном кувшине; а просыпались мы лишь к полудню от звона крыльев пестрых колибри — рубиновых, золотых и прочих невиданных цветов, которым еще не придумали названия.

А после мы отправимся другим маршрутом. Для этого нам понадобится карта моей боли — это будет не столь приятная экскурсия, но она, прости, тоже нужна. Без этого тебе не понять, отчего спустя столько лет я не смог найти замену ей, Инге. Думаешь, я не пытался? Еще как!

Осколки образов, обрывки фраз, тени чувств — вот главные сокровища моей памяти, я их разглядываю, люблюсь, как в детстве наши девчонки любовались своими «секретами» — в тайном месте под кусочком стекла они прятали всякий мусор — фантик, ленточку, обрывок фольги, мертвый цветок. Да, мусор; но, прижатый стеклом, этот мусор выглядел действительно красиво.

Как пошло — скажешь ты. Как банально. Да, я согласен — банально и пошло. Ведь ничего нет банальней смерти, тривиальней боли и вульгарней потери близкого. И как ни крути, в конце концов, смерть — единственная стопроцентная гарантия в этой жизни.

Тебе могло повезти: ты увернулся от страданий и бед, ты обитаешь в милой сказке с говорящими оленями и мягким климатом, тебя не запрятали в острог, ты не попал на каторгу, твой дом не был сожжен огнем вражеской артиллерии, и тебе не пришлось зимой пробираться по льду реки, и тебе не ампутировали обмороженную ступню без наркоза; о пыточных камерах у тебя смутное представление, а про Инквизицию, Освенцим и подвалы Лубянки ты знаешь лишь из книг, но даже в этом случае у тебя еще есть кто-то живой, кто тебе дорог. Но он умрет. И в этот страшный час ты будешь гол как младенец и незащищен как птенец, выпавший из гнезда.

На старом кладбище под Амстердамом я набрел на могилу с надгробным камнем, я сделал фото этого надгробия, увеличил и повесил на стену. Бескомпромиссное послание гласит:

«К тебе, путник, проходящий мимо, обращаюсь я. Как ты сейчас — вчера был я. Как я сейчас — ты будешь завтра».

34

Ночные звонки меня не пугают. К тому же я, как правило, засыпаю лишь под утро. Разумеется, пробовал я и снотворное, но все эти таблетки отчего-то не рекомендуется мешать с алкоголем. А принимая и то, и другое, рискуешь нарваться на неожиданный и не всегда приятный результат. Подробности опускаю, ты можешь о них прочитать на коробке, если вооружишься увеличительным стеклом. Муравьиным петитом набран целый ассортимент побочных эффектов, половина из них будут страшней любой бессонницы. Навязчивые мысли о самоубийстве, беспричинная истерика и немотивированная агрессия — вот тебе всего лишь несколько фиалок из того букета.

Телефон зазвонил в полчетвертого утра, точнее, в три часа и тридцать две минуты. Одной минуты не хватило до полной гармонии троек. Глупости такого порядка расстраивают меня по неясной причине. Номер, что высветился, показался мне слишком длинным для нормального человеческого телефона и напомнил расстояние до дальней галактики.

— Я знаю, тебе плевать, звоню для очистки совести. Отец умер. Похороны в субботу.

Я не произнес ни слова, в динамике пиликали короткие гудки. Бережно, как раненую птицу, я опустил телефон на стол. На экране светились три тройки.

За одну минуту время спрессовалось и обратилось в ничто. Двадцать семь лет, разделявшие нас, оказались ложью, вымыслом, фантазией. Я не то что сразу узнал его, этот голос выдернул меня и швырнул обратно в прошлое. Дюжина слов, всего дюжина слов — и мне снова пятнадцать — чистая магия! Оказывается, я не переставал бояться его, я не переставал его ненавидеть. Нас разделяли четверть века и несколько государственных границ, но меня трясло, точно Валет стоял тут, прямо передо мной. С ухмылкой, шуря глаза и лениво потирая ладони, как он делал всегда прежде чем ударить.

Я отодвинул кресло, опасливо поглядывая на темный экран телефона, встал из-за стола. Подошел к окну. На подоконнике в углу тихо приютилась недопитая бутылка. Я открутил пробку, сделал большой глоток. Мысленно проследил путь алкоголя, отпил еще.

— К чертовой матери! — сказал громко, обращаясь непонятно к кому — к брату, к усопшему (как выяснилось) отцу или к себе самому.

На той стороне залива, пришвартованный к набережной, сиял разноцветными лампочками китайский ресторан, за ним пунктиром мерцали железнодорожные пути, чуть левей виднелось здание вокзала, важное, похожее на крепость с остроконечными башнями и исполинскими часами над аркой входа. Не составляло труда разглядеть и время — было без пятнадцати четыре.

Шок от звонка прошел, смятение тоже, я отпил еще из бутылки и попытался взглянуть на вопрос рационально. Первое — я никуда не еду. Разумеется, я никуда не еду. Ни в какую Латвию и ни на какие похороны. И не надо меня стыдить — они сами вычеркнули меня из своей жизни, и отец, и брат. Чужие люди, просто чужие — кто они мне? Никто! Их нет, они не существуют.

Не существуют?

Но отчего тогда, милый друг, спустя (вокзальные часы показывали четыре утра), спустя двадцать семь минут тебя продолжает трясти? Что это — страх, ненависть или — вот прекрасное словосочетание — жажда мести? Жажда мести! Как романтично,

как вульгарно — прямо сюжетец французского романа: герой возвращается на родину, чтобы отомстить брату за смерть любимой.

По горбатуму мосту прокатился трамвай, стеклянно звякнул и исчез. Отвинтив пробку, я опрокинул в рот бутылку — пусто.

Ведь мерзавец затем и позвонил, чтоб носом меня ткнуть — как щенка, как жучку: нет, врешь, ничего не изменилось. Целая жизнь прошла, и ты можешь себе придумывать, каким важным и влиятельным ты стал, мол, знаю-знаю себе цену: и костюмы, рубашки с запонками, и летаю только первым классом, вон на Манхэттене пентхаус с видом на Центральный парк и тут — дом в пять этажей. Все это, может, и правда, да вот только стоит мне пальчиком тебя поманить и побежишь ты ко мне на задних лапках. Побежишь-побежишь, как миленький.

35

На том же кладбище под Амстердамом я отыскал могилу Гуго Каstellани. Треснувшая по диагонали плита оказалась на редкость лаконичной: кроме фамилии покойного там не было ничего — ни глубокомысленной фразы, ни года рождения, ни года смерти, даже имени не было. Для человека, посвятившего свою жизнь налаживанию контактов с загробным миром, столь скромная презентация, причем именно тут, на месте перехода из одного мира в другой, могла показаться весьма странной, если не знать печального финала его карьеры.

1875 год стал годом краха Гуго Каstellани. Серым февральским утром полиция нагрянула с обыском в его фотоателье на Принц-Хендрик-каде. Студия занимала весь второй этаж, на третьем находилась фотолаборатория, четвертый и пятый были жилыми, там обитал сам фотограф-спиритуалист. На чердаке полиция обнаружила тайную студию и склад манекенов в человеческий рост, набор париков, накладных бород, несколько черепов, в том числе один верблюжий, и целую коллекцию — более двухсот — фотопортретов с умелой ретушью.

На суде Каstellани полностью признал свою вину. Он подробно — шаг за шагом — раскрыл всю механику мошенничества. Клиент при внесении аванса должен был указать, кого из умерших родственников или друзей он желает видеть рядом с собой на фотографии. Поскольку запись производилась за несколько месяцев до съемки, у Каstellани было достаточно времени на тщательную подготовку. Если не удавалось найти портрет, использовался череп, задрапированный вуалью. Иногда добавлялись парик или борода. Детали играли важную роль — тайными путями Гуго узнавал о пристрастиях и увлечениях покойного. Фотограф считал, что именно нюансы, а не парики и накладные бороды заставят клиента поверить в истинность фальшивки. Не выпячивая — лишь намеком, порой едва заметным штрихом, — ведь трюк заключался в том, чтобы клиент сам разглядел спрятанное послание с того света. Сам разгадал шараду и расслышал загробную весточку.

Вдова генерала Деграсси упала в обморок, рассмотрев в увеличительное стекло пучок моркови: отставной генерал в последние годы жизни стал заядлым огородником. Амфора, дымчатым силуэтом проступавшая на фоне, напомнила князю Потоцкому об острове Корфу, месте первой встречи с недавно скончавшейся во время родов княгиней. Череп верблюда, задрапированный марлей, изображал призрак любимой лошади, чучело лисы намекало на охотничьи увлечения. Невзначай оброненная кукла, сачок для ловли бабочек, скрипка, палитра с кистями или нотный поппитр — Гуго, безусловно, обладал незаурядным воображением.

На суде, не таясь, он рассказал и о технической стороне преступления. Фотография гостей с того света готовилась накануне в тайной студии на третьем этаже. Манекен наряжался в подходящий костюм или платье, выбиралась драматичная поза; заранее отпечатанный портрет в натуральную величину крепился булавками к голове манекена. Сверху накидывалась «магическая вуаль» (так Гуго называл крашенные куски марли и полупрозрачного шелка): драпировка создавала мистический флер и заодно скрывала

изъяны — булавки, швы, грубые края и места склейки. Делался снимок, фотопластина проявлялась и оставалась в лаборатории.

На следующий день появлялся клиент. Он приходил к назначенному часу, его встречал ассистент — немой индус-сикх в белом тюрбане, вел в студию. Усаживал в кресло, фоном служил черный бархатный занавес. Такие же шторы закрывали все три окна. Тщательно выставленные фонари освещали лишь сидящего в кресле. Появлялся фотограф, одетый в черный фрак, к тому времени он отпустил длинные волосы и отрастил демоническую бородку клинышком. Без единого слова Гуго подходил к камере и делал снимок. Молча уносил дагерротип в лабораторию. Пока ассистент угощал клиента ликерами или кофе с бисквитами, Гуго наверху проявлял пластину: фон за креслом оставался прозрачным, совместив новый негатив с заготовленным загодя, «загробным», он делал отпечаток.

Элементарная химия, авантюризм и немного фантазии — и через двадцать минут клиент получал несокрушимое доказательство существования загробного мира.

Прокурору не составило труда отыскать пострадавших. Клиентами фото-медиума были персоны по большей части богатые и именитые. Некоторые настолько, что их фамилии были изъяты из документов следствия. Свидетелями на процессе выступили: знаменитый журналист, вдова известного итальянского скульптора, профессор Гаагского университета, полковник артиллерии, оперная дива и ученый-зоолог.

Все они слышали признания фотографа, несложная механика мошенничества не оставляла сомнений в обмане, прокурор демонстрировал парики и фальшивые бороды, привезли даже верблужий череп и два манекена — женский и мужской, но вопреки фактам, вещественным доказательствам, вопреки здравому смыслу все свидетели выступили в защиту обвиняемого. Процесс над Каstellани виделся им результатом происков завистливых конкурентов — менее удачливых спиритуалистов, заговором воинствующих атеистов из академических кругов, коррупцией в полиции и архаичностью судебной системы королевства Нидерландов.

Что это? Абсурд? Как можно объяснить абсурд? Да и возможно ли? Что заставило взрослых, образованных людей занять наивную позицию, идущую вразрез с логикой? Ведь не дремучие крестьяне из сумрачного средневековья — сливки и пенки, элита просвещенного века.

Ответ не так прост и состоит из нескольких элементов. Разумеется, доверчивость. Доверчивость, часто помноженная на горечь от потери близкого человека. Гордость. Разумеется, гордость — никто не хочет выглядеть простофилей, клонувшим на незатейливую блесну: к тому же за парный фотопортрет с покойником клиенты платили немалые деньги. В любом, даже очевидно проигрышном положении человеку свойственно желание выглядеть авантажно и по возможности сохранить лицо.

Но, помимо перечисленных, вполне понятных человеческих слабостей, в этой истории есть и элемент почти мистический — я вовсе не имею в виду фальшивых выходцев из мира мертвых, нет, речь идет о желании верить. Верить. И не просто верить, а верить вопреки. Вопреки здравому смыслу, фактам, законам физики, своему опыту и мудрости всего человечества, вопреки всему на свете. Что рождает эту непостижимую веру — любовь, утрата, тщеславие или вообще непонятно что — не столь важно. Важно, что в каждом из нас тайно тлеет страстная готовность поверить в чудо. Мы жаждем тайн, и чем невероятней, чем сверхъестественней она, тем упрямей наша вера.

Через сто лет я стоял перед парадной дверью того самого дома на Принс-Хендрик-каде. Фасад, да и саму дверь, похоже, красили еще при фотографе-спиритуалисте. Дом, на амстердамский манер, был зажат с боков соседями: велосипедная мастерская справа и антикварная лавка слева. Звонок не работал, я вдавил немую кнопку еще несколько раз, прижал ухо к облупившейся краске. Тихо. Стукнул кулаком

несколько раз, потоптался немного, уже собрался уходить. На втором этаже стукнули ставни, в приоткрытом окне показалась старуха. Она что-то прокаркала по-голландски, я не понял ни слова и, задрвав голову, выкрикнул как пароль:

— Кастеллани!

Старуха исчезла, тут же появилась снова, совсем как кукушка в ходиках. Махнув рукой, что-то бросила мне. На тротуар, звонко звякнув, упал ключ. Такими в сказках запирают замки казематов или башен с томящимися там златовласыми принцессами. К кольцу была привязана белая лента, пока ключ летел, она неслась за ним хвостом кометы.

Прихожая, тесно заставленная каким-то хламом, напоминала кладовку. Наверх вела крутая узкая лестница. Я поднялся на второй этаж и очутился в темной и неожиданно большой комнате с тремя стрельчатыми окнами. Сквозь щели в ставнях пробивался свет, высокий потолок был украшен алебастровыми розетками и прочей безвкусной орнаментикой, на месте люстры из дыры свисал оборванный провод. Старуха оказалась женщиной около сорока, босой, в черном атласном халате с китайскими мотивами. В стакане, что она цепко держала, блестел лед и желтела какая-то янтарная жидкость. Женщина была пьяна в лоск. Мои часы показывали десять сорок утра.

Она начала задавать вопросы. Ее голос напоминал голосок девочки-подростка, высокий, с ломкой хрипотцой, намекающей на завершающую стадию полового созревания. Что она о чем-то спрашивает, я догадался лишь по интонации — то был мой первый год в Голландии, и я объяснялся на косноязычной смеси школьного немецкого с вкраплением приблизительного голландского и весьма условного английского. Все это сопровождалось выразительной мимикой и живописной жестикуляцией. В безвыходных ситуациях я использовал русские слова, снабжая их окончаниями «ус» или «ум», надеясь, что подобная вестернизация славянской речи будет способствовать пониманию.

Я показал ей эмиграционную карточку, которую мне выдали в полиции пару недель назад. Печать с королевским гербом не произвела особого впечатления, покрутив в руках, она вернула картонку мне. Звякнула ледышками в стакане, сделала птичий глоток и снова что-то спросила. Пару слов я понял.

— Нихт! Найн! Ихь бин кайн польский коммунист, — я тыкал себя в грудь, отрицательно мотая головой. — Ихь бин русский фотографус.

— Фотографер?

— Йа! Йа! Фотографер!

Ее звали Леонора Кук, она оказалась правнучкой знаменитого Кастеллани. Выяснилось, что и Гуто тоже на самом деле был Куком. Так, по крайней мере, я понял. Мы поднялись наверх. На чердаке пахло теплой пылью и старой бумагой. Пирамиды сундуков и коробок разных калибров упирались в почерневшие балки, в углу теснились манекены, плюшевые от серой пыли. Под брезентом, что Леонора сдернула королевским жестом, обнаружилось массивное кресло на львиных лапах и с резной спинкой. Я попытался сдержаться, но все-таки чихнул. Леонора вежливо пожелала мне здоровья, я галантно кивнул:

— Беданкт!

Она позволила мне рыться в коробках. В одних хранились стеклянные пластины с негативами, в других — отпечатки. Фотографии столетней давности выглядели на удивление качественно — идеальная резкость, прозрачность света и мягкость тени; любой сегодняшний фотограф, пользующийся новейшей оптикой, мог бы позавидовать техническому мастерству Гуто. Не говоря уже о его творческой виртуозности.

Пришельцы с того света выглядели настоящими призраками: мутные и полупрозрачные, в чутких позах, они словно прислушивались к какому-то властному тайному зову из загробного мира. Безусловно, помимо технического и артистического мастерства, Гуто обладал феноменальным психологическим чутьем.

Вот молодой мужчина, лицо серьезно, он сидит прямо (я узнал кресло на львиных лапах), пальцы сжимают подлокотник. Он пристально смотрит в объектив камеры. Мне кажется, что он смотрит мне прямо в глаза. За креслом клубится туманная бездна. Из морока, точно сотканная из ключев дыма, возникает фигура, женская фигура. С мольбой она тянет руки, пытается обнять мужчину, но какая-то сила, мощная и упругая, вроде сильного потока, тащит ее прочь. Лицо женщины едва угадывается, но сходство несомненно.

Не знаю, сколько времени я провел на чердаке. Леонора приходила и уходила, потом появлялась снова, мелодично позвякивая льдом в полном стакане. В углу я раскопал футляр с набором объективов, две старинных камеры и штативы для них, в чемодане обнаружился целый выводок аптекарских склянок, реторт и колб. В мешках были сложены парики и бороды, в других — куски марли и шелка.

Когда я уходил, Леонора показала мне трезвей, чем утром. Она загадочно улыбнулась и тронула указательным пальцем мою скулу, словно проверяя меня на реальность. Я попросил разрешения прийти еще раз. Одновременно подумав, что в год моего появления на свет Леонора наверняка была весьма привлекательной девицей.

Тогда я жил в общаге рядом с рынком на Альберт Кайп, получал пособие в шестьдесят гульденов и ходил на вечерние курсы голландского языка при протестантской церкви. Соседи по общаге, два развеселых брата-суринамца шоколадного цвета в пестрых рубашках с пальмами и попугаями, пытались пристрастить меня к марихуане, но из этого ничего не вышло: от травы мутило, вместо обещанного кайфа наваливалась тошнотворная слабость как при пищевом отравлении. По утрам мы подрабатывали на рынке, помогая торговцам разгружать овощи и фрукты. Тогда я узнал о существовании киви и абсолютно гладких персиков, впервые попробовал манго и папайю. Устрицы мне не понравились, а вот голландская селедка — гораздо вкусней нашей, балтийской.

Одиночество не тяготило меня, наоборот, казалось естественным. Созерцание стало моей страстью. Я превратился в огромный и жадный глаз. Амстердам виделся мне сказочным городом, уютным и тихим, волшебным рогом изобилия, полным добрых сюрпризов.

Город не скупился на чудеса, я их хищно впитывал. Большие чудеса, чудеса поменьше, ну и совсем уж крошечные — вроде стеклянных капель росы на стальных спицах велосипедов ранним утром или запаха жареной картошки из соседней забегаловки. Или как торговцы рыбой разбойничьими голосами зазывают покупателей, выкрикивая цены, или как от тюльпанов пахнет медом, а мед пахнет ванильным печеньем.

С каким восторгом, тихим и похожим на хрупкое счастье, я шагал утренними безлюдными улицами, когда сонное солнце с трудом протискивалось меж домов и рассыпалось тысячей зайчиков по мокрым булыжникам мостовой, по лужам на пустых столиках летних кафе, путалось в железных ножках венских стульев, а то вдруг вспыхивало звонкой радугой в веере воды из шланга, из которого обстоятельный хозяин заведения в мокром фартуке и свежей рубашке снежной белизны неспешно поливал тротуар.

День подкрадывался незаметно. Вдруг тишина обрывалась, и ты оказывался в вихре беспшабашной карусели: солнце выкатывалось в зенит, острые черепичные крыши пронзали синее небо, по невозможной синеве перпендикулярно каналам, мостам, домам и соборам неслись разорванные в клочья белые облака, крикливым чайкам вторили звонкие трамваи, из кондитерских несло душистым жаром и пахло булками с корицей. Задорный здоровяк, смахивавший на отставного фельдфебеля, улыбаясь всем своим естеством — прищуром глаз, пышными усами, бронзовой лысиной с апостольской седой опушкой — бодро крутил ручку расписной шарманки, громогласной, как духовой оркестр, и огромной, как платяной шкаф. Тут же румяная деваха в красном чепце и яично-желтых сабо приглашала на лодочную прогулку по каналам с выходом в залив. Пиво и лимонад входили в стоимость экскурсии. С запада, из ларька с убедительно нарисованной русалкой, благоухало маринованной селедкой

с луком; с востока, из открытых окон харчевни, тянуло пивным хмелем и жареными сардельками.

Ошалевшие туристы сбивались в стайки, они бродили по городу как заблудившиеся дети — японцы с неизбежными фотоаппаратами щелкали все подряд, включая сытых голубей и магазинные вывески, немцы готтали и бесконечно ели картошку из клетчатых бумажных кульков, зычные американцы, похожие на мордатых подростков, искали кофейни с марихуаной, жгучие средиземноморские брюнеты, воровато стреляя маслинными глазами, нетерпеливым шепотом требовали указать кратчайший маршрут в квартал Красных фонарей.

А после на город тихо спускались сумерки, и вдоль каналов можно было кружить вечно; в воде отражалось розовое небо, потом каналы становились фиолетовыми, темно-лиловыми и вдруг чернели как деготь, густели и застывали.

Зажигались окна и ложились в неподвижную воду, штор никто не задергивал, часто окна были распахнуты настежь: в интерьерах всевозможных вкусов и разного достатка амстердамцы занимались обыденными делами — грустили, подпевали фальшиво радиоприемнику, беседовали, целовались, ужинали. Выпивали, многие курили, иногда, судя по страстным стонам, совокуплялись, реже ругались. После я узнал, что голландская эта традиция уходит в средневековье: священник выполнял ежевечерний обход прихожан, заглядывая к ним в окна. Занавешенное окно намекало на темноту помыслов хозяина, за занавесками определенно занимались каким-то греховным делом. Но если ты чист душой перед Богом и людьми, то и скрывать тебе нечего. А все естественное — от Бога и потому не стыдно.

На Принс-Хендрик-каде я появился снова через несколько дней. В этот раз я выучил несколько голландских фраз. Пока я копался на чердаке, Леонора даже угостила меня кофе — принесла фарфоровую чашку на подносе, на бумажной салфетке рядом лежал сиротский сухарик.

К сентябрю мне выдали разрешение на работу, и я устроился в фотолабораторию у центрального вокзала. До Принс-Хендрик было всего минут пятнадцать быстрым шагом — через мощеную площадь, перерезанную серебром трамвайных рельсов, по трем горбатым мостам над тремя сонными каналами.

Леонора очевидно считала меня слегка помешанным, но не опасным, тихим. Вроде тех шахматистов, математиков или страстных нумизматов, что проводят жизнь в параллельном мире черно-белых клеток, дробей и слепых монет мертвых империй. После смерти Каstellани (он скончался от сердечного приступа прямо в зале суда), семейство Куков постаралось сделать все, чтобы мир поскорее забыл и фотографа-спиритуалиста, и его фабрику заказных призраков. Агенты Кристи умоляли вдову выставить на аукцион хоть что-нибудь из бутафорского арсенала Гуго, за верблюжий череп они обещали не меньше тысячи гульденов, за любой манекен — пятьсот. Дагерротипы знаменитостей запросто могли уйти по сотне. Деньги по тем временам весьма приличные, к тому же после выплаты судебных издержек семья — вдова и две дочки — остались на бобах. Но прабабка Леоноры, дочь брабантского драгуна, участника бойни под Роттердамом, где в одном бою он потерял три пальца, глаз и правое ухо, была непоколебима: оптика и камеры, мошеннический реквизит и аксессуары вместе с архивом негативов и отпечатков — все было свалено в мешки, коробки и сундуки и хладнокровно заперто на чердаке.

В одном из ящиков я наткнулся на лабораторный дневник Гуго. По отпечаткам и приложенным схемам было видно, как он экспериментировал с освещением и выдержкой, пытаясь добиться наиболее драматичного эффекта, как он использовал свои магические вуали для создания загробной реальности, как шаг за шагом приближался к созданию почти идеального миража потустороннего мира. Ведь мираж, зафиксированный на фотографии, перестает быть фикцией. Он убедителен, как снимок вон того фонаря или этого дерева. К тому же на тот фонарь тебе определенно наплевать, а призрак любимого дедушки тебе близок и дорог. Внезапно я начал понимать, отчего обманутые клиенты не приняли сторону обвинения. В конце концов

примерно так работают все религии, и история человеческой цивилизации не такой уж плохой пример для подражания.

Леонора, пьяненькая и по-детски неловкая, вечно что-то роняющая или цепляющаяся за углы, с русой школьной челкой и большими глазами невинной голубизны, поначалу казалась мне нелепой и почти комичной. Как-то она предложила мне остаться переночевать. Сказала, что постелет в кладовке под лестницей. Это не совсем кладовка, а что-то вроде кровати в шкафу — голландское изобретение для сохранения тепла, — кстати, именно в таком саркофаге спал и великий Рембрандт. Я нехотя согласился, убедив себя, что до общаги тащиться через весь город, а так на работу утром домчусь за пятнадцать минут. Опасения мои оправдались — ночью хозяйка пришла ко мне в шкаф. Но вместо ожидаемого разврата она залезла под одеяло и, обхватив меня, прорыдала всю ночь. Многих слов я не понял, кажется, она говорила про свою мать и про какого-то Альберта, кто это был — отчим, или брат, или просто знакомый, выяснить мне не удалось. Под утро, не разжимая рук, она заснула, а я, боясь пошевелиться, лежал оглушенный, как контуженный солдат, забытый на поле боя.

Рубашка была насквозь мокрой, я не мог представить, как одна маленькая женщина в состоянии выплакать такое количество слез за одну ночь. Другим открытием стало, что жалость и сострадание в нужной пропорции удивительно напоминают некий суррогат любви. Разумеется, любви платонической.

Я переехал на Принс-Хендрик в январе. Леонора тогда свалилась с жестокой простудой, стала капризной, хрипло кашляла, как умирающий шахтер, но не переставала педить свои коктейли (ямайский ром с лимонадом и льдом) и курить. Как многие голландцы, из экономии она курила самокрутки — тонкие и тугие пахитоски, которые она ловко сворачивала буквально за несколько секунд, даже не глядя.

Устроился я на четвертом этаже, в бывшей лаборатории ее прадеда. Спал на кожаном диване, близнеце дивана из латышского фотоателье Адриана Жигадло. Я платил ей ренту, скорее, символическую, тем более для таких апартаментов да еще и с видом на залив.

В феврале закончились языковые курсы, к весне мой голландский стал вполне приемлем для вербального выражения относительно сложных мыслей. Мы вступили в пору наших «арабских ночей»: мои истории плавно перетекали одна в другую, стеклянно позвякивал лед в стаканах, Леонора сорила пеплом на подушки, из почти мифической тьмы вставали Гусь и Арахис, рыжая буфетчица и милиционеры, появлялась мать, выходил отец, недобро шурысь, вышывал Валет. Инга в моих историях получалась неубедительной, как коллажный портрет, грубо составленный из фотографий разных людей. Из-за Инги мы чуть не поругались.

— Она чокнутая! — неожиданно громко и зло сказала Леонора. — А ты — тряпка!

— Она любила меня!

— Дурак! Безумец не может любить никого, кроме себя и своего безумия!

Я растерялся, а Леонора, ткнув окурок в пепельницу, откинула одеяло и, шлепая босыми пятками по паркету, вышла прочь из комнаты.

Если уж начистоту, то мне самому многие из тех историй казались почти вымышленными. Словно я пересказывал какие-то нордические саги вроде «Калевалы» или «Нибелунгов», где жестокость выдавалась за решительность, вероломство за ум, хитрость котировалась выше чести; где брат убивал спящего брата, а после рубил его тело на сто кусков и выкидывал в волны прибоя, где вдова покорно отдавалась убийце мужа, который в свою очередь душил младенцев в колыбели, опасаясь грядущей мести. Я рассказывал о событиях, участником которых был сам, и часто не мог объяснить логики поступков, причем не столько Леоноре, сколько самому себе.

Еще одно открытие подтвердило мою раннюю догадку об иллюзорной природе времени. Повторюсь — времени не существует. Когда в жаркой темноте Леонора стискивала мои плечи, когда ее кукольный голосок, задыхаясь, поднимался все выше, словно карабкаясь по ступеням, и я уже не мог отличить сладострастных возгласов от

истерических рыданий, когда она становилась робкой, доверчивой и ласковой, мне начинало казаться, что я обнимаю не взрослую тетку, прокуренную и страдающую алкоголизмом, а трусливую девчонку, неопытную и пугливую ровесницу.

Да, жалость под определенным углом зрения действительно здорово напоминает любовь. Но не радостную, какая случается летом или в самом конце весны — с теплым ливнем и мокрыми поцелуями в высокой траве, полной стрекота кузнечиков и запаха лесной земляники, а любовь хмурую, февральскую, безнадежно горькую, как ядро гнилого ореха. Чем ближе я узнавал Леонору, чем больше она рассказывала о своей жизни и о себе, тем глубже я погружался в эту непроглядную хмарь.

Альбертом звали ее сына, который умер в пять месяцев. Муж, имени его она не произнесла ни разу, он фигурировал в истории как «он» или «этот», сумел убедить Леонору, что смерть ребенка полностью на ее совести. После попытки самоубийства она очутилась в психушке, через полгода ее выпустили, прописав кучу таблеток и обязательную психотерапию. Муж к этому времени исчез, сняв все деньги с их счета и прихватив фамильные драгоценности.

Леонора страдала от нескольких фобий. Начиная с тривиальной боязни открытых пространств — иногда она не могла заставить себя выбраться из-под одеяла весь день — до экзотического страха быть превращенной в птицу. Она опасалась острых, колющих и режущих предметов, ей постоянно чудился запах дыма, однажды она призналась в своей крепнущей уверенности, что на дом непременно рухнет неисправный самолет. В то же время на улицу она выходила лишь в случае крайней необходимости. За общение с внешним миром отвечал я. Продукты и напитки (ром непременно «Капитан Морган», лимонад, разумеется, только «Сол»), оплата счетов, покупка газет и журналов — все это и многое другое стало моей обязанностью.

Одновременно я продолжал разбираться с хозяйством прадедушки: навел порядок в лабораторном архиве, студийные дневники разложил по годам (хронологию нарушала обидная брешь в 1874 году — в коробке с первым полугодием мыши устроили гнездо, превратив бумаги в труху). Я пылесосил манекены и чистил костюмы. На открытой террасе с головокружительной панорамой на черепичные крыши, золотые шпили и кирпичные башни я развесил на прищепках парики, бороды и магические вуали. Судя по гирляндам мертвых лампочек и забытым бутылкам, по выводку барных стульев и пыльным фужерам, на террасе некогда пили и веселились. Леонора на террасу не выходила, у нее возникало непреодолимое желание прыгнуть вниз. В целом она относилась к моему увлечению нечистыми делами порочного Гуго Кастеллиани со сдержанным раздражением.

Старинные фотокамеры сохранились превосходно и наверняка работали. Подтвердить или опровергнуть мою уверенность, увы, возможности не было — дагерротипы перестали выпускать почти сто лет назад. К лету я привел чердак в божеский вид. Пользуясь рисунками Гуго, схемами и записями из дневников, я воссоздал на чердаке его тайную студию, ту, где рождались химеры. Гениальным изобретением оказались его магические вуали — шелк или марля вешались наподобие занавесок как перед объектом съемки, так и за ним; угол освещения и яркость лампы меняли прозрачность вуали, создавая ощущение таинственной туманности и неожиданной, почти inferнальной, глубины.

На барахолке, что у оперы на Ватерлоо-плейн, мне удалось за пятьдесят гульденов выторговать у хромого югослава старый «Никон» с парой приличных объективов. Проявлять пленку и печатать фотографии я мог, оставаясь на работе после закрытия фотоателье. В июне я начал экспериментировать. Поначалу пытался разобраться и просто повторить — стандартный путь из подмастерьев в мастера в любом ремесле. Изобретательность Гуго восхищала, но еще больше поражала его интуиция, ведь только дьявольским чутьем и ничем другим не объяснить лунный отлив рефлексов, робкую дрожь бликов, тягучую негу теней — ворожба, чистой воды ворожба! Кастеллиани продвигался наощупь, он был первым, никто до него не посягал на документальное воспроизведение загробного мира.

37

Свой велосипед я оставлял в прихожей под лестницей. Это был мой третий, два предыдущих, разумеется, похитили злодеи. Местные скажут: три за год — нормальная статистика. Бросив мокрый плащ в угол, я подхватил увесистый пакет с продуктами и поднялся наверх. Леонора сидела на сумрачной кухне, сгорбившись, смотрела в окно. Она не повернулась, в толстой кофте деревенской вязки поверх шелкового халата она напоминала хворую тропическую птицу. Я потянулся к выключателю.

— Не включай, — сказала она и закашлялась.

Я равнодушно пожал плечами, бухнул пакет на стол. Внутри звякнули бутылки. Она снова начала кашлять, закрывая рот комком белого платка. У меня появилось ощущение, что со мной это все уже происходило — здесь, в Кройцбурге, во сне? По окну стекал дождь, уличные огни расплывались, таинственно мерцая рубиновым и лимонным, точно в волшебном калейдоскопе. В детстве я разобрал один, там оказались осколки крашеного стекла и несколько зеркал. Мусор в картонной трубке. Мой совет — никогда не пытайся разобрать калейдоскоп.

— А у тебя было прозвище? — спросила Леонора, не поворачиваясь.

— Чиж, — сказал я по-русски.

— Что это?

— Птица, — я не знал голландского перевода. — Маленькая птица.

Она подняла стакан, сделала глоток. На кухонном столе стоял другой стакан с растаявшим льдом на донышке. В пепельнице рядом лежали два окурка с белым фильтром.

— Кто-то был? — спросил я, разглядывая окурки... — да, «Салем», с ментолом. — У тебя был кто-то?

Она снова закашлялась. Я подошел, хотел что-то сказать, но, махнув обеими руками, выскочил в коридор. Сбежал по лестнице, натянул мокрый плащ, вывел велосипед под проливной дождь. Напоследок от души саданул дверью. Проезжая по мосту, нашарил в кармане ключ и с размаху швырнул его в черноту канала.

Умоляю тебя — никогда не пытайся разобрать калейдоскоп.

Мне позвонили утром, когда я проявлял пленки. Марейка, двухметровая рыжая девица, сидевшая на выдаче и приеме заказов, вечерами она подрабатывала телефонным сексом, причем на четырех языках (как-то в баре, лениво потягивая пиво, она демонстрировала мне вполне убедительный оргазм на испанском), постучала в лабораторию и просунула в щель бумажку с телефоном и неведомым мне именем Ян-Виллем ван Тайтл.

Я позвонил. Птичьим щебетом откликнулась секретарша — господин ван Тайтл занят, но он с удовольствием примет господина Краевского завтра в одиннадцать. Господин ван Тайтл будет ждать господина Краевского по адресу: Шпигельстраат, 19. Увы, никаких подробностей сообщить она не может.

Шпигельстраат — улица с претензиями. Тут притаились лавки ювелиров с изумрудами и сапфирами бесстыжих размеров за толстенными стеклами витрин, а рядом с уютными галереями, где можно купить офорт Дали или эстамп Матисса, сияют мореным дубом двери адвокатских контор. Бронзовые ручки — кольцо в львиной пасти, орлиная лапа с шаром — надраены до блеска. Прохожих мало. Туристов заносит сюда лишь случайно, за каналом с горбатым мостом виднеются черепичные крыши Рейксмузеума с резными флюгерами.

Ян-Виллем ван Тайтл, коренастый блондин в золотых очках и черной, как старый ворон, тройке, поднялся из-за массивного письменного стола и крадчиво пожал мне руку. Книжные полки, плотно набитые одинаковыми томами, упирались в потолок кабинета. Толстый ковер с кровавым орнаментом из арабских лопухов, на стене потемневший портрет в золотой раме. Пахло хорошим табаком и восковой мебельной мастикой. Запах напомнил генеральскую квартиру моего деда.

На зеленом сукне стола расположились старинный письменный прибор, изображающий рыцарский замок, бронзовая пепельница, настольная зажигалка в виде дракона. По бокам, на тумбах стола, лежали папки чуть ли не крокодиловой кожи с медными пряжками, а прямо по центру стоял керамический горшок с крышкой. В похожих крынках латышские крестьянки хранят сметану.

Говорил Ян-Виллем негромко и неспешно, как человек, привыкший, что его всегда слушают и никогда не перебивают. Я послушно вынул бумажник, показал документы. Он взял их в руки, маленькие, с короткими детскими пальцами нежного цвета и идеальными розовыми ногтями. Долго читал и разглядывал. Не вернул, положил перед собой. Из папки достал бумаги, на одной краснела настоящая сургучная печать с бечевкой.

Через час я вышел на улицу. Выплюнул незажженную сигарету, которой угостил меня Тайтл. На губах и во рту остался мятный привкус, как от пастилки «холодок». Быстро пошел в сторону музея. Наткнулся на кого-то в военной форме, пробормотал какие-то извинения. Нет, спасибо, нет, помощь мне не нужна. Резко развернувшись, зашагал в противоположном направлении. Те же двери с бронзовыми ручками, те же вывески: «Шапиро и сын», «Рекс фон Коливер», «Д-р Адлер, адвокат и нотариус»; в витрине галереи на бирюзовом лаке помоста лежала позолоченная русалка в натуральную величину. Шел быстро, почти бежал. Слезы текли по лицу, я их не вытирал. Без всхлипов и рыданий эти чертовы слезы текли сами. Текли по щекам, по подбородку. По шее стекали под воротник. Во внутреннем кармане топорщились бумаги. Общими руками я прижимал к плащу Леонору — да, бесспорно, женщиной она была миниатюрной, крошечной, но все равно я не мог уразуметь, как им удалось впахнуть ее в трехсотграммовую крынку из-под сметаны.

Про свой велосипед, оставленный на Шпигельстраат, я вспомнил лишь под утро.

38

Лишь в апреле мне хватило духу привести женщину на Принс-Хендрик-каде. Тихую монголку, изображавшую из себя художницу-примитивистку, с идеально круглым лицом и бритой наголо головой, покрытой татуированными узорами. Но даже спустя полгода я чувствовал себя как предатель. Самым безопасным местом тогда показался чердак. Мы поднялись наверх, мы были пьяны, но даже когда, путаясь в ее цыганских бусах и фальшивых золотых монистах, я завалил художницу на пол, мне толком не удалось ничего — то меж балок, то в дверном проеме мерещилась мне худая, почти детская, фигура в шелковом халате, кутающаяся в безразмерный белый свитер деревенской вязки.

С Леонорой пришлось поступить так, как ее прабабка поступила со своим покойным супругом. Разница заключалась в том, что я пытался спрятать свой стыд, вдова — позор мужа. Для храбрости включив радио на все катушку и предварительно высосав треть бутылки, я взялся за дело. Собрал все — пепельницы, ее стаканы, одежду, обувь, белье, парфюмерную мелочь и прочий хлам, — свалил это в мешки, огромные, из черного тутого полиэтилена (на упаковке советовали использовать их для строительного мусора). Один за другим оттащил все девять мешков в ее спальню и запер там на ключ. Выкинуть или отдать старьевщикам хоть что-то у меня просто не хватило духу.

Сам на знаю зачем, я продолжал работать в привокзальной фотостудии. Уволился лишь в сентябре, денег Леоноры при моих нехитрых запросах мне бы хватило лет на двести. Если честно, то все это время меня подмывало снять какую-нибудь квартиру, желательно подальше от залива, и никогда больше не приходить на Принс-Хендрик-каде. Но с упрямством страдальца каждый вечер я заставлял себя тащиться на набережную. Подходил к двери, вытаскивал ключ с белой лентой и, вдохнув полной грудью, как перед погружением на дно, отпирал замок.

Поднимался наверх. Снимал с полки крынку с Леонорой, ставил на кухонный

стол, садился напротив. Вспоминал, что случилось за день, рассказывал. Леонора не перебивала — слушала, она и прежде была немногословна. Человеческий прах похож на серую пудру, серая мягкая пыль с горьковатым запахом, порой я открывал крышку и высыпал пепел на ладонь. Разглядывал, пытаюсь вспомнить ее лицо. Пить за здоровье мертвых бессмысленно, поэтому я пил молча, без тостов. Ближе к ночи, охмелев, начинал чокаться с кринкой.

Да, иногда, чтобы не сойти с ума, надо просто не противиться безумию. Как на реке — лечь, раскинуть руки и покорно отдаться течению. Кто знает, возможно, именно стоический мазохизм и помог мне заштопать дыру в совести и выправить отношения с покойной. Безусловно, проще было бы сбежать. Но ведь бегство — всего лишь географическое перемещение тела, а багаж боли, стыда и страха всегда с тобой. Вроде того чемоданчика с бесценным грузом, что приковывают к запястью стальным браслетом.

39

Тот декабрь выдался туманным и теплым: дождь лил две недели с какой-то тропической яростью, в Зюйд-парке пробилась трава — яркая и сочная, там вовсю пели птицы и пахло весной — совсем, как в марте. На липах набухли почки, и из них уже проклюнулась невинная зелень. На клумбах распустились лиловые крокусы, вылезли стрелки тугих тюльпанов. Чудилось, еще чуть-чуть и наступит лето.

Но не тут-то было: под самое Рождество ливень иссяк, ветер разогнал тучи, за ночь столбик градусника сполз до минус семнадцати. А когда утром выкатилось солнце, Амстердам вспыхнул и засиял. Чистый и звонкий, словно залитый лаком, город выглядел новенькой игрушкой. Все было покрыто тонким слоем льда — рыжая черепица крыш, чугунные поручни мостов и оград, флюгеры, шпили башен, кресты церквей. Брусчатка улиц казалась стеклянной, в замерзших каналах отражалось синее небо. По этой синеве неслись шальные амстердамцы: выяснилось, что на коньках горожане гоняют даже беспшабашней, чем на велосипедах. Пестрели вязаные шапки, длинные шарфы неслись, как хвосты безумных комет, морозный воздух звенел от стали коньков. Поджарые студенты с портфелями и рюкзаками, седые старухи, похожие на законспирированных колдуний, шумные и отчаянно румяные дети, тут же конторские служащие в строгих галстуках и с деловыми папками под мышкой — можно было подумать, что в то утро весь город разом встал на коньки.

Нора появилась сразу после полудня. Часы на башне у Нью Маркет отбили двенадцать, и тут же раздался стук в дверь. Настойчивый и громкий, на грани с хамством. Я кубарем скатился вниз по лестнице. Гремя замком, распахнул дверь.

— Нора! — она выставила энергичную ладонь, будто демонстрировала какой-то удар в карате. — Вы Каstellани?

Заготовленная голландская ругань застряла у меня в горле, я неуверенно пожал ей руку — ладонь была узкой, цепкой и холодной как ледышка.

Я побаиваюсь таких бойких брюнеток, мелких и азартных, с повадками фокстерьера. Если бы не это предубеждение, я бы счел ее даже красивой. Опять же — в категории гнедой масти и мелкого калибра: эдакий смелый гибрид Буратино с Кармен.

Нора едва доставала мне до подбородка, за ее африканской шевелюрой, похожей на клуб паровозного дыма, в дверном проеме сверкал стеклянный город, сияла синь, звенели лед и сталь. Шагнув вперед, она потеснила меня вглубь прихожей и захлопнула входную дверь.

— Вот! — Нора нырнула в сумку, похожую на ядгаш охотника из немецкой сказки, рывком вытащила папку. — Вот: Амстердам, Принс-Хендрик-Кале, Гуго Каstellани! Вот!

Она протянула мне фотографию, старинную, на картонке, с поблекшим золотом тиснения по рамке «Студия Гуго Каstellани. Спиритуальная фотография». И адрес, мой адрес.

На снимке, в знакомом кресле, сидела чуть испуганная девица в черном кринолине, за ней справа проступала фигура военного в усах и аксельбантах. Он напоминал венгерского гусара из массовки в оперетте Кальмана. Гусар сжимал саблю, на клинок был насажен какой-то фрукт — яблоко или персик. Может, апельсин. Военного и девицу я видел впервые, в архиве Гуго этой фотографии не было точно. Я включил свет в прихожей.

— Такие есть? — она ткнула в фото острым малиновым ногтем.

Она говорила по-английски с южно-европейским выговором, то ли итальянским, то ли румынским. Манера речи походила на телеграфную связь, где каждое слово стоило невероятно дорого. В том же лаконичном стиле часа через два Нора предложила мне переспать с ней.

— Секс мешает бизнесу, — категорично провозгласила она. — Надо сделать, и все. Работать дальше.

Вежливо я отклонил ее предложение. Она равнодушно дернула плечом, мы уже сидели на кухне и пили газированную воду со льдом. Есть люди, абсолютно уверенные в своей правоте, они безоговорочно убеждены в слепоте и глупости остального человечества; в моем мозгу даже мелькнул сумасшедший порыв страбастать эту пигалицу в охапку и спустить вниз с крутой лестницы. Я закусил губу и до боли сжал ладони под столом.

Поначалу мне казалось, что она хочет купить фотографии Гуго, после речь зашла о каких-то передвижных выставках. Потом о музеях Каstellани в Амстердаме и Нью-Йорке. О возрождении ателье «Мистическое фотографирование призраков и духов». Ее слова напоминали липкую паутину, она плела свой бред без остановки, вкрадчиво и монотонно. Постепенно на меня навалилась тоска, казалось, что это настырное существо навечно обосновалось на моей кухне. Я осовело блуждал взглядом по стенам и потолку, по висящим над плитой медным кастрюлям, по корешкам кулинарных книг, по жестяным банкам с наклейками «сахар», «мука», кофе». Часы на стене показывали без пяти пять.

— А знаете что... — сонно перебил я. — Меня... к сожалению, совсем не интересуют...

— Где уборная? — не дослушав, она встала. — Я хочу писать.

Пока Нора была в туалете, я нашарил в буфете бутылку, быстро отхлебнул из горлышка. Поставил обратно и захлопнул дверцу. Какая все-таки наглость! Настоящее хамство! В туалете шумно спустили воду.

Она вернулась. Погирая мокрые руки и ухмыляясь, спокойно уселась напротив.

— К сожалению, меня совсем не интересуют ваши предложения, — со строгой сдержанностью начал я. — К тому же... к тому же...

Я загнулся и замолчал. Пока я говорил, Нора, вперив в меня свои смородиновые глаза, невозмутимо расстегнула ворот кофты, потом ниже — пуговицу за пуговицей. Флегматичные движения завораживали, я не мог оторвать взгляда от ее пальцев с яркими, как леденцы, ногтями. Так же неспешно, обеими руками, она распахнула кофту и медленно подняла к горлу белую сорочку. Смуглые груди, полные и удачной формы, с задорными, почти воинственными сосками, выкатились наружу. Я открыл рот, но сказать не смог ничего; внезапную немоту вызвал не импровизированный стриптиз, что устроила на кухне моя гостья, нет, эпатировать человека, живущего в пяти минутах ходьбы от Красного квартала, голой женской грудью невозможно; мимо голых красоток в витринах курсируют безразличные домохозяйки с авоськами и бегут не оглядываясь школьницы. Наготу амстердамец воспринимает с безразличием Адама до грехопадения. Нет, поразило меня вот что: над ее левым соском белел шрам, оставленный чем-то острым — бритвой или ножом — две короткие молнии.

— Кто... ты? — выдавил я с трудом.

— Подойди, — вполголоса произнесла она, поднимаясь со стула. — Ближе.

Покорно, на ватных ногах, я обошел стол.

— Ближе.

Нора взяла мои руки, приложила к своей груди. Ладони наполнились жарким и упругим.

— Сожми. Сильней. Не бойся...

Легко сказать — вялые пальцы казались чужими.

— Сильней! — выдохнула она. — Закрой глаза.

Я послушно зажмурился. Ладонями ощутил, как твердеют ее соски.

— Кто я? — прошептала. — Ну?

Пол качнулся, начал уползать из-под ног. Похоже на разгоняющуюся карусель — сперва плавно, после все быстрее и быстрее. Господи, вот и полетели! Муторная слабость накатила вместе с тошнотой. Как перед обмороком. Казалось, я уже теряю сознание, нужно было открыть глаза, но я не мог разлепить веки.

— Кто я? — повторила настойчиво.

Карусель неслась, вертелась как бешеная. Не остановить уже, не спрыгнуть.

— Не надо... Пожалуйста, не надо...

Язык не слушался, слова эти я произнес скорее мысленно. В вязкой темноте мутнеющего сознания вспыхнули какие-то искрящиеся огни, огни крутились, выписывали восьмерки и сновали зигзагами, можно было подумать, что невидимые существа носятся в ночи с бенгальскими огнями. Вот ведь психи, господа прости... Верх стал мягче, низ уплотнился. Проступил горизонт, знакомый контур деревьев и крыш, толстая труба цементной фабрики, водонапорная башня, шпиль костела. Зачем, зачем она тащит меня туда, зачем? — столько боли и столько сил потрачено, чтобы забыть. Зачем? С обрыва раскрывалась панорама реки, большого острова, похожего на щуку, на той стороне темнели кусты орешника, за ними делянки огородов и покатые спины лутов.

— Кто я? — эхом донеслось из соседней вселенной.

Я знал, что нельзя произносить имя, знал. Но губы сами прошептали два слога:

— Ин-га...

40

Сказать точно, сколько времени прошло, не берусь. Когда я очухался, на кухне было тихо и сумрачно, хворый свет уличных фонарей освещал желтым верх стены и потолок. Стрелки часов показывали шесть пятнадцать. Утра? Вечера? Какого дня?

Я лежал на полу лицом вверх, раскинув руки крестом. Что случилось со мной? Что это было? Обморок? Колдовство? Гипноз? Меня никогда не гипнотизировали раньше, да и не верил я в гипноз, считал его цирковым шарлатанством вроде карточных фокусов или распиливания девиц в ящике.

Рыжая Марейка, та, из фотоателье, как-то рассказывала мне про героин. Пробовала его всего один раз; придя в себя, первой мыслью было — хочу еще и прямо сейчас. То ощущение восторга и какого-то абсолютного, радостного счастья ни в какое сравнение не шло с унылой реальностью. Марейка, щелкая пальцами, пыталась найти метафору — будто вместо шоколадного мороженого тебе подсунули манную кашу, понимаешь? Тогда я не понимал.

Сейчас мне казалось, что тот мираж, из которого я только что вернулся, был самым восхитительным событием в моей жизни. Слова скучны и бесцветны, но я попытаюсь. Представь — из твоей памяти, из подсознания, извлекли самые блаженные мгновенья, самые сладостные моменты твоей жизни. Эту квинтэссенцию счастья влили в твой мозг, в твоё тело, в твою душу. Самый яркий сон — бледная копия, ничто. Тебе не просто показывают приятные картинки, нет, ты вдыхаешь запах хвойного ветра, ты кожей ощущаешь брызги волн и жар солнца, ноги упираются в скалы, а над головой распаиваются вселенные, гибнут и рождаются галактики, там трещат молнии и сталкиваются кометы.

Ты крепко сжимаешь самую желанную из женщин: она — богиня, она впитала в себя достоинства всех, кого ты познал. Твои пальцы блуждают по ее томному телу, сладострастному и чуткому — тот самый случай, когда за ночь любви не жаль и жизни.

Да и сам ты — почти полубог. Меркурий в обличье Феба. Жизнерадостней Диониса, мускулистей Вулкана. Это ты учил Геркулеса стрельбе из лука и приемам дзюдо. Восхитительный победитель драконов и покоритель Трои, неутомимый любовник, похлеще дюжины Сатиров. Твое тело — упругая пружина, сердце — гейзер, в жилах пульсирует жаркая ртуть. Жизнь! Да-да-да, наконец ты узнал истинную суть этого слова.

Нору Мольнар арестовали в конце января.

— Вам еще повезло! — после трехчасового допроса сказал мне красивый инспектор-француз с идеальным пробором; он сидел на краю стола, непрерывно курил и пил кофе, словно вышел из франко-итальянского кино моей юности. — Обычно Нора доводит жертву до суицида. Предварительно переписав завещание. Интерпол ищет ее второй год.

— Искал... — я рассеянно пожал руку француз.

На вечерний Амстердам падал тихий снег.

За месяц Норе удалось перекачать почти половину состояния с моих банковских счетов. От полного разорения меня спасли ее педантичность и нелепые солнечные очки. Она зарегистрировала липовую контору, которой мы владели на равных, на этот счет она и переводила мои деньги. Суммы переводов всегда были одинаковы и составляли пятьдесят пять тысяч гульденов, к тому же Нора появлялась в банке в тугом вдовьем платке и стрекозьих черных очках и всегда перед самым закрытием, ровно в четыре тридцать. Ну кому, скажите на милость, придет в голову гулять по зимнему Амстердаму в солнечных очках? Правильно — слепому или аферисту.

Я свернул с Кальвер-страат и побрел вдоль канала. В черной как смола воде не отражалось ничего. Даже падающий снег. Он просто исчезал в черноте. Пахло речной водой и сырой копотью, к горьковатому духу примешивался запах корейки и жареного лука — на одной из пришвартованных барж готовили ужин. В иллюминаторе я увидел угол стола, женские руки с сигаретой и карты — там кто-то раскладывал пасьянс.

У амстердамских каналов нет парашютов, сделал шаг — и ты у края. Утром женщина выйдет на палубу покурить: первая сигарета с горячим кофе — что может быть приятней. Затяжка и глоток следом. Горькое с горьким. В неподвижной воде увидит мокрый пузырь куртки, затылок, белые кисти рук. Полиция, как всегда, придет почти сразу. Тут они всегда приезжают быстро, город-то маленький. Баграми — оранжевое древко и стальной крюк — подцепят за одежду, вытянут на сушу. Обшарят карманы, сложат бумажки и мокрую мелочь в пакет, полицейские будут в резиновых перчатках — синих, как у хирургов. К тому времени подкатит белый фургон, проворные санитары вытащат носилки. Упакут утопленника в черный пластиковый мешок. Женщина докурит вторую сигарету, сплунет в канал и вернется в каюту.

Нора Мольнар, я ненавижу тебя! У каналов в Амстердаме нет парашютов, но мне никогда не набраться храбрости, чтобы сделать этот шаг.

Мы все рождаемся с чувством вины. Вина — основа морали. Она заложена в нас, как набухшее зерно, как бомба с часовым механизмом. В щенячьи годы мы все невинны, вроде зверья на площадке молодняка в зоосаде. Мы и вообразить не можем того груза, того креста, что опустится нам на плечи в самом ближайшем будущем. Та наивная пора быстротечна, как каникулы наших прародителей в Эдеме — еще серебрится роса на лопухах, еще бескорыстно чирикают жаворонки, но откуда-то вовсю тянет яблоками. Румяные, наливные — яблоки созрели и сами просятся в руки. Древо познания, оно же дерево греха. Именно знание умножает наши печали: единожды познав, ты обречен на муку до гробовой доски.

Ты слышал — сын за отца не в ответе? Не верь! Спроси у внуков Гиммлера, они и сейчас живут в Дассау. Мы все в ответе, но они вдвойне. Почему? По закону крови.

Сын за отца не в ответе. И какой циничный мерзавец придумал эту чушь? — вся наша религия построена на прямо противоположной концепции. Первородный грех — краеугольный камень цивилизации. Мы рождаемся с тавром греха, выжженном каленым железом на изнанке наших душ. Чужого греха. Мы все тащим крест вины — чужой вины.

Мы спорили об этом с тобой и раньше, но вдруг я на самом деле окажусь прав и наше бытие после смерти — ну да: ад или рай — действительно зависит от каких-нибудь глупостей, вроде вежливости, доброты и аккуратности. Твоего отношения, допустим, к собакам. Или кошкам. Или насколько хорошо заправлена твоя кровать. Или до какого блеска начищены сапоги ваксой. Или... Ну вот, ты опять смеешься. Но почему бы и нет? — ведь кто-то верит, что копеечные свечи, бормотанье какой-то чепухи, стоя на коленях, и сезонная постная диета могут гарантировать райские кушчи. Почему бы и нет — думают они. Почему бы и нет — думаю я. Ты снова смеешься, тебя не интересуют глупости. Делаешь вид, будто ты бессмертен. Увы, у меня не очень радостная новость для тебя. Мне нечем тебя утешить, и теперь я знаю об этом наверняка.

Умные люди пытаются постичь смысл жизни, мудрые — суть смерти. Кто знает, может, единственная цель жизни и состоит именно в принятии смерти.

41

Пятница, вечер. Мы приземлились в Риге. Желавших посетить столицу Латвии оказалось немного, кургузый самолет «Латвийских авиалиний» с салоном не больше автобусного вылетел из Амстердама полупустым. Полет занял около двух часов.

Сонный аэропорт был чинным и провинциальным. На сувенирных ларьках висели замки. Лампы светили вполнакала, редкие пассажиры скучали на неудобных диванах мышинового цвета. Никто не спешил, никто никуда не опаздывал. Пахло воздушной кукурузой и хлоркой.

Я направился к будке проката машин. За прилавком изнывал от скуки тощий блондин с лисьим лицом. Заметив меня, он тут же преобразился и сделал стойку. Мой русский ему не понравился, не очень убедительно сделав вид, что не понимает, на дрянном английском он принялся втохивать мне последовательно «мерседес», «ягуар» и «линкольн». Демонстрируя машины, он покраснел. Он скалился и суетился, энергично тыкал в экран компьютера указательным пальцем. На картонке, приколотой к лацкану пиджака, я прочел его имя.

— Слушай, Айвар, какая самая дешевая машина у вас? — строго по-русски спросил я, положив конец его агонии.

Айвар сник, точно у него кончился завод, порывлся в ящике стола и покорно выдал ключи.

Самым дешевым оказался ярко-красный «фиат». На этой машине отчаянно кровавого цвета я и въехал в Ригу. Солнце только закатилось, оставив над городом малиновый выдох с тончайшей прожилкой расплавленного золота. Запад густел и наливался фиолетовым. С моста Вальдемара открылась знакомая панорама с башенками, флюгерами и шпилями. Я выехал на набережную, затормозил, выключил двигатель.

От набережной пешком поднялся по крутой улице с фонарями, похожими на чутунных фламинго. Запыхался, но добрал до синагоги. Свернул направо, пошел в сторону Святого Якова. Ноги вспоминали брусчатку горбатых улиц, узнавались фасады домов и вывески лавок и магазинов. Все стало ярче, звонче, кокетливей. Тут, пожалуй, рижане слегка переборщили: старый город, лишившись трещин и патины, корявых подпорок и костылей, трубной сажи и седой пыли, теперь стал походить на новенький, старательно выпиленный и свежескрашенный макет. Бульжник блестел, как шоколадное драже, кирпичная кладка явно только что была вымыта с земляничным мылом, стриженные деревья — листик к листику — казались пластиковыми, за абрикосовыми и розовыми стенами нарядных фасадов вряд ли могли обитать живые люди.

Я добрал до Ратушной площади. Уже стемнело, желтые фонари горели ярче и рассыпались мелочью по мокрой брусчатке. Дошел до аптеки, остановился под чутунной вывеской с кованой змеей. В такой же сумеречный час я стоял тут двадцать

семь лет тому назад. Как и тогда, город что-то бормотал, не обращая на меня никакого внимания. Где-то брэнчало пианино, из кондитерской тянуло теплой сдобой, выдохшиеся под вечер туристы ползли унылыми стаями, как скованные каторжане.

Словно боясь что-то расплескать, я был тих и чуток. Впитывал в себя звуки и образы, точно пытаюсь уловить скрытый смысл. Понять некий тайный код. Ведь должна быть какая-то высшая логика — не может не быть — ведь и железная змея над моей головой зачем-то, скрутившись кольцом, глотает свой хвост. Зачем? И что за сила против моей воли спустя четверть века гонит меня в то проклятое место? В чем суть? Объясни! Поддай же знак! Помоги понять!

Я прислонился спиной к стене. Прижал ладони к шершавым камням, они не остыли и были теплыми, совсем как живые. Равнодушный город продолжал свой вечерний ритуал — шуршал, шептал, подмигивал, — и вдруг на одной из башен пробили часы. Плавный звон неторопливо и сочно растекся над площадью. Я задрал голову — густой звук рос и ширился — казалось, что звонят именно на небе. Там уже кто-то не слишком щедрой рукой зажег пару тусклых звездочек.

— Вам плохо?

Вопрос был задан по-русски. Я вздрогнул, передо мной стоял старик с собакой. Он был похож на нищего, собака неясной породы тоже выглядела неважно, казалось, ее только что выудили из реки. К тому же у нее не хватало передней ноги.

— У собаки нет ноги... — зачем-то сказал я.

— Как? — искренне удивился дед. — С утра привинчивал все четыре!

Я засмеялся, верней, издал какой-то сишный вскрик.

— Турист? — старик подмигнул, скорее всего, это был тик. — Или местный?

Я задумался, вопрос оказался гораздо глубже, чем могло показаться на первый взгляд.

— Турист, — ответил он за меня.

Сквозь матовое окно аптеки тек мутный свет, там моргала неоновая вывеска — зеленым, алым и молочным. Дед будто кривлялся, из-за тика и мигающего неона его лицо постоянно менялось: то выглядывал ехидный бес, то сизый утопленник, то жалкий нищий. В одной из рож промелькнул вдруг отец — старый и мертвый. На затылке у меня зашевелились волосы, я вдавил спину в аптечную стену. Старик продолжал скалиться и строить рожи. Синюшного покойника сменил малиновый черт. Небесные часы продолжали бить, похоже, теперь они будут звонить вечно. Внезапно я понял то, чего не понимал прежде, все сложилось в законченный узор, все намеки и знаки — и крючья фонарей, что я принял за фламинго, и пульсирующая жилка заката, и бой вечных часов: уже когда я въезжал в Ригу, по улицам города разгуливал дьявол в образе часовщика и предлагал свои услуги.

В английском языке есть чудесный оборот: «я нашел себя». Так вот — я нашел себя в тусклом и дымном подвале за столом размером со школьный учебник. На столе стоял стакан, рядом в пепельнице тлела сигарета. Курить я бросил лет пятнадцать назад, чья сигарета дымилась в пепельнице, осталось загадкой навсегда. А вот в стакане оказался коньяк — наверняка мой, я влил в себя остатки и заказал еще порцию.

Когда официант с гладким лицом тайного сладострастника принес выпивку, вместо благодарности я сказал:

— Ваш климат ужасен, архитектура представляет собой результат несчастного случая, местные жители отвратительны.

Извращенец не понял, со змеиной улыбкой, томно виляя бедрами, удалился. Сделав плоток, я огляделся. Сквозь пелену табачного смрада проступал гнусный интерьер эклектичного толка: гнутые стулья, жеманные столики на одной ноге, кривые свечи в загаженных воском бутылках из-под рижского бальзама, абстрактные картины, изображавшие пестрых сперматозоидов, — все это на фоне рыжей кирпичной стены и низкого потолка с фальшивыми балками. Зыбкий интерьер плыл и искривлялся подобно расплавленному миражу в пустыне. Когда мне удалось так напиться, я понятия не имел.

Сложив на столе руки, я уткнул подбородок в кулак, прикрыл веки и неспешно отправился в путешествие.

42

Тогда я устроился в порт. Работа в доках была грязная и тяжелая, но именно это и спасло меня — я едва доползал вечером до общаги. Сил на мысли просто не оставалось.

Затея поступать в текстильный оказалась бесперспективной — семь человек на место, к тому же вне конкурса шли медалисты и отслужившие в армии. Начал готовиться в рижский политех, экзамены сдал, но не добрал баллов и туда. Почти сразу получил повестку из военкомата.

Мой бывший бригадир, Лиепиньш, коренастый, бритый ежиком ярый матерщинник, пьяница и антисоветчик, пристроил меня на сейнер-холодильник «Гинтарас». Военкомат Бривибасского района на пару месяцев потерял мой след. Я насквозь провонял балтийской сельдью, научился пить чистый спирт и почти успокоился, когда Костя-связист предупредил, что капитан утром получил радио от военкома и что меня будут встречать в рижском порту:

— С корабля, так сказать, прям на бал. Вернее, под Кандагар. Будешь, Краевский, помогать афганским братьям перебираться из каменного века в коммунистический рай.

На обратном пути, где-то у острова Хексел, сейнер попал в шторм, и у нас заклинило винт. Голландцы с грехом пополам дотащили «Гинтарас» в ближайший порт, им оказался Алкмар. Пока капитан решал, вставать в док или дожидаться своих ремонтников, команду отпустили на берег. Всех, кроме меня. В медчасти я стянул резиновую перчатку, сунул в нее паспорт и сиганул за борт. Голландцы деликатно выудили меня, доставили в полицию, где обогрели и напоили чаем с ромом. К моему требованию связаться с иммиграционной службой полицейские отнеслись спокойно и с пониманием. Через час в участок прикатил здоровенный негр в кремовом плаще и лайковых перчатках. Когда он их снял, его руки оказались темнее кожи перчаток.

Запас немецких и английских слов подходил к концу, пробелы в языке я компенсировал жестикуляцией. Неожиданно снова выручил бригадир Лиепиньш: припоминая его антисоветский треп, я удачно вкручивал крамольные имена, названия правозащитных хартий; я так увлекся, что уже чувствовал себя отпетым диссидентом. Под конец, размотав резинку и шлепнув, точно козырным тузом, своим паспортом, я потребовал политического убежища.

Негр пришел в восторг от моей смекалки в использовании медицинского инвентаря, по-свойски хлопнул по плечу и начал заполнять какие-то бланки.

43

Официант принес счет, подсунул его под пепельницу и жеманно удалился. Я наклонился, цифры и буквы слились в муть. Припурился — тот же эффект, сумма оставалась тайной. Выудил из бумажника двадцатку, подумав, добавил еще пять.

Снаружи лил дождь. Упорный и муторный, такие в Прибалтике могут идти сутки напролет. От сизого света фонарей пустая улица казалась синей. По брусчатке полз то ли туман, то ли пар. В черном небе над призрачными крышами висел подсвеченный купол Домского собора. Я поднял воротник и перебежал на противоположную сторону; прижимаясь к домам, быстро пошел к набережной.

Долго блуждал в поисках машины, чертовы фонари-фламинго на всех спусках были одинаковыми. Нашел почти случайно и совсем не там, где искал. Куртка промокла насквозь, щекотные струйки воды пробирались под воротник и текли вниз по позвоночнику. Правый ботинок хлопал, я его едва не потерял, угодив в бездонную лужу. Открыв багажник, я стянул с себя ботинки и носки, снял куртку, подумав, снял и джинсы. Ослепительная, как болид, мимо пронеслась фура. С рычанием и радостным бибиканьем окатила меня с ног до головы грязной водой и улетела во тьму, нагло

подмигнув рубиновыми огнями стоп-сигналов. Я бессильно выматерился, стянул через голову рубаху, скомкал и бросил в багажник.

Единственный плюс — я протрезвел. По крайней мере, мне так казалось. Вопреки логике подобных историй мотор завелся сразу; я включил печку на полную катушку и отчалил в ночь. Часы на приборной доске показывали половину первого.

Карта лежала в бардачке, но тянуться за ней было лень. Заблудиться я не мог — запад упирался в Рижский залив, слева темнела Даугава, пункт назначения находился в двухстах километрах вверх по течению реки.

Дождь продолжал лить, дворники сновали по стеклу, нервно размазывая темноту жирными полосами. Жать на педали босыми пятками оказалось неудобно, но я приноровился и вскоре, разогнавшись до шестидесяти, воткнул четвертую передачу. Свет фар выхватывал из тьмы указатели, они вспыхивали, словно зеркала. Знакомые названия — Саласпилс, Огре, Скривери, Лиелварде — были набраны латинскими буквами и не продублированы кириллицей, как я помнил. Только сейчас до меня дошло, что я возвращаюсь в другую страну, совсем не ту, из которой мне удалось сбежать четверть века назад. Все эти годы я вполне сознательно не следил за новостями с востока — можно назвать это трусостью, можно малодушием, скорее всего, то был инстинкт самосохранения. Разумеется, общая картина посткоммунистической географии мне была известна.

Шоссе Рига—Даугавпилс оказалось дорогой вполне европейского качества, не хуже немецкого автобана. Стрелка спидометра уперлась в сто десять, потыкав в разные кнопки, мне наконец удалось включить круиз-контроль. Я проскочил поворот на Саласпилс, указатель утверждал, что до Плявиниса было сто шестьдесят километров. Значит, при такой скорости до Кройцбурга оставалось чуть меньше двух часов.

Итальянские мотористы снабдили мой «фиат» печкой адской мощности, жара в салоне скоро была, как в сауне. Что при почти полной наготе ощущалось вполне комфортно. Пришла дельная мысль: хорошо бы мои тряпки из багажника разложить на заднем сиденье и просушить, но остановиться и заставить себя выйти под дождь я не смог.

За сорок минут не встретил ни одной машины, если не считать допотопного грузовика, который я обогнал где-то под Икскиле. Логично — в такой ливень видимость не превышала пятнадцать метров, а тормозной путь — семьдесят пять, поэтому нужно найти крайне убедительный довод, чтобы сесть за баранку. Или быть чокнутым вроде меня. Те самые пятнадцать метров желтой разделительной полосы, что неслись в мутном мареве фар, были моим единственным ориентиром в абсолютно черной вселенной. Ориентиром — но куда? Зачем я туда возвращаюсь? Что я хочу там найти, что понять? Ведь ничего исправить нельзя, все было сломано с самого начала, еще до моего появления на свет. Да и я сам, и все вокруг — мы как бракованная партия игрушек — все до единого с дефектом. На вид вроде ничего — и пружина заводится, и руки-ноги есть, и — гляди-ка — глазами даже хлопаем...

Жара стала невыносимой, я выключил печку. Ливень лихо колотил по крыше, в кабине стоял дробный гул, как в железной бочке. С севера докатился угрюмый раскат грома, точно там кто-то лениво ворочал булыжники. Включил радио, среди треска и помех нашел ночную станцию; пряный баритон доверительно говорил что-то по-латышски. Я не понимал ни слова, но голос успокаивал; продолжая слушать, стал гадать, о чем могла идти речь. Что мы все попадем на небо, если своевременно раскаемся в грехах? Или наоборот — нас ждет абсолютное ничто, тотальная пустота. А может, латыш говорил о погоде? Или речь шла о сексуальных расстройствах у мужчин старше сорока? Или он читал вслух рассказ «Колодец и маятник»? Забавно, что каждое мое предположение тут же окрашивало голос диктора в соответствующий колорит.

Полыхнула молния. Ослепительный зигзаг разодрал небо по диагонали,

я вздрогнул и растерянно выругался вслух. На миг из мрака вынырнул inferнальный пейзаж — рваные тучи путались в каких-то отвесных скалах, я мог быть на дне Марианской впадины или блуждать в окрестностях туманности Кентавра. Тут же обрушился гром, неукротимо и азартно, грохот был такой, будто кузнечным прессом крушили концертный рояль. Динамик радио поперхнулся и замолк на полуслове. В ушах зазвенели какие-то бубенцы, в оглушенном мозгу вдруг вспыхнуло слово «мечь». Нет, вот так — «МЕСТЬ!». Буквы зажглись, как неоновая вывеска над кинотеатром — кровавым, красным. Вот она — истинная цель путешествия. Вот он — истинный смысл! Отгадка лежала на поверхности, у меня, как всегда, не хватало храбрости признаться в очевидном. Я ехал мстить.

— Да! — выкрикнул я и треснул кулаком по баранке. — Да!

Клаксон испуганно пискнул, я засмеялся — догадка принесла облегчение и развеселила: ну еще бы — почти греческая трагедия. Герой рвется сквозь шторм и бурю в родной город на похороны отца с единственной целью — отомстить единоутробному брату. Машина его — цвета мести (эх, сваял дурака — надо было на «ягуаре» прикатить). Он гол, как гладиатор...

Дальше придумать я не успел — в свете фар мелькнуло что-то, будто махнули пятнистой тряпкой, и тут же раздался громкий тугой удар. Руль прыгнул у меня в руках, машину понесло юзом. Голой пяткой я вдавил тормоз в пол до упора. Взвизгнула, завывла резина, в ветровом стекле закрутилась карусель — грязные кляксы, полосы, из черноты выскочили то ли столбы, то ли стволы. Кажется, я кричал что-то. Сознание раздвоилось: одна половина, истеричная и безумная, билась в агонии; другая с ледяным цинизмом информировала — да, вот именно так это и случается.

«Фиат» наконец остановился. Машина не перевернулась, меня даже не выкинуло на обочину. Я стоял на краю шоссе, фары нависли над черной лужей, за ней, в пунктире дождя, виднелся лес. Мотор заглох, приборный щиток светился всеми лампочками сразу — красная масленка, желтый мотор, синяя молния. Что она означает, эта молния? Во рту было солоно от крови, должно быть, я прикусил язык. Пересилив, я заставил себя оглянуться. Там, на шоссе, что-то лежало.

Глубоко вдохнув, я открыл дверь и вылез из машины. Асфальт оказался теплым и гладким, совсем как кафельный пол в бассейне. От габаритных огней к темному силуэту на дороге тянулись хилые полосы света. До него было шагов пятнадцать. Я разглядел запрокинутую голову, угадал согнутую в колене ногу. Как калека на протезах, заковылял туда. Руки тряслись, я бессильно сжал вялые кулаки. До тела оставалось метров пять. Мне показалось, что оно дернулось. К горлу подступил удушливый ком, я закашлялся, согнулся, меня вырвало на асфальт горькой гадостью. Кисло пахло коньячной сивухой.

Олень. Я сбил оленя. Он еще был жив, на губах надулся и лопнул розовый пузырь. Круглый испуганный глаз смотрел прямо мне в лицо. Встав на колени, я осторожно погладил его между рогов — двух коротких отростков, похожих на детские рогатки. Он был совсем юным, этот олень, которого я сбил. Из под головы по асфальту растекалась темное, я потрогал, поднял руку, ладонь стала красной. Дождь мешался с красным и стекал к локтю розовыми струйками.

Олень дернулся, резко, конвульсивно, словно пытался встать. Задняя нога цокнула копытом об асфальт и вытянулась как палка. Глаз помутнел, точно погас. Я дотронулся пальцами до горла, шея была еще горячее, но уже мертвой, однозначно мертвой — будто я трогал глину. Мягкую теплую глину.

Ливень иссяк, превратившись в шелестящий дождик. Наверное, похолодало, не знаю. Сгорбившись, я сидел перед трупом оленя, сидел посередине шоссе и не знал, что делать дальше. Наверное, нужно было убрать труп с дороги, после съехать на обочину и постараться заснуть. Или хотя бы отдохнуть.

44

Суббота, утро, конец лета. До Кройцбурга, если верить указателю, оставалось десять километров. Я свернул с шоссе на проселок. Эти пыльные дороги нашей округи я исколесил на велике и помнил наизусть каждый вираж. Бессмертие, когда-то обещанное мне тут, оказалось бессовестным враньем. Ни выси, ни дали, ни глади. Даже Даугава была гораздо уже, чем мне помнилось. Серый поток мутной воды появлялся и исчезал: то нырял под скошенное поле, то проваливался за лысый песчаный холм с соснами на макушке.

Я проскочил Вороний хутор — крыша амбара провалилась, из грязной соломы торчали черные ребра балок. На хуторе, похоже, давно никто не жил. Раньше к дому было не подойти, у хозяина жила целая свора цепных волкодавов. Клыки — во, с большой палец. А вот дуб совсем не изменился, да и что такое четверть века для дуба?

Солнце встало и уже не слепило глаза. Меня пугала стремительность, с которой я приближался к Кройцбургу. Сосновый бор отступил от дороги, серебристая щель, вспыхнув, раскрылась голубым озером. Тут мы ловили раков. Озеро Лаури. До него на велике я мог домчать минут за двадцать. Ну ладно, не за двадцать, за полчаса уж точно. К тому же если срезать и у мельницы рвануть прямым через рощу. Тропинка та коварная, в низине, у ручья, сырая глина, Гусь там так навернулся — локоть в кровь, переднее колесо восьмеркой.

Я остановился, выключил мотор. Вылез из машины. Прислонился к горячему капоту. По бокам желтели поля с синими точками васильков, сверху носились стрижи. Август старался изо всех сил — беззаботно звенел кузнечиками, наваливал бирюзу неба полуденной жарой, короче, прикидывался бесконечным. Но до школы оставалась всего неделя, и мрачные знаки неминуемой беды сквозили уже во всем: в клочьях сырого тумана, застрявшего в овраге, в прелом грибном духе, в запахе почти спелых яблок, в красном листе клена — единственном на всю зеленую крону.

Те последние деньки — они на вес золота. Да что там золото, последние дни августа бесценны. Того, нашего, августа. Ближе к озеру дорога шла под гору, можно было уже не крутить педали. Поля сменялись орешником и редкими осинами, постепенно мы въезжали в сосновый лес. Шины мягко катили по ковру из рыжих иголок, иногда звонко хрустела шишка под колесом. Как здесь было свежо, как пахло смолой. Мощные стволы уходили ввысь колоннами, сквозь кроны пробивались лучи, наполняя бор торжественным сиянием. «Как в костеле», — говорила ты и, сложив молитвенно ладони, делала кроткое лицо.

Августовский бор действительно напоминал католический собор. Я молча брал тебя за руку, и мы спускались к воде.

В Лаури били ключи, вода была кристальной, можно отплыть от берега и наблюдать, как на глубине бродят темные рыбины. Мы купались, ныряли, валялись на белом горячем песке — мелком, как соль. Ловили раков. Ты бесстрашно совала руку в нору, не пищала, когда рак прихватывал палец клешней. Потом я собирал хворост, под берегом у нас был припрятан котелок, в котором мы варили раков или уху. Солнце садилось, плавно опускалось на верхушки сосен, а после выкладывало длинные тени по траве. Лес становился полосатым. Ты зябко потирала ладони, накидывала мою рубаху и прижималась ко мне. Пахло костром, лесом, озерной водой; солнце набухало, постепенно становясь малиновым, и мне казалось, что счастливей меня нет никого на свете.

45

Конечно, одежда не высохла. С отвращением натянул джинсы, молния долго артачилась, но все-таки застегнулась. Надел рубашку — влажную, холодную, мятую. Ботинки за ночь поседели — покрылись белой плесенью, похожей на иней; я стер

гадость рукавом, сунул ноги в ледяное нутро. Время подходило к полудню. Надо было ехать сразу на кладбище.

Лес кончился. Справа вынырнули и побежали, стреляя зайчиками, мелкие домики, похожие на собачьи будки. Раньше тут были огороды. Я взлетел на холм и сразу же увидел всю панораму: водонапорную башню, купол вокзала с флюгером и вокзальные часы. Стаю ворон над парком, за парком замок. На пустыре, среди бурых лопухов, белела макушка часовни. За подростками липами виднелась крыша моего дома. Жесть была выкрашена в тот же самый отвратительно коричневый цвет. Я непроизвольно затормозил: господи, да тут не изменилось ничего, даже облако, похожее на дервиша в чалме, зацепившееся за шпиль костела, даже оно было из моего детства. Со станции донеслось бормотание репродуктора, звякнули вагоны — я взглянул на часы — да, полуденный экспресс покатил на Резекне.

Я добрался до Русского кладбища, к воротам подъезжать не стал. Там уже стоял кривобокий автобус и несколько дряхлых легковушек. В ржавом заборе не хватало прутьев, я пролез и пошел вдоль холмов и оград, крашенных серебрянкой. Трава доходила до колена, над крапивой кружили жирные шмели. К облупившимся фанерным обелискам были приделаны пропеллеры, дюралевые модели истребителей, просто красные звезды. Из керамических овалов на меня смотрели лейтенанты и капитаны, некоторых я помнил. Кирсанов разбился при катапультировании, Миша Донцов утонул. Отец Гуся тоже лежал тут. Я вдвое был старше каждого из них.

На могиле матери стоял простой деревенский крест, ни фотографии, ни имени, один деревянный крест и все. Рядом зияла яма. Справа высилась гора песка, вперемешку с черным грунтом, из нее торчали две лопаты с отполированными рукоятками. Тут же, в затоптанной траве, лежал на боку фанерный обелиск с моей фамилией, набитой черной краской по трафарету. Буква «р» подтекла и стала похожа на ноту. Я забыл, насколько звучна моя фамилия; четверть века она не означала ничего, кроме набора звуков смутно славянского происхождения.

Вдали ухнул барабан, за ним нестройно завывли трубы. Возникло почти непреодолимое желание исчезнуть. Я бы согласился сейчас очутиться в любом другом месте; где угодно, только не здесь. Вместо этого я лишь отошел в сторону. Покорно слушал, как неотвратимо приближается пугающая какофония.

Над кустами показался гроб, обтянутый красной материей с черной бахромой. Он плыл, покачиваясь, а после из-за орешника появились и люди. Толпа оказалась гораздо многочисленней, чем я ожидал. Во главе процессии незнакомый кособокий старик нес атласную подушку с медалями. На флангах, как македонские щиты, двигались венки с астрами, гвоздиками и прочей гробовой флорой.

Брата я узнал сразу. Высокий жилистый мужик в дрянном костюме — скуластый пролетарий, он был похож на монтера после отпуска на юге, большие загорелые руки, седой ежик, коричневая шея; черный галстук на резинке съехал набок. Валет тоже узнал меня, скользнул взглядом, не задерживаясь. Как просто и как банально. Кажется, целую вечность я ждал этого момента, трясся от страха и ненависти, точил клыки и когти, жаждал вцепиться и растерзать. Вырвать кадык из горла, сердце из грудной клетки, печень из брюшной полости... И вдруг — ничего! Безразличие — пустота и усталость.

Гроб опустили на козлы, прислонили крышку. Я стиснул кулаки и осторожно заглянул в гроб. Лицо отца изменилось мало, лишь слегка усохло и отливало лимонным, а волосы даже не поседел. На отце была парадная форма с капитанскими погонами. Мне стало вдруг стыдно и неловко — за себя, за него, за этих неуклюжих старых людей: отца выперли в отставку, даже не дав майора.

Незнакомые старухи в траурных кружевных косынках — мятые мокрые лица, кривые рты, в крепких кулаках комки белых платков, я не узнавал никого. Колченогий старик в мешковатом летном кителе без погон, но с орденской колодкой и гвардейским значком на груди, сделал шаг вперед и начал говорить. Голос и интонации показались знакомыми, старик чуть картавил, но не потешно — вроде Ленина, скорее,

импозантно — так грассировали в советском кино актеры, изображавшие аристократов и белогвардейцев. С оторопью я узнал в этом заморыше майора Ершова, директора Дома офицеров, шеголя, хвастуна и балагура. Он и тогда был оратором хоть куда, сам вел концерты, декламировал стихи, особенно любил Маяковского — «кто там шагает левой?» — хищно выкрикивал Ершов в зал, подбегая к краю сцены. Сейчас он говорил, обращаясь непосредственно к мертвому отцу. Получалось эффектно — у меня по спине ползли мурашки.

После выступали другие старики. Сорденскими планками, медалями и военными значками на старомодных мятых пиджаках, они говорили долго и путано, говорили об одном и том же. Что капитан Краевский — настоящий советский офицер, настоящий летчик-истребитель, что таких больше не делают, что подонки-демократы развалили великую державу, уничтожили славную армию.

Холодея, я узнавал некоторых ораторов. Я помнил их веселыми мужиками, которые учили меня пить пиво и бить дуэлетом от борта в дальнюю лузу, с ними я ездил на рыбалку, где они варили мировую уху, жарили на углях шашлыки по-кареки, а после лихо хлестали водку и пели протяжные русские песни. На спор они стреляли из табельного оружия по пустым бутылкам, устраивали боксерские поединки или гонки на мотоциклах по пересеченной местности. Отважней всех рыцарей Круглого Стола, великолепнейшей любовью семерки ковбоев, бесстрашней всех героев Эллады — и сам черт был им тогда не брат.

46

На выходе с кладбища в меня вцепилась какая-то грудастая тетка с подведенными черным глазами. Она часто моргала, будто подмигивала.

— Чиж! Йо-мое!

Я подался назад, от тетки разлило цветочными духами и бабьим потом. Она дыхла мне в лицо свежей водкой и неожиданно мокро поцеловала прямо в губы.

— Чиж! А я стою-думаю — он или не он! Ну мать твою — Чиж!

Я улыбнулся, виновато пожал плечом. Закашлялся, незаметно вытер рот от жирной помады. Толстуха удивленно заморгала, после радостно хлопнула в ладоши.

— Во дает! Не узнает! — Она снова ухватила меня за воротник. — Ну ты коварный мужчина, Чиж! Кто мне засос в восьмом классе поставил — а? А в трусы мои кто лазил? В кладовке! В Доме офицеров! На Новый год! Кто?

— Руднева?.. — проговорил неуверенно я, отступая и стараясь найти хоть малейшее сходство с той Шурочкой Рудневой, румяной и сдобной хохотушкой, напоминавшей задорных дев с трофейных игральных карт.

— Говорят, ты в Америке! — она подалась ко мне, понизив голос. — Поднялся круто, говорят. Машины, яхты, виллы — все дела!

Она сделала округлый жест, на красных пальцах сверкнули крупные фальшивые бриллианты.

— Жируешь, говорят... Или брешут?

— В Голландии, — будто оправдываясь, пробормотал я. — Не в Америке...

— В Голландии? — изумилась она. — Чума!

Руднева затащила меня в автобус, припечатала мощным крупом к стенке. Старики, кряхтя и чертыхаясь, рассаживались. Злились, охали, с трудом пролезая между сидений. Водитель привстал, по-хозяйски оглядел салон, сплюнул в окно и дал газ. Автобус взревел, словно собирался оторваться от земли. Я сцепил пальцы замком и сжал их до боли — каждая мелочь была знакома до отвращения. На изрезанном дерматине передней спинки кто-то выпцарапал короткое матерное слово. Мутное окно казалось намазанным то ли жиром, от ли мылом. За стеклом подпрыгнули кладбищенские ворота, коренастые обелиски, пыльный шиповник — вторая передача воткнулась с хищным хрустом — автобус съехал с обочины на шоссе и покатился.

На поминки я ехать не собирался. На поминки ехать не следовало.

Руднева болтала без умолку. Мне показалось, что она прилично подшофе; точно угадав мои мысли, Шурочка выудила из поддельной крокодиловой сумки пластиковую бутылку минералки. Свинтила пробку, выставив губы уточкой, аккуратно отхлебнула.

— Кирнешь? — сунула бутылку мне. — Со свиданьем, ну? Сам Бог велел!

От теплой водки, сивушной вони, от липкого горлышка в губной помаде меня чуть не вырвало. Я судорожно плотнул, стараясь протолкнуть алкоголь внутрь.

— Ты че, Чиж? Трезвенник что-ли? Чи хворый?

Она захихикала, потом зашлась кашлем; старик на переднем сиденье обернулся и что-то недовольно каркнул. Шурочка отмахнулась, краснея шеей и лицом, наконец откашлялась.

— Фу ты! — она нагнулась и сплюнула тягучей слюной на пол. — Завязывать надо с куревом — вот что!

Я согласился. Неожиданно больно ткнув меня локтем в ребра, она спросила вполне серьезно:

— Слышь, Чиж, а ты сам-то женат? Ну, сейчас в смысле? Или...

Я молниеносно соврал, перебив ее.

В замызанном окне проплывали знакомые пригороды. Заборы, огороды, лачуги, заброшенное овощехранилище — на пустыре перед ним мы устраивали рыцарские побоища с латышами, сейчас тут росла двухметровая крапива. Вдали угадывался седой силуэт цементного завода. Руднева снова говорила. В автобусе стало жарко, воняло бензином и валокордином. Речь Рудневой походила на монотонный бред, темы менялись без логической связи, плавно перетекая из одной в другую. Сначала из приличия я поддакивал, после перестал. Обреченно слушал, ковыряя дыру в дерматине сиденья, про то, что нет в жизни никакой справедливости и уж подавно никакого счастья нет. Она ругала московских демократов, требовала всех расстрелять или хотя бы посадить с конфискацией. Возмущалась, что эти чертовы лабусы без латышского никуда не берут.

— Сидели у нас на шее полвека, курвы белоглазые! Ведь все на всем готовом — и нефть, и хлеб, и электричество — все ведь наше, русское! Заводы им построили, школы, колхозы — все!

Когда перебазировали аэродром за Урал, всех отставников бросили тут — живите, как хотите! — она, дура, тоже осталась. Работала тогда в парикмахерской на вокзале — цивилизная работенка — культурно и чаевые. А после лабусы открыли салон в городе, у автостанции, — и все, амба, хоть на панель иди. А в салон, гады, без языка не берут.

— Да, ты говорила...

— Слышь, Чиж, а как там, в Америке, парикмахерши — до фига, небось, зашибают? В кино у их баб волос сильный, укладка, окрас. Я вон тоже, когда мелирование на фольге освоила, ко мне запись за месяц была. Из Плявиниса клиентура приезжала, даже певица одна, которая тут на гастролях... Как же ее?

Она запела громким и противным сопрано:

— Снова-а стою одна, снова курю, мама, снова-а... А ва-а-круг, блин, тишина, взятая за основу...

Столы накрыли у рябин, прямо под окнами нашей квартиры, кухонное было распахнуто настежь, на подоконнике стоял ящик водки. Старики, толкаясь, занимали места. Звенели тарелками, кто-то закурил. Вокруг деловито сновали крепкие тетки неопределенного возраста в нарядных темных платьях с люрексом. Из дома к столу караваном плыли миски, кастрюли, бутылки. Под ногами шныряли дети и собаки. Стульев не хватало. Руднева усадила меня на лавку, сама плюхнулась рядом. Тут же с невероятным проворством навалила в две тарелки всякой снеди, наполнила до краев рюмки.

— Ну, погнали! — азартно подмигнув обоими глазами, выпалила она. — За встречу!

Я выпил. Водка была комнатной температуры и отдавала ацетоном. Из жестяной миски, размером со средний таз, выудил соленый огурец. Закусил.

— Огурец — в жопе не жилец! — смеясь, жуя и подливая водки, весело гаркнула Шурочка. — Ты холодца покушай! Холодца! Привык, небось, там барбикью свою кушать? Шерри-бренди, джин и тоник, а? А тут простая русская еда! Простая, но полезная! Не то что у вас — сплошная химия в колбасе. Ну давай, Чиж, понеслись!

И она, запрокинув голову, влила в себя водку.

В моей тарелке растекался холодец, погребенный под винегретом, бледный бок картофелины медленно набухал свекольным соком, кусок селедки угодил в оливье. Я ковырнул вилкой салат, пытаюсь поддеть сельдь, выяснилось, что рыбу порубили не чистя, с костями.

Над столом висел гам. На дальнем конце, что упирался в ствол старой липы, нестройно запели тетки. К ним подстроился угрюмый мужской бас, я узнал голос Валета. Или мне показалось — по крайней мере, он точно сидел на том конце, под липой. Песня оборвалась, одинокий бабий голос, подвывая по деревенски, закончил припев и стыдливо смолк. Усатый красномордый старик, похожий на Бисмарка, внимательно разглядывал меня, потом обратился к Рудневой.

— Эй, Шурка-от-хера-шкурка, плесни водочки пилоту-орденоносцу!

Он вытянул руку с пустой стопкой, кисть его сильно дрожала, а на пиджаке у него действительно блестел орден Красной звезды.

— Олег Палыч, поставь хрусталь на стол, — Шурочка сноровисто подхватила бутылку. — Поставь, говорю — прольешь! Дрочишь, как заводной пионер...

Усатый недовольно стукнул стопкой о стол. Шурочка одним движением до краев наполнила емкость. Усатый тут же выпил, довольно вытер усы. Слаженность их жестов, стремительная и грациозная, напоминала театральную пантомиму.

— Это что, Михрютка что ли Цыганков прикатил со Ржеву?

Речь шла обо мне, но обращался он к Рудневой, на меня даже не глядя.

— Олег Палыч, ты что, с коня упамши? Это ж — Чиж! Младший Краевский — ну ты даешь!

— Чиж? — Дед удостоил меня взглядом, быстрым и небрежным. — Это который в Америку удрал?

— Ну да!

— А-а-а... — разочарованно протянул усач. — А я думал, Михрютка Цыганков со Ржеву прикатил. Плесни еще тогда.

Пантомима повторилась с вариацией — Руднева наполнила три рюмки. Мы чокнулись.

— Да-а, батяня у тебя был... — хмельно качнувшись и закуривая, мечтательно проговорила Руднева. — Мужик!

Она выпустила клуб дыма и снова налила водки.

— За батю твоего! Земля чтоб пухом!

Мы выпили. Она курила, шурилась и покусывала нижнюю губу, словно пыталась припомнить что-то. Ее глаза посветлели, стали серо-голубыми, сквозь маску пьяной лахудры проступило лицо моей соседки с третьего этажа Шурочки Рудневой, той самой, которой я поставил засос в восьмом классе, когда мы целовались после лыж. И с которой мы прятались в кладовке Дома офицеров, сбежав с новогоднего утренника. Все было, все правда.

— Это он под конец сдал, а до этого и на лыжах, и на рыбалку... Таких лещей вялил! Спинка — во! — жирная, аж до локтей течет. Ошкуруешь его, а он прозрачный, аж светится. Утощал... А когда тетя Марута умерла, вот тогда он и...

Она безнадежно махнула рукой с сигаретой. Столбик пепла упал в миску с огурцами.

— Какая Марута? Какая тетя?

— Во дает! У тебя там в Америке память что ли вконец отшибло? Тетя Марута! Ингина мать, считай, теща твоя!

— Что ты мелешь, Шур? Ты что?

— Ну ты вообще, Чиж... — она возмущенно закинула ногу на ногу, выставив из-под стола круглую коленку с синяком. — Твой батя с ней роман закрутил, еще мамаша твоя жива была, царство ей небесное. Ты чего, Чиж, дурочку мне лепишь — весь гарнизон знал!

Она вперила в меня стеклянный взгляд — вокзальная лахудра (сальная пудра, помада, сажа под глазами) вернулась на место. Я дернул плечами, зевнул, зачем-то приподнял тряпку, которая изображала скатерть. Под ней была дверь. Поминальная трапеза по моему отцу проходила на столе, составленном из снятых с петель дверей.

Воробьи подбирали крошки, вконец обнаглев, прыгали у самых ног. Под липой снова запели, теперь про пиджак заброшенный и непостоянную любовь, голосили рьяным хором, горячо и от души. Пьяненький дядя Слава, тот самый, который учил меня кататься на коньках, проливал водку и пытался сказать какой-то тост, но его никто не слушал, и он в третий раз начинал: «А вот когда во время Карибского кризиса нас с Серёгой отправили на Кубу...» В сигаретном дыму Валет, уже без галстука и с расстегнутым воротом, спорил с майором Ершовым, хмуро тыча в него пальцем. Этот жест был знаком мне с детства. Я налил водки и залпом выпил.

Шурочка тоже выпила, порылась в сумке, закурила. Протянула смятую пачку мне, я зачем-то выудил сигарету, послушно воткнул себе в рот. Руднева чиркнула зажигалкой, сунула пламя мне в лицо. Пахнуло паленым волосом и скверным табаком. Курить было противно, я бросил сигарету под лавку, придушил каблуком. Во рту осела табачная горечь, от дрянной водки голова гудела и уже начинала тупо ныть. Я твердо решил, что сейчас же неприметно выползу из-за стола, доберусь до машины и уеду в Ригу. Но вместо этого чокнулся с Бисмарком, который теперь называл меня Михрюткой, и выпил еще. Из миски с огурцами тянуло кислотой, оттолкнув миску, я уронил бутылку портвейна. По белой тряпке растеклось бурое пятно, похожее на старую кровь. Впрочем, никто на неловкий казус не обратил ни малейшего внимания.

Меня развезло. Я слушал обрывки bestолковых разговоров и звон посуды; казалось, что на лицо мне садится паутина, я вяло обтирался рукой и отплеывался. Шурочка бубнила не переставая, прерываясь на свое «ну, погнались!», после чего помужички зычно кричала и шумно занюхивала хлеб. Пахло укропным рассолом и киснувшим оливье, кто-то жгучим шепотом, давясь от смеха, рассказывал похабный анекдот, кто-то бесконечно повторял «А вот я, грешным делом, люблю...», но расслышать, что он там любит, мне не так и не удалось.

Я разглядывал старческие лица, уродливые руки в пятнах, с узловатыми пальцами, и мне становилось тоскливо и бесконечно жаль этих ничемных, никому не нужных людей. Я смотрел на Шурочку, на ее дряблое лицо, похожее на сырое тесто, на сальные губы в остатках помады, и отвращение во мне мешалось с невыносимой жалостью. Было жаль и пыльных воробьев, суetyащихся под ногами, и пожелтевшей рябины, и надрывно каркающих, кружащих над репейным полем ворон. Потом мне стало жаль себя и своей bestолковой, уже почти прожитой жизни.

Я вспомнил, как мы с Ингой гуляли по пустырю за Еврейским кладбищем и разрабатывали тайный план побега, мечтали о нашей будущей жизни. Я говорил, что мы вернемся в Кройцбург через десять лет, у нас будет двое детей, девочка выйдет рыженькой, а мальчик будет черноволосым. И вся наша родня увидит, как мы счастливы и любим друг друга, они все поймут и простят.

Я резко повернулся к Шурочке:

— Руднева, а от кого ты узнала про Ингу?

Шурочка застыла с вороватым кроличьим выражением, было ясно, что сейчас она начнет врать. Я привстал, Валета за столом не было.

Входная дверь была распахнута настежь, я прошел через темный предбанник коридора. Здесь по-прежнему стоял крепкий дух сапожной ваксы. Валета я нашел в дальней комнате, которая у нас почему-то называлась гостиной. Ничего не изменилось и тут: рыжий абажур, на стене свадебная фотография, рядом в раме из ракушек — мать под сочинской пальмой. На другой стене — варварский трофейный натюрморт с алым омаром в окружении пестрых фруктов; персидский узор на драпировке снова, как в детстве, тут же сложился в ведьмино лицо.

Валет сидел за круглым столом в тусклом конусе желтого света, перед ним лежали отцовские медали, армейские значки, погонные звезды, кокарды. Рядом стояла пузатая бутылка «Плиски», уже наполовину пустая. В руках Валет держал отцовский браунинг. Он поднял голову, безразлично посмотрел на меня. В канифольном абажурном свете, похожем на мутную озерную воду, его лицо было старым и уставшим. Он бережно опустил пистолет на стол. Отвинтил пробку, сделал глоток.

— Будешь?

Я выдвинул стул, сел. Коньяк обжег горло, оставив теплую горечь во рту.

— Возьми на память что-нибудь... — он кивнул на медали и значки. — Если хочешь.

Я молча разглядывал золотистые крылышки, пропеллеры и звездочки. Как же они мне нравились в детстве! Выбрал гвардейский значок с рубиновой звездой и знаменем, убрал в карман.

— Дети есть? — спросил Валет и добавил, кивнув в сторону окна. — Там?

Я ответил:

— Не сложилось...

— У меня две девки... Восемь и двенадцать.

— Женат?

— Уже нет, — он хмыкнул, — слава богу. А ты?

Я не ответил. Указательным пальцем он гладил вороненую сталь браунинга, его руки — крупные, загорелые — были точной копией моих. На правой синела татуировка — голова гадюки с кинжалом в зубах. Тело змеи, все в миниатюрных чешуйках, обвивало запястье и уходило под манжет рубахи.

— Ты знал, что мы с Ингой собираемся бежать?

Валет первый раз посмотрел мне прямо в глаза.

— Чиж, ты чего? — Он усмехнулся и начал выравнивать медали на столе. — Сто лет прошло, конец прошлого века...

— Мне тоже так казалось — почти тридцать... — мой голос стал злым.

— Ты за эти тридцать лет бате ни разу не позвонил, — рявкнул он. — Ни разу!

— А то он сидел и ждал!

— Сволочь ты. Сволочью был, сволочью... — он безнадежно махнул рукой. — Его же тогда хотели в отставку... после Лихачев пожалел, пристроил на склад. Летчика, истребителя — в каптерку!

— А я слышал, нашлись хорошие люди — приласкали.

— Не тебе отца судить! — огрызнулся Валет. — И не мне... Ты, смотрю я, до седых мудей дожил, а так ни хера про жизнь и не понял.

Я взглянул на татуировку, про себя хмыкнул: тебе, видно, про смысл жизни все на зоне объяснили. Вспомнились строчки протокола, который я не смог дочитать до конца. В сумеречном окне за Лопуховым полем белел купол часовни. Той самой часовни. «Эшафотный узел», пятна, похожие на кровь. Валет тоже посмотрел в окно и прошептал сильным чужим голосом:

— Восемь лет откатал гузелью по шурику. От гудка до гудка. Год короедки, после на взросляк поднялся. Белый лебедь в Усть-Илимке — слышал?

Я смотрел ему в глаза, пристально, не отрываясь. Раньше мне так просто это не удавалось.

— Я бы таких, как ты, к стенке ставил, — тихо произнес. — Без суда.

Он прищурился, втянул голову в плечи — ээк, волк, враг. Его рука незаметно двинулась к браунингу.

— А-а, так вот зачем ты пожаловал, — прошептал он. — Мстить приехал.

Ладонь его накрыла пистолет. Я выпрямился, непроизвольно вжался в спинку стула. Валет заметил, усмехнулся, взял браунинг за ствол и неожиданно ткнул мне в руки.

— Мсти!

Тяжесть наполнила руку. Рифленая рукоять удобно устроилась в ладони, палец лег на курок, теплый и маслянистый, такой податливый. Казалось — так просто, едва заметное усилие и все. Валет медленно привстал. Нависая над столом, подался ко мне.

— Ну что же ты — давай!

Я поднял пистолет. Рука не дрожала. Ведь смогу, определенно смогу — я не испытывал ни страха, ни растерянности, вся моя бедненькая жизнь оказалась пустяком, насмешкой, прощмыгнув серой мышкой, вернулась в свою норку — ни смысла, ни радости — глупость, а не жизнь. От Валета разило «Тройным» одеколоном, прямиком из нашего детства. Из того самого, где Лопуховое поле, где часовня, где ...на территории военного городка в/ч №... обнаружен учениками 3-го класса Гулько и Ерофеевым... побоялись войти... дверь в часовню открыта, замок сбит... вызванный наряд милиции прибыл на место... на полу пятна, предположительно крови... на груди над левым соском рана в виде двойного зигзага, нанесенная острым предметом, предположительно бритвой или ножом...

— Ты мне всю жизнь испоганил, паскуда.

— А ты — мне.

Валет, не сводя с меня взгляда, придвинул к себе коньяк. Отвинтил неторопливо пробку и, запрокинув голову, сделал большой глоток.

— Ну что же ты, Чижик, — давай! Мсти! Мсти за себя, за свою латышскую шалаву!

Зря он сказал так. Меня будто пробил током. Не стоило ему говорить этого. Все ночные кошмары — рваные кружева в красных пятнах, брызги по грязному полу, запекшаяся кровь над левым соском, два параллельных зигзага, — все фантазии и видения воскресли враз, даже дыхание перехватило.

— Мразь... — я направил пистолет ему в лицо.

Теперь рука мелко и часто дрожала, Валет тоже это заметил. Ухмыляясь, он вытянул шею и уткнулся лбом в ствол.

— Жми, братан, не робей!

Мой палец ощущал тугую пружину курка, я сиплю и часто дышал, чувствуя, как во мне растет какой-то страшный звериный восторг, словно я научился летать и вот сейчас взвоюсь прямо под облака. Ничего подобного я не испытывал в жизни. Потом я увидел его глаза, в них не было страха — только торжество и превосходство.

Он всегда был сильнее меня, мой брат. Сильней и проворней. Да и тюрьма, должно быть, кое-чему его научила. Дальнейшее случилось молниеносно — какое там увидеть, я толком даже не успел понять, что произошло. Хруст дерева, звон стекла, белая вспышка боли.

Я лежал на спине, сверху, придавив мне горло коленом, горбился Валет. В кулаке он сжимал горлышко бутылки. Воняло сивухой. Весь пол был в осколках, тут же в коньячных лужах валялись отцовские медали. Перевернутый стол выставил ножки в потолок, как подстреленный олень, одна была отломана напрочь. Горячая струйка сквозь мокрые волосы пробиралась к виску и щекотно стекала в ухо. Вороненый ствол браунинга мерцал под кроватью. Я дернулся, пытаясь высвободить руку.

— Не рыпайся! — прохрипел Валет, давя на горло коленом — Больно сделаю!

На лбу у него краснел аккуратный кружок, оставленный дулом пистолета. Как бинди у индуса. Он хотел что-то сказать, но вдруг замер, выпрямился и, сиплю вдохнув,

начал кашлять. Это напоминало приступ астмы — на горле надулись серые жилы, румянец растекся по лицу, потемнел. Валет отпустил меня, задыхаясь, бессильно привалился к стене. Его лицо стало лиловым. Он кашлял и кашлял, хрипло хватал ртом воздух, как тонущий, в последний раз вынырнувший на поверхность. И снова кашлял. Мне стало страшно, я был уверен, что он сейчас умрет. Впрочем, на всякий случай, я дотянулся до браунинга и спрятал его в карман брюк.

Он не умер, все обошлось. Валет стоял на карачках и мотал головой. Держась за стену, попытался встать. Выпрямился, устало сплонул на пол. Ладонью провел по губам, взглянув на руку, брезгливо вытер ее о штанину. Другой рукой он продолжал сжимать отбитое горлышко коньячной бутылки.

Он начал говорить. Сначала медленно, в паузах будто подбирал слова, после все быстрее. Под конец страстно и торопливо, словно боялся, что ему не дадут высказаться до конца. Он что-то спрашивал и, не дожидаясь ответа, тараторил дальше. Похоже, вопросы эти он задавал не мне.

Помнил ли я то лето? — еще бы, я в нем продолжаю жить и сейчас. Оказывается, то был единственный раз, когда он позавидовал мне. Из-за нее? Да, из-за нее. И как он взбесился, поняв, что она крутит вола, лишь чтобы позлить меня. Да-да, из-за той буфетчицы с автовокзала.

— Ревновала? Она меня ревновала? — изумился я.

— Ну ты дурак...

Голова от удара гудела, но мне удалось постепенно включиться в его речь, слова перестали быть просто звуком и наполнились смыслом. С оторопью я осознал — а ведь Инга ему действительно нравилась, может, он даже любил ее. Ингу. Ненависть к брату была столь сильна, что даже в воображении я напрочь лишил его способности любить кого-то. Или быть нежным, — а ведь у него две дочки — сам сказал: восемь и двенадцать, не может же он их-то не любить?

А после, уже зимой, отец познакомился с Марутой, да, с ее матерью. Это когда она ногу вывихнула, да-да, тогда.

— Ты ведь не знал, я к ней тогда приезжал. И после мы встречались. И звонил бесконечно тоже — не мог, не мог я поверить, что из нас двоих она тебя выберет. Как же я бесился, господи, с ума сходил, на стенку лез...

— Так... так она... — мне стоило большого труда закончить фразу, — и с тобой... тоже?

Некоторое время — почти вечность — Валет смотрел мне в лицо, пристально, точно стараясь что-то разглядеть. После буркнул:

— Нет.

И еще тише добавил:

— Она тебя любила... Собиралась в Ригу бежать. С тобой, с тобой. Проглотил я и это — думаю — черт вам в помощь, скатертью дорога — и от тебя избавлюсь, и про нее забуду. Да и сам я в летном буду уже осенью. Так что...

Он устало махнул рукой, удивленно обнаружил в кулаке горлышко бутылки, бросил его на пол.

— Кровь у тебя... — Валет опустил на корточки, показал пальцем на лоб, — вот тут.

— Ничего, коньяк же. Дезинфекция.

Я сел, прислонился к шкафу. Валет, стоя на коленях среди бутылочных осколков, собирал медали.

— Эх, батя, батя... — бормотал. — Летчик-ас, герой-любовник... Ты знал, что он в десятом классе с актриской убежал? Она в театре оперетты в кордебалете плясала... Конечно, знал. Его из Киева с милицией этапировали. Дед после отца в кровь излущивал. Как крепостного, как раба — плеткой. Руки ремнем — и к батарее...

А вот этого я не знал; плетку дедову помнил — на стене висела, на ковре самаркандском, среди сабель его и кортиков.

Валет, морщась, горестно качал головой. Он вытирал медали о рубаху, собирал их в кулак.

— Там я много думал. Там вообще много думается. Ведь если б не дед, ничего бы не было, — он рассеянным жестом обвел комнату. — Ничего этого... Вышел бы из него какой-нибудь актер, певец, а? Он ведь и в латышку эту, в Маруту, влюбился от отчаянья, вроде как сбежать хотел от всех нас...

Я тронул пальцем макушку, там уже пульсировала жаркой болью упругая шишка — Валет угодил бутылкой точно в темя. Меня мутило — от водки, от боли, от смутной догадки: неужели брат прав, и вся моя жизнь не более чем копия незатейливого узора отцовской биографии? Ведь и я в латышку влюбился от отчаянья, и сбежать от всех вас тоже хотел.

— А когда с мамой... — Валет запнулся, словно поперхнулся каким-то словом. — Вот тогда я и решил отомстить. Да, отомстить. И тебе, и ей. А тут такая удача — фотографии.

Он кивнул в сторону раскрытой двери в нашу комнату. Шкаф был на том же месте. Наверху стояли те же чемоданы. Понятие времени, впрочем, и до этого весьма сомнительное, перестало существовать. Мне не стоило труда представить то утро: Валет, загорелый и мускулистый, встав на цыпочки, вытягивает конверт из-под моего чемодана.

— Тогда мы с Женечкой Воронцовым сошлись... Тем летом... С его батей на плотину ездили, на озера, за Зилани. Судака брали... На Кондорском верши ставили. Там линь шел, карась — сказка... Женечкин отец, он — особист, ты в курсе...

Я утвердительно мотнул головой — да уж.

— На Лаури мы были, поставили сети, стемнело уже — костер, уха. Женечка отключился — пошел в палатку спать. Слабак Женечка был, слабак — сотку накатит и в ауте. А мы с дядей Лёшей продолжаем, тот боец — любого перепьет. Ночь, звезды, дядя Лёша вторую бутылку откупорил. Выпиваем, закусываем. Ну, тут его на разговоры и повело. Банда Мельника, Латгальская группа. Видишь, говорит, хутор на том берегу, окошко горит? Там, говорит, встречались мы с нашим агентом. Хромой — кличка. Он в штабе Мельника был, почти десять лет. Хромого в самом конце войны завербовали. Ваффен СС латышская дивизия, железный крест — не фунт изюма! Десять лет на нас работал.

Валет говорил. Шурился, что-то припоминая. А у меня в горле словно застрял шершавый ком, он рос, становился все колочей. Я уже догадывался — нет, я знал, что сейчас будет сказано.

— Ее отец... — прошептал я.

— Да. Его свои же и порешили. Закололи, как свинью. А труп у дороги повесили. На въезде, у почты. Вверх ногами.

— И ты ей все это...

Валет закрыл лицо ладонями, начал тереть глаза. Грубо, будто хотел их выдавить.

— Как же она взбесилась... — он убрал руки, моргая, посмотрел на меня. — Господи, как же... Как же... Честное слово, думал, убьет. Зубами, ногтями... схватила осколок стекла — размахивает, сама вся в кровище! Кричит: «Думаешь, страшно мне, гляди!» — а сама стеклом себя по груди! По груди... себя... «Гляди!» — кричит. А сама режет себя... режет...

Он замолчал, замотал головой.

— Ну, ударил ее... Она упала... там веревка валялась. Руки ей связал... она очухалась и говорит: тебе все равно никто не поверит. Теперь тебе вообще никто верить не будет. Тогда я не понял, про что она...

— Про отца...

— Я не понял, думал, у нее с башкой отвал полный. Еще как поверят, сказал, да и не только про отца, еще и фоточки твои голые — забыла? Вот ведь семейка — дочка-то вся в папу удалась, такая же шлюшка продажная.

Он снова замолчал.

— Ну вот... я из часовни, да... там еще пацаны играли в лопухах, меня видели.
— Знаю, — мрачно отозвался я. — Гулько и еще... как там его. А после менты. Заключение медэкспертизы. Изнасилование с нанесением телесных повреждений, повлекших...
— Говорю тебе! — зло выкрикнул Валет. — Не трогал я ее! Не трогал! Ударил и все!
— Не трогал! Ударил случайно! — я истерически хохотнул. — А она и умерла!
Валет застыл, мне показалось, даже растерялся.
— Что? — он подался ко мне и повторил, но уже тише. — Что?
— Что слышал!
Он вглядывался в мое лицо, будто там было что-то написано.
— Чиж, — тихо произнес. — Ты совсем рехнулся? Никто ее не убивал. Ты что? Она и сейчас...
— Жива? — спросил кто-то за меня.
— Да, — он кивнул. — Жива.
— Жива...
— Только... только в психушке она.
— Жива...
— Ты что... не знал? — он изумился так искренне, почти по-детски. — Все эти годы...
Он снова закашлялся. Задыхаясь, выдавил:
— Что я ее... там... Да? Убил — да? Ну ты...
Он бессильно отмахнулся от меня, сплонул на пол. Шаркнул подошвой по шлевку, я успел заметить, что слюна была розового цвета.
— Ну ты... — повторил он. — Всей жизни у меня осталось, даст бог, до апреля! Семь месяцев... Я ж тебе потому и позвонил, что конец мне! Крышка! Хана мне, брат! Я в Усть-Илиме «тубик» цепанул, мне три года назад пол-легкого откромсали...
Валет ребром руки провел по груди.
— Прогрессивный распад легочной ткани...
Он замолчал.
— Ткани... — повторил я тихо. — Где?
— Что — где? Психушка?
Я утвердительно мотнул головой.
Пол стал шатким, как тот понтон, с которого мы ныряли в детстве. Нащупав стену, я прижался к ней спиной, сырая холодная рубаха прилипла к телу. Брат снова закашлялся, согнулся. Я терпеливо ждал.
— За цементным заводом, помнишь? — Он выпрямился, вытер рукой рот. — Там еще сад был? Яблочный? Латгальский шафран, помнишь?
Я помнил. Самые сладкие яблоки в округе, они вызревали рано, к концу августа. Буквально накануне школы. Тот колхозный сад, куда мы гоняли на великах воровать яблоки, охраняли собаки — немецкие овчарки. Не меньше дюжины прытких, клыкастых животных, очень злых. Местные говорили, что они щенки тех самых собак, которых эсэсовцы натаскивали на заключенных концлагеря. От этого яблоки казались еще слаще — вкуснее яблок я в своей жизни не пробовал.

Цементный завод я нашел без труда, было уже около трех ночи. Черный силуэт казался утесом и загораживал полнеба. Я въехал в распахнутые ворота. Заводской двор был завален каким-то хламом — резиновыми покрышками, контейнерами, перевернутыми вагонетками. Все было покрыто толстым слоем светло-серой цементной пыли и напоминало странную плюшевую декорацию к пьесе про конец света. В дальнем углу двора горел костер. Сбросив скорость, на первой передаче, я перебрался через рельсы узкоколейки, подкатил к огню. У костра сидел человек, он быстро встал, поднял винтовку и прицелился в меня. Я остановился, вынул из кармана «браунинг», опустил стекло.

— Где тут больница?

— Не знаю! — он выкрикнул, даже не дослушав. — Уезжай!

Ему было лет пятнадцать, может, меньше; длинные волосы, испуганное детское лицо, винтовка, которой он мне угрожал, оказалась пневматическим ружьем, из таких в тире стреляют по жестяным зайцам.

— Психиатрическая больница, — повторил я громко и внятно, точно говорил с глухим. — Где-то недалеко...

— Психушка? — парень словно обрадовался. — Так это туда! Туда!

Он стволом ружья ткнул куда-то вбок.

— Это туда! По бетонке, а после направо — там указатель, и через березовую аллею.

Я свернул с бетонки, там действительно был какой-то указатель с длинным латышским словом. Поехал по аллее, старые березы уходили белыми столбами в ночное небо. Прямые стволы появлялись в свете фар, выступали из тьмы, как призраки, а после плавно растворялись в черноте. В голове не было ни одной мысли, лишь пульсирующая боль. Подумав равнодушно о сотрясении мозга, я тронул рукой макушку, шишка налилась и билась, как маленькое сердце. Опустил стекло, сырой воздух отдавал плесенью и грибами. Пахло балтийской осенью.

Здание больницы напоминало старую прусскую казарму: красный кирпич, парадное без излишеств, фонарь над дверью, решетки на узких окнах. Я поднялся по трем ступенькам, дернул дверь — заперта. Хотел постучать, заметил на стене звонок — обычный квартирный звонок с белой пуговицей кнопки. Нажал, где-то в глубине здания тренькнуло. Потом зашаркали шаги. Звякнул замок, дверь открылась.

— Ну? — на пороге стоял крупный мужик в свитере, вопрос он задал без эмоций, устало, как-будто я этой ночью уже приходил сюда пару раз.

— Добрый вечер, — невпопад сказал я, торопливо вытаскивая бумажник из заднего кармана. — Извините, что так поздно...

— Скорее, рано, — так же равнодушно буркнул он, глядя в мой бумажник.

Он поскреб бороду, неухоженную и пегую, похожую на шкуру больной дворняги. Кивнул, пропуская меня внутрь. Его кособокий свитер, казалось, был связан слепыми старухами из шерсти той же хворой собаки. Мы пошли коридором, тусклым и бесконечным, выкрашенным грязной охрой. Этот бородач мог быть живописцем, из непризнанных гениев, или тривиальным запойным работягой, каким-нибудь слесарем, или метеорологом со станции «Северный полюс-1», — даже путешественником, но только никак не медицинским работником. В конце коридора мы уперлись в дверь. Он по-хозяйски распахнул ее передо мной: я вошел, он следом. Подслеповатая настольная лампа, похожая на коренастый железный гриб, освещала аскетичный стол с чашкой и затерханной книгой. У окна, в дальнем конце, стояла узкая больничная койка. Бородач вопросительно посмотрел на меня. Я протянул ему несколько купюр, которые все это время сжимал в кулаке. Он, не глядя, скомкал деньги, сунул их в карман штанов.

— Кронвальдс, — запинаясь, выговорил я. — Инга Кронвальдс.

Имя и фамилия прозвучали чужими, я даже удивился — ни ко мне, ни к моей жизни они не имели ни малейшего отношения. Я отвел глаза, точно опасаясь, что бородач заподозрит обман и выпшвырнет меня отсюда. Из книги, что лежала на столе, торчал остро заточенный карандаш. На потертой обложке я разобрал: «Записки о Галльской войне. Гай Юлий Цезарь». Никогда не читал, и уж, скорее всего, никогда не прочитаю.

— Инга Кронвальдс, — повторил бородачатый. — И что?

— Я бы хотел повидать ее. Поговорить...

Он удивленно повернулся ко мне. Хотел что-то сказать, но передумал. Снял со стены связку ключей — они висели на вбитых гвоздях, целый ряд гвоздей с ключами.

— Ну хорошо. Пойдем.

Мы снова шли по коридору, он впереди, я следом; потом спускались по лестнице.

Потом снова шли. Он шел молча, лишь ключи едва слышно позвякивали в его руке. Остановились перед дверью, он щелкнул выключателем, после сунул ключ в скважину и провернул с железным хрустом.

Не комната — карцер. Без окон, в низком потолке лампочка в ржавой клетке. До потных стылых стен можно дотянуться, если раскинуть руки крестом. Железная кровать, выкрашенная белой краской.

Она лежала, накрывшись с головой серым солдатским одеялом с трафаретной надписью «Из санчасти не выносить». Из-под одеяла выглядывала маленькая нога — сухая желтая пятка напоминала восковой муляж. Непроизвольно, совсем не думая, я наклонился и натянул одеяло, прикрывая ногу.

— Простите, а можно... — начал я едва слышным шепотом.

— Что вы там шепчете? — перебил он громко. — Говорите нормально. Она даже если б захотела...

Я попросил его уйти и выключить свет.

49

Наощупь нашел спинку кровати — холодное склизкое железо. Присел на край, положил ладонь на одеяло, шершавое сукно тоже было холодным и влажным. Я нащупал ее плечо, она лежала на боку, лицом к стене. Глаза привыкли к темноте, из-под двери сочился сизый свет из коридора. Как же тут темно, как страшно, господи, как одиноко...

— Бедная моя... милая моя... господи... — я шептал и гладил колючее одеяло. — Вот я и нашел тебя.

Показалось, что ее плечо вдруг дернулось. Моя рука застыла, я перестал дышать. Нет, тело под одеялом было неподвижным. Провел ладонью вниз по спине, по талии, наткнулся на острое бедро. Твердое, будто дерево. Не расшнуровывая, стянул ботинки и лег рядом. Панцирная сетка заворчала железными пружинами. Я медленно вытянулся. Осторожно обнял и прижался к телу под одеялом. Уткнулся лицом в сырое вонючее сукно, пытаюсь уловить дыхание, поймать биение сердца — нет, ничего. Господи, господи, ну зачем же ты так...

— А мы отца сегодня похоронили, — пробормотал я. — Мы с братом.

Голос прозвучал странно, будто и не мой, точно рядом в темноте кто-то бредил. Я провел ладонью по одеялу, тело оставалось неподвижным. Господи, как же тут жутко ночью, как одиноко... Попытался вспомнить лицо: ее глаза, выгоревшие на солнце брови, ее губы, чуть обветренные, чуть припухлые — картинка не складывалась, распадалась на части; ясно виделась лишь пятка — сухая и желтая пятка, страшная и чужая.

— Ну зачем ты меня так пугаешь, Инга? Зачем? — я обнял ее, бережно прижал к себе. — Хочешь снова испытать меня, да? Как тогда в подземелье? Не надо... Пожалуйста, не надо. Мне очень страшно, гораздо страшней, чем тогда.

Восковая пятка, торчащая из-под мышинового одеяла с трафаретом «из санчасти не выносить» — пытаюсь избавиться от этого видения, я до боли зажмурился, начал говорить быстрее и громче.

— Ведь я вернулся, видишь — вернулся. За тобой вернулся... Неужели ты могла поверить, что я тебя тут брошу — вот еще чушь собачья... ведь кроме тебя у меня никого и нет. Никого и никогда — не было и не будет. Ты же знаешь! Знаешь, да?

Мой голос теперь звучал почти нормально, будто я беседовал с кем-то по телефону.

— Оставить тебя тут? В этой норе? Придет же в голову такое! Мы прямо на рассвете рванем отсюда, помчим на всех парусах! До Риги-то рукой подать, часа полтора всего... Надо только заправиться, бензин почти на нуле. А оттуда — в Амстердам... Хотя, нет, в Амстердам мы всегда успеем, давай сначала рванем на море — как тебе такой план? Да-да, на море, на теплое море с лазоревой волной

и белым парусом на горизонте. Что кинул он в краю родном? — да все и кинул: глупость и злобу, зависть и ненависть, — так и мы! Все оставим позади — весь мусор, обломки и потери, эту бесконечную, бессмысленную боль!

Голос мой звучал азартно. Слова казались убедительными. Неожиданно мне стало почти весело.

— Там коралловый риф, он стеной тянется вдоль острова. Я научу тебя нырять с аквалангом — плевое дело, освоишь за час. Акулы? Конечно, есть; они спят в гроте, он так и называется — «пещера спящих акул». Там подводное течение, и они могут наконец остановиться и спокойно поспать, ты же знаешь, им нужно постоянно двигаться, этим акулам. А кораллы похожи на карликовые деревья, на алые миниатюрные деревья, ну да — кораллового цвета. Среди веток снуют шустрые рыбки, ярче радуги, честное слово! Рыба-клоун оранжевая, совсем как морковка, рыба-петух на вид воинственна, а на деле безобидна. А вот морского ската, того точно лучше не беспокоить — вон, видишь, у хвоста торчит острое копые?

Вода утром прозрачней хрусталия, плывешь над рифом будто в космической невесомости. И теплая — запросто можно весь день нырять, до самого вечера. Но мы выберемся пораньше, ведь нам на вечер нужно тебе еще платье выбрать. За песчаной косой, в пальмовой роще — тростниковая хижина, там седая креолка с чеканным профилем торгует украшениями из ракушек, коралловыми бусами, шелковыми шарфами и платьями тропических расцветок. Первым делом мы купим тебе соломенную шляпу с широкими полями и белой лентой вокруг тульи; ленту можно завязать в пышный бант, а можно оставить как есть — вечерний бриз будет играть концами ленты, как вымпелами на мачте яхты. Насчет платья — решай сама, в этом вопросе я, бесспорно, необъективен: мне ведь кажется, что тебе любой цвет к лицу. Да, даже черный, хотя он здесь и неуместен. Нет, я вовсе не против и красного. Немного тревожный цвет, если быть честным. Вот этот бирюзовый как тебе? — через пару дней твоя кожа станет золотистой, как мед, а через неделю потемнеет до бронзы — уверен, сочетание будет очень эффектным. Да, и вот эти бусы из мелкого жемчуга...

Видишь те развалины на скале? Это руины сахарной мельницы, ее построили еще конкистадоры. Они наткнулись на остров по пути в Америку. Потом тут хозяйничали пираты, над сахарной мельницей реял «веселый роджер», а внизу, в этой самой бухте, флибустьеры латали такелаж на своих бригах и флипперах. Наверняка не один сундук с пиастрами зарыт в прибрежных банановых рощах. Половина островитян — потомки морских разбойников, да-да, и наша торговка наверняка тоже. Только не разглядывай ее так пристально.

Нам главное успеть на скалу до заката. Что там? Это секрет, мне очень хотелось сделать тебе сюрприз, но, так и быть, я расскажу. Там, на сахарной мельнице, нас ждет ужин. На каменной террасе белой скатертью накрыт стол. Пока мы будем пить ледяное вино из бокалов тонкого стекла и смотреть, как плавится на горизонте солнце, меднолицый рыбак будет жарить на углях омаров. Если долго смотреть на заходящее солнце, то оно становится похожим на огненную дыру в небе, вроде раскрытой печки. А может, так нам показывают вход в ад — кто знает? Вот ты снова смеешься надо мной, говоришь, вечно я фантазирую. Мне трудно возразить тебе, но я все-таки не согласен, что ад находится тут, на земле, и что именно в нем мы и живем до самой смерти. Не знаю, не знаю...

Я неожиданно сник и замолчал. Молча продолжал гладить неподвижное тело под одеялом. Усталость, тяжелая и вязкая, как сырой песок, навалилась на меня, даже дышать стало трудно. С надеждой подумал об инфаркте или инсульте, только непременно с летальным исходом.

— Да, пожалуй, ты права... — прошептал я и отодвинулся, пытаюсь лечь на спину.

Что-то острым углом уперлось мне в ляжку, я сунул руку в карман — отцовский браунинг. Рифленая рукоятка, удобная, теплая, как человеческое тело. Я достал пистолет, поднес ствол к лицу. Остро пахло кислым порохом и ружейной смазкой.

У отца на антресолях хранились жестяная армейская коробка с масленками, шомполами, щетками разных калибров и целый набор тряпок. Тряпки эти он называл смешным словом «ветошь». Чистка пистолета — то был ритуал, который мы с Валетом не пропускали никогда.

Отец достает с антреселей коробку, расстилает на столе газету. Поверх — белое полотенце, вафельное, солдатское, полотенце все в желтых масляных пятнах. Пальцы отца, сильные и ловкие, двигаются без суеты: вот извлечена обойма из рукоятки, щелкает рычаг предохранителя, почти незаметным движением, опустив спусковую скобу вниз, он отделяет затвор от рамки, вытаскивает возвратную пружину. Отец запросто может разобрать браунинг с закрытыми глазами за четыре секунды. Валет — за одиннадцать. Я в таких состязаниях стараюсь не участвовать.

Пистолет на ощупь кажется таким безобидным, так уютно рукоятка устраивается в ладони, указательный палец сам ложится на спусковой крючок, а как он теплый и податлив... Большим пальцем я нащупал предохранитель, тихий щелчок — будто кто-то покнул языком в темноте. Теперь нужно лишь надавить на курок — без усилия, совсем чуть-чуть. Всего пару часов назад из этого пистолета я едва не убил своего брата. Что меня остановило? Пытаясь воскресить то чувство, я приставил ствол к виску. Нет, ничего — пустота. Даже страха нет.

50

Меня разбудил бородатый доктор. Свет резал глаза, плюгавая лампочка в потолке слепила, как паровозный прожектор. На бородатом теперь был медицинский халат, впрочем, весьма сомнительной белизны. Из нагрудного кармана свисали на тонких шнурках две затычки наушников. До меня комариным писком долетела какая-то мелодия. Доктор молча протянул мне браунинг, предварительно поставив его на предохранитель.

— Люди — дураки, боятся смерти. Они думают, смерть — самое страшное, что с ними может приключиться в жизни.

Он вставил затычки в уши, мелодия оборвалась на полуфразе. Музыкальные вкусы врачей-психиатров остались для меня тайной. В отличие от их литературных пристрастий. Я спустил ноги на пол. Нашарил ботинки, сминая задники, натянул. Встал, сунул пистолет в карман. Стараясь не оглядываться, вышел из комнаты. Доктор закрыл дверь, вставил ключ, повернул. Мы молча шли по коридору, потом вверх по лестнице, потом снова по коридору. Обратный путь показался мне раза в три длиннее.

— Чаю? — предложил он, как только мы зашли в его кабинет. — Кофе — дрянь, а чай вполне.

Чай тоже оказался дрянным. Обжигаясь, я глотал его из фаянсовой кружки с гнусно-ультрамариновыми гжельскими узорами. За окном начинался не очень убедительный рассвет. Небо, скучное и низкое, то ли еще не очухалось после ночной спячки, то ли уже успело натянуть на себя грязную мышиную хмарь. Доктор одной рукой вытащил из-под стола табурет. Деревянный, грубо сработанный, он был небрежно покрашен сероватыми белилами. Я поставил кружку на край пустого стола, сел на табурет, зажал ладони между коленей.

— Что с ней? — Я с отвращением ощутил себя банальным персонажем из скверного фильма и с мазохизмом повторил: — Что с ней, доктор?

— Вы когда видели ее последний раз?

— Двадцать... семь лет назад. — Цифра мне самому показалась фантастической. Доктор вглянул из-под стола другую табуретку, сел напротив.

— Вы в психиатрии что-нибудь понимаете? — он спросил и съехидничал, — Нынче ведь в ней каждый сантехник разбирается. Куда ни плюнь — в Зигмунда Фрейда попадешь. Или в Карла Ясперса.

Я отрицательно мотнул головой, про этого Карла я вообще слышал впервые. Доктор, удовлетворенный моим невежеством, кивнул.

— Хорошо. В детстве, в двухлетнем возрасте, она перенесла психологическую травму с последующим невротическим расстройством...

— Я знаю...

— ...с резко выраженными последствиями, — он продолжил, не обратив внимания на мое замечание, — нарушением и временным снижением умственной и физической деятельности. К сожалению, тогда психотерапию не уважали, а уважали химию. Химия — наука, психоанализ — шаманство! Наши тогда налегали на психотропы, анксиолитики вообще чуть ли не панацеей считали. На транквилизаторы молились, прописывали кому попало...

За окном заметно посветлело. Появилась слабая надежда на солнце, в мышином цвете появились прорехи, оттуда светило розоватым. За березами я разглядел пруд, заполненный темной неподвижной водой. Пруд напоминал овальный кусок черного зеркала, аккуратно врезанного в зеленую поляну.

— ...и симптоматические, которые эффективно работают только совместно с патогенетическими методами, а сами по себе оказывают лишь временный, облегчающий симптоматику эффект.

Неожиданно раздался вой. Он донесся изнутри здания, голос явно принадлежал человеку, но пол определить я не смог. Доктор даже не обратил внимания на крик.

— Что это? — перебил его я.

— Утро. Начало нового дня. Вы меня слушаете?

— Да-да, конечно.

Вой повторился, тише и протяжней.

— Вторая травма случилась в семнадцать лет. Эпизод был связан с прямым физическим насилием, сопровождался нанесением телесных повреждений...

— А возможно это симулировать?

— Что — это? изнасилование? — доктор задумался на секунду. — Конечно. Но анализ ДНК исключает ошибку. Исключает на сто процентов. Если биоматериал из вагины, из-под ногтей жертвы совпадает с ДНК предполагаемого...

— А без анализа? Ведь раньше никакого ДНК... Как раньше это все...

— Ну как? Показания жертвы изнасилования, свидетелей... Я ж не судмед-эксперт. — Он допил свой кофе одним глотком, поморщился: — Ну и отравы... Характерные травмы на теле в районе половых органов, на груди, царапины и порезы...

— Но ведь человек сам может себя...

— Аутоагрессия? О, это сколько угодно! Обычно самоповреждение является попыткой заглушить психическое расстройство при помощи физической боли...

— Нет, я про сознательное нанесение себе ран, симулирующих изнасилование.

— А-а, вот вы про что... Тем летом... — доктор рассмеялся, ладошками хлопнул себя по ляжкам, — наш пациент с сексуальным расстройством, уже и ремиссия началась...

Внезапно запиликал Моцарт, доктор вынул из нагрудного кармана телефон.

— Да, сейчас. Ну и что? Дайте аноферин. Да-да, иду!

Недовольно нажал отбой.

— Вы видели? Как дети, честное слово... Короче, в двух словах, чтобы закончить. Тогда ее залечили. Перекололи. Началась негативная симптоматика, потом кома. Когда ее вывели из комы...

Телефон зазвонил снова. Доктор, не глядя, выключил звонок и сунул телефон в карман.

— ...ее перевели сюда...

— А давно?

— Да лет двенадцать, тринадцать где-то... Перевели с диагнозом «психоорганический синдром».

— Что это?

— Да что угодно! — он засмеялся. — От эмоциональной лабильности до деменции. От пизофрении до маниакально-депрессивного психоза. На начальных

этапах развития протекает в виде мании — депрессии или меланхолии. Или безумия — я имею в виду острый бред. Затем, в случае существования безумия, оно закономерно трансформируется в бессмыслие или хронический бред и наконец приводит к формированию вторичного слабоумия.

— Что это?

— Это? — он мрачно хлопнул себя по коленям. — Это — букет! Это нарушение всех психических функций. Нарушение мышления, нарушение аффекта, нарушение восприятия, нарушение памяти... У нее Альцгеймер, как у девяностолетней старухи — вы понимаете? Она свою дочь не узнает. Та приходит, а она...

— Дочь? — я привстал. — У нее дочь?

— Дочь приходит, а та кричит...

Комната качнулась, я зацепился пальцами за край стола. Доктор вскочил — у него оказалась превосходная реакция, он крепко ухватил меня за локоть, помог снова сесть.

— Сердце? — спросил, заглядывая в лицо. — Нитроглицерин?

Я помотал головой.

— Давайте без жеманства. Вы в больнице, у нас есть все. Почти все.

— Хорошо, — я выдохнул. — Дочь. У нее дочь.

— Работает тут, совсем рядом. Там, где пекарня, — доктор махнул рукой в сторону окна, там был пруд. — Навещает, считай, каждый день...

— Взрослая?

— Ну. Лет двадцать пять, не знаю. Я не очень в этом деле, знаете... Бывает, с вечера думаешь, а утром проснешься, а ей...

— Двадцать пять, значит.

— Она в обед приходит. Около полудня. Хотите — можете подождать. У нас тут аллея, парк... можно погулять, можно у пруда посидеть. — Словно вспомнив, добавил оживленно: — А за парком сад! Яблоки, не поверите, самые вкусные на свете! Латгальский шафран! Не смейтесь, я серьезно — вы вкуснее не пробовали!

51

С той же дурацкой улыбкой я вышел наружу. Там стало светло, всюду светило солнце. Остатки серой хмари уползали за макушки дальних сосен, смиренно вытянувшихся на взгорье, надо мной распаивалось утреннее балтийское небо — чистый кобальт. Рыжий гравий мокро шуршал под ногами, сырые скамейки блестели; на спинке одной из них сидел петух, пестрый и сытый, непонятно откуда оказавшийся в больничном парке. Завидев меня, петух настороженно привстал, выпятил грудь и захлопал сильными крыльями, но кукарекать почему-то не стал.

Я пошел в сторону пруда. Сквозь путаницу деревьев продиралось яркое, как взрыв, солнце. Перевернутые деревья, с застрявшей ослепительной звездой, отражались в неподвижной воде. К черному зеркалу прилип одинокий кленовый лист, аккуратно вырезанный из золотой фольги. Ключья ночного тумана прятались в камышах, туман выползал на пруд, плыл сонной дымкой над самой водой, бледнел и тихо таял. Я остановился на берегу, достал из кармана браунинг и, не размахиваясь, кинул в пруд.

Сырой воздух, свежий и стылый, отдавал мокрым костром; пахло листьями, грибами, подмокшим сеном. Парк остался позади, передо мной простирался яблоневый сад. Похоже, нынешний год выдался урожайным: крупные, не меньше моего кулака, яблоки свисали с веток, краснели в траве. Стволы деревьев ровными рядами уходили к горизонту, совсем как иллюстрация к оптическим законам о перспективе. Солнечный свет, пробиваясь сквозь ветки, лежал пестрыми пятнами на стволах и на земле. Помедлив, я вошел в сад. Тут стоял крепкий яблочный дух. Вдыхая полной грудью, стараясь не наступать на яблоки, шел дальше и дальше. Должно быть, я улыбался. Шел, трогая пальцами шершавую кору, влажные листья, гладил рукой тяжелые, точно бильярдные шары, яблоки.

Саду не было конца, его никто не охранял. Не было ни злого, как черт, старика-сторожа, ни немецких овчарок, от которых мы драпали быстрее зайцев. Ветки гнулись под тяжестью спелых плодов, яблоки валялись на земле. Сотни, тысячи никому не нужных яблок, тех самых, которые мы когда-то воровали с риском для жизни. Самые вкусные в мире — латгальский шафран. Я остановился, сел в траву. Прислонился спиной к стволу — как же так? Тишина казалась абсолютной. Вдруг почудилось, что вот-вот и я наконец пойму что-то очень важное, возможно, даже самое главное — про этот яблоневый сад, про те фотографии с химерами, про отца и Валета, про Ингу и про себя. И что жизнь не череда случайных или закономерных событий, нанизанных на нитку времени, а некий замысловатый узор, вроде тех, которые видны лишь птицам и пришельцам из космоса. Узор, похожий на арабеску, где один элемент вписываясь в другой, бескорыстно становится его частью, а все они вместе составляют единую законченную композицию. Законченную? — нет, узор живет, он пульсирует, дышит. Непрерывно меняясь, как текущая вода, как пламя ночного костра, узор в каждой своей фазе остается прекрасным, почти идеальным. Почему почти? — спросишь ты. Да потому что идеал — это предел. Это цель, финишная линия. Это конец. А я, если выбирать между процессом и результатом, все-таки предпочту процесс. Я выберу движение. Жизнь.

Мои часы показывали без пятнадцати восемь. Сладкий яблочный дух плыл по саду. Я сидел в жухлой траве, прислонившись спиной к стволу. Золотые и румяные шары яблок, раскиданные вокруг, будто светились изнутри. Они лежали вперемешку с медовыми пятнами солнца, сквозь прорехи в листве проглядывала сентябрьская синь. Иногда там появлялся белый бок ленивого облака. Я вытянул ноги и прикрыл глаза. До полудня оставалась бездна времени — четыре часа. Чуть ли не вечность.

Вермонт, 2018